

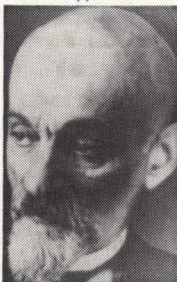
КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

Гнали этап с бухты Ванина. Людей шатало (а ветра не было). Когда пустили в зону, то, спотыкаясь, падая, заковыляли к помойке (что около кухни)... Глотали всё, что глоталось. Комендант гнал от помойки, бил палкой, ногами, а они — взрослые люди — ползали, скулили, плакали и ели...



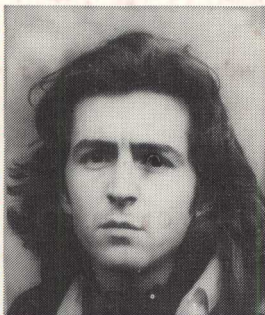
Лев Консон

Ведь идола можно сделать не только из дерева, но и из идеи. «Единство» истины — один из таких идолов. Кажется, и говорят так все, что «единство» положит конец «вражде» и начнет эру «любви», на самом деле наоборот: ничто не приносит миру столько вражды... сколько идея единства.



Лев Шестов

...я — один из тех, кто на Западе преклоняется перед русским народом, перед его способностью к сопротивлению, перед его упорным неприятием советской диктатуры. Для меня все началось с этого. «Диссиденты», как у нас их называют, стояли у истоков моего прозрения. Идя по их стопам, я написал свою



(Исполнитель фото: Sylvio Torubia)

первую книгу — «Варварство с человеческим лицом». И все следующее тоже, по сути дела, вдохновлены их образом, их словами, их уроками... нечто существенное в миропонимании современности проходит через гонимое русское слово...

Бернар-Анри Леви

Афганистан так и не стал «Суэцким каналом» мировой революции; его территория на протяжении более чем десятилетия после подписания договора продолжала оставаться убежищем для сил народного сопротивления в Средней Азии.



Михаил
Володарский

Судите и да будете судимы!
Пути Господни неисповедимы.
Но если Бог послал тебе праведника
И смертная наглажена рубаха,
Не надо душу растлевать от страха,
А лучше сразу кинуться под нож.



Лев Друскин

Главный редактор: Владимир Максимов
Заместитель главного редактора: Виктор Некрасов
Ответственный секретарь: Наталья Горбаневская
Заведующая редакцией: Виолетта Иверни

Редакционная коллегия:

Раймон Арон · Ценко Барев · Джордж Бейли
Сол Беллоу · Николас Бетелл · Энцо Беттица
Иосиф Бродский · Владимир Буковский · Ежи Гедройц
Александр Гинзбург · Пауль Гома
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер
Петр Григоренко · Милован Джилас · Эжен Ионеско
Артур Кестлер · Роберт Конквест · Наум Коржавин
Эдуард Кузнецов · Николаус Лобковиц
Михайло Михайлов · Эрнст Неизвестный · Амос Оз
Андрей Сахаров · Виктор Спарре · Странник
Юзеф Чапский · Карл-Густав Штрём
Пьер Эмманюэль

Корреспонденты «Континента»

- Англия** Владимир Тельников
Wladimir Telnikov, 50 The Drive Mansions,
Fulham Rd., London S.W. 6
- Израиль** Михаил Агурский
Michael Agoursky, P.O.B 7433,
Jerusalem, Israel
- Италия** Сергей Рапетти
Sergio Rapetti, via Beruto 1/B
20131 Milano, Italia
- США** Юрий Ольховский
Yuri Olkhovsky, 3319 Ardley Court
Falls Church, Va. 22041, USA
- Япония** Госуке Утимура
Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7
189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.



КОНТИНЕНТ

**Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал**

30

**Издательство «Континент»
1981**

СОДЕРЖАНИЕ

Алексей Семенов — Из эстонских поэтов	7
Евгений Козловский — Красная площадь. Повесть из цикла «Москвбургские повести»	12
Иосиф Бродский — Стихи	61
Владимир Максимов — Чаша ярости. Роман. Часть первая	76
Лев Друскин — Стихи	173
СТИХИ	
Марлена Рахлина, Евгений Дубнов, Валерий Рубин	177
РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ	
Юрий Мальцев — Чудо природы	191
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ	
Виктор Ворошильский — На Западе. Страницы из дневника	215
ЗАПАД—ВОСТОК	
Родольфо Квадрелли — Италия перед лицом нигилизма	237
<i>Носороги за работой</i>	
Святослав Караванский — Сахаров и Си-Би-Эс	252
ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА	
Лев Консон — Лагерные истории	259
ИСТОКИ	
Михаил Володарский — К 60-летию советско- афганского договора	275
РЕЛИГИЯ И ФИЛОСОФИЯ	
Николай Бердяев и Лев Шестов — Переписка и воспоминания. Публикация Наталии Барановой- Шестовой	293
ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ	
Вероника Полонская — В расчете с жизнью. Окончание	315

ЗВУКОВЫЕ БАРЬЕРЫ РАДИОВЕЩАНИЯ	
Кирилл Хенкин — Заметки о Радио Свобода	347
ИСКУССТВО	
Владимир Антонов — Неофициальное искусство: развитие, состояние, перспективы	367
КОЛОНКА РЕДАКТОРА	393
НАША ПОЧТА	397
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ	
Василий Бетак — Время синтеза	399
Леонид Чертков — Брат и сестра, поэт и ученый	403
Борис Вайль — Первая библиография	408
КОРОТКО О КНИГАХ	413
ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ	423
НАША АНКЕТА	
Интервью с Бернаром-Анри Леви	427
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ	

ИЗ ЭСТОНСКИХ ПОЭТОВ

Уку Мазинг

ПЕСНЯ ОТСТУПАЮЩИХ ПЕРЕД БЕСАМИ СОЛДАТ

Мы — отряд трубачей бездомных, и нет ни жены,
ни детей,
только туч полоса белеет, и паршивы хвосты лошадей.
Лишь синее край небосвода, и дорога лежит в пыли,
раз уж землю у нас отняли, мы воду морей спалим.
Только тени бредут под нами, наши руки —

безмолвный хор,
но остался приют свободы среди Божьих небесных гор.
Наши кони — усталые клячи, кость со скрипом трется
о кость,
сабли ржавы, но сердце пылает, словно вешего
пламени гроздь.

Ноги сбиты и тело в ранах, сквозь повязки сочится
кровь,
это сердце разбитой дружины, словно кровью
пропитанный ров.

Инструменты в дырах, и песню убивает густая пыль,
но шагаем вперед упрямо, сохраняя для битвы пыл.
За спиною леса догорают, и бесплодным нивам гореть,
по пятам за нами крадется этот бесов король — Смерть.

Мы — отряд трубачей в лохмотьях, последних
защитников рать,
перед бесом поля разоряем, и награды нечего ждать.
Крыльев ангелов жаждет в походе любой из рабов
Твоих,
но роптать на власть всеблагу не смеет никто из них.

где же рукам работа
где же конец узла
ссадины капли пота
жизнь заботы дела

белые чисты страницы
гаснет как лампа день
чувству с собой не слиться
спазмы слепая тень

словно запутался в пакле
тьма цепенеет взгляд
падают звезды капли
камень сточить хотят

тщетно чисты страницы
и пишешь все это зря
в пепле завяз не пробиться
помочь никому нельзя

только зов раздается
эстонией в поздний час
звон колокольный льется
завтра сегодня сейчас

1964—1971

Юхан Виидинг

* * *

пока что молод только утомляться начинаю
с усилием выношу засилье тупости
и — руку положи на сердце — избегаю
пожизненных мероприятий трудности

веселье домино меня не увлекает
кто бьет из-под стола ходами сложными?
мне эти камни черные могильные напоминают
которые уже навечно сложены

и в лавке встретив попугаев в клетку взятых
знакомый вид — мне вдруг приходит в голову
я как во сне сказал привет ребята
ну здравствуй Юхан с полок молвили

чудовищно но в ходе разговора
я вновь успел собраться с мыслями
о нарушении прав личности потребовал разбора
как это в птиц их превратить помыслили

через решетку шла культурная беседа
я слушал их сдержав дыхание
у них обоих можете потребовать ответа
какое в этих строчках содержание

* * *

Мотылек, порыв твой чуден и странен.
Там (здесь) нету назад пути.
Мотылек, и час твой чуден и странен.
Здесь (там) нету назад пути —
это потусторонности.

За моими стеклами — пламя,
в нем света исток и конец.
Я это давно понимаю,
это Комната Смерти, я знаю,
о, жилая комната, знаю.
Я должен! Туда, туда!

Сквозь ночи миги, что в годы слиплись,
на крыльях черно-белых лететь.
К окну, бедняга, прилипни!
Ты призван — туда хотеть.
Я вниз ползу, я тяжелый.
Ринусь вниз и ошеломлю.
За спиною лишь черное время.
Надо — света смертное бремя.

Над лампою жар льется,
и вестник рвущийся вьется.
Это утро. И мне с вами
час настал, чтоб лететь в пламя;
умертвить это пламя собою —
жизнью странной, воздушной, чудною.

1978

СЕМЕНОВ Алексей — ленинградский поэт и переводчик.
Публикуемая нами подборка была напечатана в самиздатском журнале «Северная почта».

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ

*Повесть
из цикла «Москвабургские повести»*

Евгению Владимировичу Харитонову, —

такого короткого, из трех слов, посвящения было бы вполне довольно, когда б оно относилось к близкому, но по справедливости безвестному другу автора или, напротив, блестящему и знаменитому писателю, художнику, артисту. Здесь же — волею ненормальных, неестественных обстоятельств, — дело обстоит так, что приходится растекаться пояснениями.

Евгений Владимирович Харитонов, человек, более двадцати лет жизни отдавший ежедневному литературному труду, один из самых дерзких, ярких, талантливых писателей нашего времени, чье влияние непременно сказалось бы на сотнях тысяч людей, — Евгений Владимирович Харитонов умер в июне 1981 года, сорока лет от роду, не сумев опубликовать ни строчки из написанного.

Но не единственно памятью об умершем друге продиктовано это посвящение: повесть обязана Евгению Владимировичу, первому своему читателю, едва ли не самим фактом существования: безвозвратно, казалось, утраченная под давлением тех же обстоятельств, была она восстановлена по его убедительному настоянию.

Я уж и не знаю: верить ли, — но не хочу не думать о времени, когда смело можно будет снять за ненадобностью долгие эти абзацы, оставив только три короткие слова:

Евгению Владимировичу Харитонову.

...кроме того, по Москве ходят слухи, будто в мавзолее В. И. Ленина лежит не В. И. Ленин, а некий Долгомостьев.

Из служебной записки

1. ДОЛГОМОСТЬЕВ И ЕГО РОЛЬ

Пол-лета шел дождь, и солнце, второй день висящее в безоблачном небе, казалось неуместным: патология в природе. Так оно, может, и было: ходили слухи, что тучи, специально к олимпиаде, разогнали артиллеристы с ракетчиками, — чуть ли не золото с платиною над Москвой разбрасывали. Действительно: едва окончилась вчера церемония открытия, как над вымершей, одной милицией населенной столицей с удвоенною силой, словно наверстывая, пошел дождь и лил до утра.

Долгомостьев, впрочем, мог знать о московской погоде только по радио да понаслышке, ибо дома бывал в последнее время редкими наездами: летняя натура в Эстонии, недолгая и капризная. И потом, конечно, Рээт.

Но если б даже не радио, которого, кроме *голосов*, он, собственно, никогда и не включал, не радио и не наслышка, — Долгомостьев *интуитивно* знал бы о непрерывном дожде, потому что, сколько Москву помнил, всегда была она для него в сырости и тумане, даже, кажется, зимою, даже в Новый год, — и ни безводное лето, не так давнее, когда удушливо горели торфяники и леса вокруг, ни еще менее давняя зима с морозами за сорок, с полопавшимися трубами отопления и троллейбусными проводами, — оставаясь в памяти, общего впечатления неизбывной мокряди разрушить не могли.

Поэтому веселые блики от чистенькой, полированной темно-серой брусчатки главной столичной

площади, как сквозь диффузион расплываясь в глазах, уводили из столицы, будили ассоциации с Ленинградом. С Долгомостьевградом... Тот, напротив, когда б ни приехал Долгомостьев: зимой ли, летом ли, осенью, — всегда представлялся непасмурным. По Долгомостьеву получалось, будто сама природа, хоть и с национальной медлительностью, а все ж подчинилась российской литературной традиции и постановлению Совнаркома, и потянулись вслед правительству в новую имперскую столицу гниль, плесень, насморки, запах болот и ощущение непрочной упругой корочки между вязкой бездною и ногой. Недоставало лишь наводнений.

Дешевым киношным приемом задрожали диффузионные пятнышки, закружились, слились в марево, и проглянул сквозь него давний ленинградский эпизод, коротенький, в десяток секунд, но как бы растянутый рапидом не меньше, чем один к пяти. Солнце было тогда крупное, красное, на самом закате, задержавшееся на мгновение в распадке Невского, рядом с бессмертной адмиралтейской иглою, на нет сжевавшее в три четверти к нему повернутый золоченый кораблик. Пестрая и веселая толпа, праздничную общность с которой радостно ощущал Долгомостьев, шевелилась двумя лентами по сторонам трехкилометровой мостовой.

Грузный ЛАЗ, зеленый, с белой — обводом — полосой, с раструбом воздухозаборника на заднем закруглении крыши, осторожно поворачивающий *под кирпич* на Малую Садовую, рассек правую (если смотреть лицом к солнцу) ленту. Долгомостьев оказался на самом срезе. Жестяной двуцветный бок, усталые лица за пыльными стеклами плыли в нескольких сантиметрах от глаз. Ничего особенного.

Женщина — тяжелые сумки с продуктами в руках, — по костюму провинциалка, хохлушка наверное, лет пятидесяти, пожалуй, что не больше, — тоже стояла

на срезе, человека через три от Долгомостьева направо. Он и не видел ее до того, хоть не один десяток шагов прошел где-то рядом, да и тут не обратил бы внимания, когда б автобус не зацепил ее каким-то выступающим крючком, под зеркало заднего вида, что ли, и не опрокинул на асфальт, неловкую, вскинувшую руки с сумками, — под собственное переднее колесо. Водитель, углядевший, почувствовавший ли, уже давил что есть силы на тормозную педаль, и лишний воздух стравливался с шипением из-под колодок. Женщина лежала головою на тротуаре, ногами перед правым передним колесом, и оно, огромное, чуть заметно поворачиваясь, наезжало на них. *Лежала* — слово было бы неточное, слишком спокойное, если б не включившийся в момент падения женщины гигантский *rapid*, расчленивший мгновения на почти стоп-кадры, и вот, в *этом* стоп-кадре, — женщина *лежала*. «Ничего, — думал Долгомостьев, напряженно готовясь услышать неприятный хруст костей, — переломы дело скверное, но поправимое. Только б не затормозил прежде, чем съедет с ног. Больно!» Впрочем, это, может, только сейчас казалось ему, что думал, а тогда не думал — фиксировал. *Киноглаз*.

Воздух шипел. Зеленоватые лица внутри автобуса, почуяв неладное, расплющили носы, но из-за высоты своего положения углядеть ничего не могли, а встать, открыть форточку, высунуться — до этого не успел догадаться никто. Скорость, хоть и первоначально была невелика, хоть и колодки работали на пределе возможностей, — гасла слишком медленно для событий, развивающихся на мостовой не то еще Невского, не то уже Малой Садовой, скорее, Малой Садовой, чуть ли не на том самом месте, под которое лет сто назад подкапывались бородатые террористы, чтобы взорвать царя, — и Долгомостьев подумал, что зря он в предыдущий миг мысленно тормозил торможение, — его и такого могло не хватить для относительно

благополучного исхода дела. Колесо вместо того, чтобы, ожиданно хрустнув, переехать ноги, стало волочить их перед собою, подминать и поворачивать, и тело женщины, словно гигантская секундная (миллисекундная) стрелка, стронулось и пошло описывать плавную дугу, покуда не остановилось головой-наконечником точно против зева черной воронки (если смотреть снизу, с мостовой, колесу навстречу) заднего сдвоенного колеса.

Тут самым поразительным было бесчувствие, бездействие женщины: она ничего *не успевала* сделать, чтобы изменить свое положение. Даже, кажется, крикнуть не успевала. Над нею, как над манекеном, как над восковой куклой, властвовали одни законы механики и сопротивления материалов. Те *успевали*.

Время вело себя скверно. Недоставало его или было в избытке, Долгомостьев сообразить не мог, однако понимал уже, что колесо остановится не раньше, чем взберется на неправильный шар головы, и тот лопнет, сплющится, точно яйцо всмятку, на которое наступили ногою, только кровь брызнет и мозг, — понимал так определенно, что даже мог и не смотреть дальше, тем более, что очень не по себе стало бы — увидеть это. Но идти было некуда: автобус, не продвинувшись за истекшие мгновения и на три метра, по-прежнему загораживал дорогу, — да и некогда было уходить, просто некогда, и брызнула кровь, и брызнул мозг, и несколько капель осело пятнышками на брюки Долгомостьева.

Рапид вырубился, и тут же включился звук (всё прежнее шло без фонограммы — даже воздух шипел одними фонтанчиками пыли). Автобус, оказывается, затормозил: стоял как вкопанный, обрастая толпой. Кто-то визжал, откуда-то свистели.

Долгомостьев зло, ожесточенно работая локтями, с матом сквозь зубы, обогнул сзади автобус («обходи автобус сзади, а трамвай — спереди!»), мельком,

углом глаза заметил спускающегося из высокой кабины помертвевшего шофера (стоп-кадр) и пошел дальше. Солнце по-прежнему жевало золотой кораблик, не снизойдя и на миллиметр.

Первую неделю Долгомостьев рассказывал эту историю; нехотя и впроброс, непонятно, — но рассказывал. Потом — перестал, и она в какие-нибудь полгода заснула, свернувшись калачиком, на дне души. «Умерла», — понадеялся Долгомостьев, но нет: добрый десяток лет спустя пробудилась, выбралась на поверхность, потянулась сладенько и стала царапаться острыми своими коготками.

Долгомостьев объяснял себе неприятное это пробуждение сотнями рационалистических построений, но чем безупречнее они были с точки зрения логики, тем страшнее заставляли холодеть: не автобус ли судьбы, вроде того, гумилёвского, заблудившегося трамвая, зацепил его самого крючком под зеркало и повалил на мостовую под правое переднее колесо, а он просто *не успел* понять этого, *не успел* почувствовать, *не успел* закричать? Ведь в самом деле: в цепочке внешне благополучных, даже, быть может, счастливых последних событий есть и страшно не зависящая от его воли логика, и какие-то неуловимые изъяны. С тех самых пор, как десять лет назад... десять с хвостиком... подошел к нему в курилке института проспиртованный мужик и, перекинувшись парой слов, усадил в машину и увез на студию, — с тех самых пор... Сколько? Десять с хвостиком? Ну, конечно! Смерть женщины судьба показала ему буквально через какие-то семь-восемь месяцев после той встречи в курилке. Как раз когда он только-только отснялся, а Алевтина еще не умерла. Неужто просто?

Первым делом, еще до гримерки, мужик привел его в гардероб, в костюмерную. Белая рубаша, пахнущая какой-то особенно казенной прачечной, с треском разодралась от крахмала. К ее маленькому стоячему

воротничку костюмерша приладила большой, тоже стоячий, самыми только уголками отложенный: пристегнула к пуговке на затылке (этого Долгомостьев, конечно, видеть не мог — разобрался потом, когда раздевался *сам*), продела крохотную, серую с синими искрами эмалированную запонку сквозь четыре тугие закрахмаленные петельки, и под толстым, сильным пальцем судорожно, задыхательно заходило на горле Долгомостьева *яблочко*. Правый высокий штиблет без шнурков, с тесными резинками по бокам, кололся гвоздиком, так что, когда Долгомостьев шел длинными, полукруглыми в плане коридорами студии, приходилось напрягать, подгибать на ноге большой палец. Но, несмотря ни на гвоздик, ни на тугую запонку, гордый малознакомый человек в черной тройке и пластроне, сопровождавший Долгомостьева в стенах, в рост, зеркалах, был чистопородным дворянином и брезгливо не желал иметь ничего общего с обсыпанным перхотью, полуголодным, одуревшим от пятиместной комнаты в общаге студентом четвертого курса московского института культуры. Не в эти ли мгновенья почувствовал Долгомостьев впервые, что внутри него завелся кто-то посторонний, тот, кого позже назовет он про себя *картавым*, — завёлся и, словно глист, поселился в самом дальнем, самом темном и маленьком закутке, но — автономно и, стало быть, в любой неожиданный момент мог взять власть и отколоть над Долгомостьевым самый экстравагантный номер?

Потом стало меняться лицо. То есть и оно изменилось сразу, вместе с костюмом, а сейчас, под руками гримера, стали меняться собственно *черты* лица, не меняться даже — *уточняться*, стремительно приближаясь к тем, с раннего детства знакомым, более знакомым, чем собственные, — глядящим с нескольких фотографий между рамой и стеклом зеркала. Странно: как до удивления мало потребовалось для мета-

морфозы: пара заёмных клочков волос в бороду, десяток взмахов расчески, две капли клея, стянувшего кожу над бровями, от чего те приподнялись, придав глазам легкую раскосость, выявив скулы. Но нет — это было еще не всё. Явно не хватало какого-то «чуть-чуть», «последнего мазка» — как пишут в книгах про великих художников... Мазка мастера. Мастер походил кругами, что-то прикидывая, потом достал из кармана халата коробку «любительских». «Муки творчества в клубах дыма», — подумал сейчас Долгомостьев, будто он так подумал тогда. Нет. Достав папиросу, мастер не стал ни разминать ее, ни закуривать, а кривыми маникюрными ножницами отхватил от картонного мундштука две коротких трубочки, два широких колечка, и заправил их в ноздри Долгомостьева. Нос слегка вспух, вздернулся. Из зеркала глянуло точно то лицо, что смотрело от зеркала. Сходство было пугающе полным.

Проспиртованный мужик, второй режиссер, успевший *добавить*, пока Долгомостьева одевали и гримировали, млел от восторга, лез целоваться и подгонял фотографа поскорее покончить с пробами: главное дело вечера — показать *самому* — было впереди.

За окнами черной «волги» хлюпала слякотью ноябрьская Москва. Долгомостьев, словно арестованный, зажатый на заднем сиденье между вторым и директором, досадовал на себя (но отчасти и с радостью досадовал, что, мол, вот и чудесно, и пусть не возьмут, и хорошо, что не возьмут — еще этого мне не хватало!) за скверно сыгранные фотопробы: неожиданность и *важность* приобщения слишком, по-видимому, отражались на его лице, когда горбатый фотограф общелкивал его со всех сторон огромной своей камерой, а для *этой* роли главное: живость, органика, простота. И не в том неожиданность состояла, что подпитой мужик неожиданно для Долгомостьева открыл секрет сакраментальной его похожести: Долго-

мостьев и в детстве о ней знал, и чуть ли не в младенчестве: уже самые ранние, только что не голышом, фотографии, с которых смотрел в объектив умненький кудрявый блондинчик, вызывали у тетушек, бабушек и соседей умильные реплики вроде «ангелочка» и «ну прямо вылитого Володечки Ульянова». Вторая волна похожести настигла Долгомостьева классе, кажется, в седьмом, когда отец привез из Москвы непривычную для У. форму: фуражку с кокардой «Ш», серые брюки (ну, это еще ладно!) и... китель! Да-да, не гимнастерку, а серый форменный китель с большими металлическими пуговицами, совсем как у Ульянова-гимназиста. «Я вижу дом, где Ленин рос = И тот похвальный лист, = Что из гимназии принес = Ульянов-гимназист...» Но одно дело — бабушки и учителя, совсем другое — «волга», студия, Дулов. В этом и заключалась настоящая неожиданность: ничего подобного никогда Долгомостьеву и не грезилось. Во всяком случае, в связи со своею этой похожестью не грезилось.

«Каз-да-ле-е-вский! — заверещал выбежавший в прихожую седой утконосый человечек. — Это же прямо каз-да-ле-е-вский!» «Е» он вытягивал вверх, выпевал, и при этом вертел недоумевающего, что значит «каздалевский», Долгомостьева (его из машины вели без пальто и шапки, для *сюрприза*), как портной на примерке, и золотая звездочка героя соцтруда побрякивала на полосатой пижамной куртке. «Вот! — гордо, хоть несколько и заплетаясь, произнес второй. — Вот, Семен Израйлевич! — нашел...» — «Семен Ильич!» — действительно прозвенел из глубины коридора нежный женский голосок. «Семен *Ильич*...» — с едва слышимой ехидцей поправился второй.

Дулову, впрочем, было не до собственного отчества: он сразу, с одного взгляда, понял, что второй, действительно, *нашел*, и теперь картина, мысленно похороненная, картина, в которую столько сил, нервов и таланта он уже вложил, картина, вершащая десяти-

летний труд — заключительная часть трилогии, — спасена. Дулов писал и пробивал заявку, делал сценарий и вступал в подготовительный со спокойным расчетом на восточного мальчика, гибкого и женоподобного, который сыграл уже в двух первых фильмах, но тот, словно переняв от своего персонажа твердость характера и безапелляционность, столь же решительно, сколь и неожиданно отказался. Он, дескать, актер, эта роль им уже сыграна и даже дважды, а теперь ему нужно развиваться, расти дальше, теперь пора играть *настоящие* роли (так и сказал: настоящие), на которые, кстати, приглашают его со всех сторон, и так далее. Словом, теперь «мы пойдем другим путем». Дулов, не Бог весть как сильный в психиатрических тонкостях, в понимании механизма воздействия сыгранной роли на личность актера, глубоко обиделся: стало быть, роль, на которую он вытащил мальчика из жалкого саратовского училища, которою прославил на всю страну и шире, под которую сделал ему сорокарублевую ставку и диплом ВГИКа, — эта роль, во-первых, *не настоящая*, во-вторых, не Дуловым она вылеплена, а им самим, провинциальным сопляком, и, наконец, в-третьих, — *эту роль*, оказывается, можно, сыграв, постигнуть до конца и материала для дальнейшего актерского роста и развития она не дает.

Дулов, либерал, сам пострадавший при культе (весьма, правда, своеобразно пострадавший), не любил вспоминать *о прошлом* вообще и о своем юридическом (а было у него и такое) — в частности, а уж тем более о формулировках, которые приходилось ему иногда записывать в следственные документы, но тут, перед лицом невообразимой, всё превосходящей наглости и чернейшей неблагодарности не смог удержаться, чтобы не выложить мальчику, *что* за свои высказывания получил бы он в свое время, и жаль, что не получит сейчас, а может, настанет еще пора, когда и получит. Дулов даже пытался надавить на него через гос-

кино и — хоть это и претило его порядочности — через старых своих коллег, но и здесь, и там лишь разводили руками, а глаза возводили горé, намекая на мальчикова тестя (недавний головокружительный брак, тоже, в сущности, под эту роль, тоже, в сущности, Дуловым подготовленный), точнее — на *отца* мальчикова тестя. У Дулова от отчаянья (закрывали картину!) возникла даже идея прорваться к самому *отцу*, и он даже пытался, но тот сидел слишком высоко, и для Дулова — слишком высоко, прорваться было не просто, да и чувствовал Дулов, что номердохлый, что не его, а мальчикову сторону тот возьмет: идеология — идеологией, а семейные связи сейчас окрепли, не то что тридцать лет назад. Попробовал бы мальчик *тогда* отказаться, будь хоть зятем самого Сталина!

Впрочем, тридцать лет назад из-за такой ерунды, как покуда не найденный актер, подобную картину и не закрыли бы, дали б пролонгацию. Да что пролонгацию — и сроков-то никаких бы не назначили, и не было бы лихорадки, и не спасением стала бы находка второго, а обычной работой, и еще очень подумал бы Семен Израйлевич, и посоветовался бы со многими, прежде чем взять Долгомостьева даже и на пробы. А теперь...

«Сколько лет?» — ткнул пальцем Дулов в живот Долгомостьева. «Двадцать девять!» — прежде Долгомостьева ответил второй. «Каздале-е-вский! — воскликнул Дулов. — Го-дит-ся!» — «Кто такой Каздалевский?» — шепнул Долгомостьев второму. «Не обращай внимания, — обдав собеседника перегаром, неожиданно перешел второй «на ты». — Это у него такое *словечко*». И, незаметно повернув у виска указательный палец, добавил: «Тараканчики...»

Нежный женский голосок, звеневший из коридора, принадлежал Веронике Андреевне, последней, недавней жене Дулова. Ее не всё устраивало в супруге, но самым, пожалуй, больным ее пунктиком был пятый.

Поэтому, более или менее удовлетворенная и внешностью его (в *этом* смысле), и фамилией (Вероника Андреевна не знала, что фамилия подложная, что Семен Израйлевич сам придумал ее себе в двадцать первом году в Крыму вместо совершенно невозможной «Купервассер»), и даже именем, — особенно болезненно воспринимала она отчество и повсюду властно насаждала русский его вариант. То есть ей казалось, что русский.

Надо сказать, что на Веронику Андреевну Долгомостьев обратил внимание не вдруг — факт удивительный, если учесть, что она, тогда тридцатипятилетняя, с годами не свежела, но сегодня, с отдаления, и этому удивительному факту видел Долгомостьев простое, чуть ли не на поверхности лежащее объяснение: в тот момент линии их жизней казались ему не то что бы параллельными, а скрещивающимися: лежащими в разных плоскостях, не пересекающимися даже в бесконечности, даже в хозяйстве Лобачевского. Другими словами, влюбляться в Веронику Андреевну в тот момент было все равно, что влюбляться в кинозвезду, причем не в нашу даже кинозвезду, не в Фатееву какую-нибудь, а в кинозвезду вполне идеальную, недостижимую, как и подобает звезде, в Софи Лорен, например, или даже в Мерлин Монро — ей и живою-то быть не обязательно. В кинозвезд влюбляются мальчики и безумцы, Долгомостьев же при всем своем некотором остаточном романтизме не был, слава Богу, ни тем, ни другим.

Кроме того, в тот момент показалось Долгомостьеву, что Вероника Андреевна стара. Не в том смысле, что дряхла для него, а в том, что он, мальчишка, не может быть ей интересен, и хоть самому — совсем под тридцать, — провинциал, студент, конечно же, ты еще сопляк, и никому на свете — себе в первую очередь — обратного не докажешь. А если даже, ночь протрудясь над собою, и докажешь, то завтра же, еще

до полудня, непременно уверенность твою собьют: в деканате, в магазине, в автобусе. Не потому ли так ревностно оберегал сегодня Долгомостьев трудно выстраданное право на имя-отчество, не позволяя фамильярничать даже самым близким коллегам, даже своему мефистофелю, Витеньке Ответову?

Дулова Долгомостьев вообще-то глубоко презирал; еще и в У. презирал, а в институте культуры и подавно, — за сюсюкающие фальшивые картины «Гимназист» и «Студент» — о детстве и юности Ленина, за предыдущую развесистую клюкву о войне и колхозном строе, презирал, как говорится, чохом, одним списком с десятками других официальных, преуспевающих режиссеров, актеров, писателей. Но презирать издалека легко, — когда же с кем-нибудь из этих презираемых судьба сталкивала Долгомостьева лично — к презрению примешивалось особое любопытство, чуть ли не благоговение, и так основательно примешивалось, что и от самого презрения едва ли что оставалось. А уж тем более, попробуй окажись у презираемого дома (тут кстати сказать еще, что дом сам по себе был непередаваемо великолепен, огромен, весь увешан картинами, уставлен книгами, дорогими побрякушками, блестел паркетом), да будь к тому же обласкан: заботою, вниманием, неподдельной заинтересованностью... И еще чай пахнет жасмином и чем-то таким, чего Долгомостьев в жизни не нюхал и не пробовал. И закуски!.. Словом, вел себя Долгомостьев у Дуловых чрезвычайно мило, любезно, *воспитанно* (таких даже умений за собою прежде не знал — неужто уже картавый действовал?!), а может быть (но это тоже ему потом казалось, теперь), — а может быть, несколько и заискивающе.

Пока суд да дело: разговоры, сценарий, чай, — на студию стало поздно, и условились, что Долгомостьев поедет ночевать *так*, а завтра *так* же и приедет на студию: варианты грима, костюма, новые пробы —

словом, работа. Можно, правда, было высморкать картонные колечки, вытащить заёмные клочья из бороды, смыть тон и взъерошить волосы, но Долгомостьев оправдал себя тем, что неудобно проситься в дуловскую ванну, а на вокзале, где туалет доступен, — тем, что грязен, нехорош и что нету полотенца, но уже там, на вокзале, решил приоткрыть себе, что не только оттого не высморкал и не взъерошил, что *негде*, а оттого еще, что хотелось ему новых, посторонних, *рядовых*, так сказать, зрителей.

На вокзале же он оказался потому, что до дому на «волге» его не довезли: как ни пьян был второй, а хватило ему сообразительности догадаться, что дальше Долгомостьева можно не уговаривать, что не только он не обидится, а и пешком за «волгой» побежит, если ему поставить такое условие. Тут второй, разумеется, несколько перегнул — за «волгой» Долгомостьев не побежал бы, но перегнул все же только несколько, потому что, не побежав, потом всю жизнь жалел бы Долгомостьев, что не побежал.

Выйдя из «волги» у Ленинградского, Долгомостьев не проскользнул к перрону закутками, а спокойно пошел на самом виду и даже ближайшую электричку, ради которой подбежать надо было, пропустил, а поехал на следующей, через восемнадцать минут, «со всеми остановками». Сел он у тамбура на неудобный продольный диванчик и сам сначала не понял, почему именно на него, а потом понял: чтобы, сняв шапку и распахнув пальто, отражаться анфас в темном полузеркале противостоящего окна, и отражался, и за отражением следил, и следил еще, как и на него, и на отражение реагируют немногие полуночные пассажиры. Те, надо сказать, реагировали неважно, но Долгомостьев списал это на счет их деликатности: он ведь и сам, увидев где-нибудь на улице или в магазине Пуговкина или Крамарова, всегда старался отвести глаза и не дай Бог — по первому автоматическо-

му порыву — не поздороваться как со старым знакомым.

В комнате его все уже спали, да и не очень хороши у него были отношения с ближайшими соседями, и Долгомостьев зашагал по коридору, прислушиваясь, за которой дверью шумнее, чтобы туда и войти. «Ну? Как? — вертелся он из стороны в сторону. — Пригласили...»

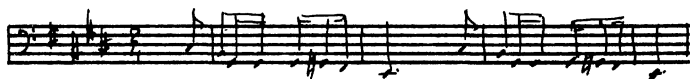
В общежитии, а через несколько дней, когда между пробами выдалось окно, и в институте, было легко, хорошо, *поздравительно*; деканат, естественно, шел навстречу, пропусков занятий не засчитывал.

Другая реакция была у ребят из УСТЭМа (У-ского студенческого театра эстрадных миниатюр), ребят, рядом с которыми провел Долгомостьев все годы первого своего студенчества, самые, может быть, яркие годы юности, — и с которыми, несмотря на некоторую разлуку, ощущал серьезную, важную связь. К нему, из всего коллектива единственному выбившемуся в *искусство*, поступившему в театральный (ну, *почти* театральный) институт, отношение у ребят было уважительное, хотя и сильно одобренное иронией, — последнее по старой памяти, а Долгомостьев про себя определял, что и из зависти.

Уже после всех проб и внутренних поздравлений, но, ожидая какого-то самого *высшего* утверждения, поехал Долгомостьев на казенный счет на родину, в У., и там всякий вечер бывал у ребят, и много разговаривали, и, как ни странно, тон брать Долгомостьеву чаще приходилось оправдательно-обещательный, нежели победный. А больше прочих — это уж как всегда — пришлось Долгомостьеву уговаривать Алевтину.

Алевтина вообще от встречи до встречи сильно менялась, и менялась в худшую сторону: в слишком уж, на взгляд Долгомостьева, большую заслугу ставила себе верность свою и ожидание; подозрительность, беспричинная (если честно — не вполне беспричинная)

ревность, ханжеское, фальшивое самоуничижение все чаще слышались в ее словах, в ее интонациях, в ее настроении; все большее она Долгомостьев подкусывала, и он временами недоумевал, куда ж подевалась та безоговорочная, бескомпромиссная любовь, сохранить которую были они полны решимости, когда Долгомостьев ехал учиться в Москву. Еще и дома отец, отставной майор МВД, наладивший в пенсионной скуке самодеятельную агентурную сеть из бывших своих коллег, намекал что-то на поведение Алевтины, будто *видели* ее с режиссером УСТЭМа, но в это Долгомостьев верить не хотел, то есть не то что бы *не хотел*, скорее, напротив, — хотел, ибо уже тогда — безотчетно, правда, — казалась ему Алевтина обузой, — а просто поверить *не мог*, потому что слишком уж очевидно органическою была она однолюбкой. Вот — несмотря на ужасную ссору — и в аэропорт, провожать, пришла. Впрочем, и все ребята пришли, и режиссер тоже. Расставание было хорошим, искренним, дружелюбным, а, как резюме вечерних разговоров, было от ребят: «Ну, ты им вмажь!», и от всей души отвечал Долгомостьев: «Вмажу! Уж вы не беспокойтесь!» Да и как иначе мог он думать, как сумел бы он сохранить уважение к себе, если б не было в нем этой уверенности, этого твердого намеренья непременно *вмазать?!*



— вызвонили куранты полный час и вывели Долгомостьева из оцепенения, которое не помешало ли ему заметить Рээт? Куранты-кураты... Впрочем, сама она, если б явилась, — неужто прошла бы мимо него, мимо трех десятков желтых астр, стебли которых мял Долгомостьев в потной руке? Эти астры были добавком, сверх тех едва не ритуальных цветов, без которых не приходил он ни на одну с нею встречу. Основ-

ные сегодняшние — дюжина бордовых роз, — были уже вручены утром, на вокзале. А астрами Долгомостьев пытался обмануть себя, успокоить, убедить, что Рээт *придет* к Историческому, что не просто так, не чтоб отвязаться, назначила она свидание, что, действительно, есть у нее сегодня какое-то очень важное и покуда от него секретное дело, что гигантское черное колесо не разворачивает, не доворачивает его на бликующей, выпуклой, как Земля на глобусе, мостовой Красной площади.

Игрушечные солдатики вышагали уже половину пути к Спасским воротам, и небольшая — олимпийская — толпа раскрыла мавзолей, насытившись нехитрым, но вечно ее соблазняющим зрелищем смены караула. Впрочем, с какой еще стороны смотреть — хитрым или нехитрым: в живом олимпийском табло на трибуне тоже вроде бы ничего хитрого. Однако способность государства заставить столь безукоризненно подчиниться себе несколько десятков людей, способность, доведенная до такой степени наглядности, — не может не вызвать некоего совершенно мистического к этому государству уважения. И стыдной гордости от собственной причастности. «Где уж, — думаешь, — Западу, богатому и свободному, устроить такое табло...»

Очередь к мавзолею тоже была олимпийская — укороченная, не доходящая до Александровского садика, едва за Исторический, вдоль которого второй час тупо расхаживал Долгомостьев. «Из кого же она состоит? Из простых советских граждан? — раздраженно думал он. — Ведь не сгоняют же их сюда насильно — сами приходят к шести утра и по семь-восемь часов выстаивают. Значит, из *народа*. Из того самого народа, что составляет по всей стране подобные же очереди за вонючей колбасой?.. Впрочем, хрен его, этот народ, знает: может, нравится ему *стоять*? Может, ежедневное напряженное решение продовольствен-

ной проблемы дает пищу голодающему его духу?..»

Вот какие *либеральные* мысли приходят в голову, когда второй час ждешь женщину, а ее все нету и нету.

Долгомостьев припомнил недавний разговор с Витей Ответовым, когда, по поводу первого кадра, им вдвоем случилось сбегать в магазин за шампанским. «Смотри! — сказал тогда Вите вечно удивленный Долгомостьев. — Откуда здесь постоянные толпы? Чего б этим ребятам не закупить ящик водки сразу, если все равно пьют целыми днями и без выходных?» И Витя, как обычно, Долгомостьева приложил: «Много вы понимаете в народной психологии! В выпивке что самое главное? Думаете — выпить? Не выпить — *добавить*. Вон стоят трое, скидываются. Полагаете, у них денег не хватает или они не знают, что для полного кайфа им нужно *четыре* поллитры? А возьмут *одну*. В крайнем случае — *три*. А потом, когда уж закроются магазины, когда на такси надо будет ехать в Домодедово и переплачивать втрое или лететь во Владивосток, — вот тогда они начнут разбиваться в лепешку, чтобы добыть *четвертую*. Ибо в доставании этом главный кайф и есть. А без кайфа, как вы должны бы уже понять, нету лайфа...»

Впрочем, на вопрос: из кого же она состоит, очередь к мавзолею, можно было ответить и чисто дедуктивно, то есть исходя из того частного факта, что сам Долгомостьев дважды стоял в ней, дважды продвигался вдоль кремлевской стены к заветной святыне. Хотя, следует заметить, оба раза именно у него были в наличии причины вполне веские.

Первый раз — Долгомостьев был совсем еще мальчишкой, лет четырнадцати или пятнадцати, только в комсомол вступил, и отец привез его в Москву. Это был год не то пятьдесят четвертый, не то пятьдесят пятый, и в мавзолей и кремль, чуть ли даже и не

на Красную площадь, пускали по каким-то ужасно строгим пропускам, и отец, хоть и офицер МВД, едва не неделю бегал — доставал.

На мавзолее тогда написано было «ЛЕНИН—СТАЛИН», обоих рядышком Долгомостьев и увидел. Но не только что сегодня не помнил, какое было впечатление, а как раз запомнил, что *тогда* никакого впечатления не было. Ну, то есть какое-то, конечно, было: и от подземелья, и от холода, и от затхлого сырого запаха (не в тот ли раз Москва в представлении Долгомостьева его и приобрела?), и от тихой торжественности, — но скажем так: не было *живого*, непосредственного, собственно Долгомостьева впечатления именно вот от двух этих рядышком лежащих мумий, потому что задолго до того, как увидел их Долгомостьев воочию, у него уже было о них самое полное, самое окончательное представление, и только отметил он в ту минуту автоматически, что вот это вот — *Ленин*, а вот это — *Сталин*. «Один сокол Ленин, другой сокол — Сталин...»

Сейчас, когда Долгомостьев, кажется, научился видеть мир непредвзято, таким, какой есть, он жалел, что снова не может пересмотреть ту мизансцену, снова увидеть рядышком лежащих вождей. Оставалось совсем уж предвзятое воображение либо эрзацы, вроде того случая, когда он, войдя в примерную, увидел перед зеркалом, соседним со своим, небольшого роста грузина в сером френче и с зачесанными назад чуть седоватыми гладкими волосами, которому гример как раз наклеивал усы: через павильон снимали что-то про войну. Когда Долгомостьев и сам уселся в кресло, и руки гримера забежали и над ним, он представил себе, что увидит любой вошедший, обняв взглядом оба их зеркала сразу.

Вообще в примерных, коридорах, курилках и буфете студии случались встречи самые неожиданные, хотя бы, например, с Тихоновым в немецкой форме,

задолго до того еще, как победно прошел по телеэкранам бессмертный Штирлиц и из каждого окна, как пули у виска, засвистели мгновения.

Со стороны, взглядом встречных, любил Долгомостьев смотреть и на загримированного себя, и до самого конца съемок воображаемым этим зрелищем не насытился, но раз-другой все же задумался, хоть и безответно: что именно столь лестно ему: просто ли факт собственного актерства, перевоплощения, — или же факт перевоплощения как раз в *этого* персонажа, вот не просто в кого-нибудь знаменитого, а как раз в этого? То есть: то ли же самое чувствовал бы он, будь загримирован в Пушкина или, скажем, в Наполеона Бонапарта?

Так или иначе, огромный фотографический портрет, метр, приблизительно, сантиметров на семьдесят, подаренный ему, как привык говорить Долгомостьев, а сейчас уже и верил сам, а на деле — *выпрошенный* у горбатого фотографа, — сильно увеличенный отпечаток лучшей из тех, первых, фотопроб, бережно пронесенный в специально для него купленном чертежном тубусе сквозь все неожиданности, попойки и скандалы общежития и ненадежность съемных жилищ, дождавшийся, наконец, собственной двухкомнатной квартиры оригинала, после чего снесенный последним в «металлоремонт» и за девять рублей восемьдесят четыре копейки обрамленный тонкой латунной трубкою и застекленный, — так или иначе, огромный этот фотографический портрет и по сегодня висел в глубине длинной долгомостьевской прихожей, в как специально под него выдолбленной нише, над светлым квадратом утвержденного на единственной разлапистой никелированной ноге телефонного столика (ГДР). Первопосетителям долгомостьевской квартиры, тем, во всяком случае, кто не знал или забыл о главном повороте судьбы хозяина, портрет этот бросался в глаза в начальный же миг и удивлял, но не столько

расположением своим, размерами и фактом существования: во многих московских, даже и вполне либеральных, домах можно встретить образ великого человека, — а незнакомостью композиции и ракурса: иностранцев к себе Долгомостьев не водил, а любой уроженец страны советов с детства помнит наперечет все дошедшие до его дней фотографии ее автора, все канонизированные его портреты и прочие изображения. Изумление гостей втайне льстило Долгомостьеву и давало повод объяснять небрежно, что к чему.

Любопытно отметить, что реакция гостей, с примесью понимающей улыбки ли, сообщнической ли иронии, — всегда была положительна, и Долгомостьев знал это заранее. Изредка ему приходило на ум, что есть, что должны же быть люди с другою реакцией — вот хотя бы покойница Алевтина или прочие ребята из УСТЭМа, но что, прежде любимые, навсегда вычеркнуты они из списка возможных его гостей, — и тогда Долгомостьев злился на себя, но в незаметные секунды злоба эта с себя опрокидывалась на покойницу Алевтину, на ребят из УСТЭМа, на людей, что *должны же быть*, — и все они оказывались либо сами конформистами, либо завистливыми неудачниками, либо еще кем-нибудь, вполне несимпатичным.

Один только человек не поддавался диалектическим манипуляциям Долгомостьева, и в равной мере невероятно было его ни вычеркнуть из списка возможных (скорее, впрочем, *невозможных*, однако, очень желанных) гостей, ни допустить до портрета, — Рээт. При мыслях о ней реальность так сдвигалась в голове Долгомостьева, что ему начинало казаться: не потому не может он позвать ее к себе в этот полуслучайный общий московский их день между двумя поездами, двумя вокзалами, и вынужден потной рукою сжимать в кармане ключ от ответовской, с грязными простынями, мастерской, что дома сидит жена Леда, а исключительно из-за пресловутого портрета. И кто ведает,

а вдруг и прав был Долгомостьев, вдруг действительно: увидь Рээт огромную эту фотографию, всё между ними и закончилось бы? То есть не просто увидь, а, увидев, узнай или догадайся о ситуации вокруг нее и о том, главное, что висит она в прихожей Долгомостьева и по сей день.

И еще понимал Долгомостьев, что рано или поздно Рээт узнает, и это понимание, придавая привкус украденности и непрочности поздней его любви, обостряло ее, без того давно, может, заглохшую бы и изначально-то не слишком живую, в каком-то смысле даже и не собственную, а Ответовым спровоцированную, — обостряло долгомостьевскую любовь до самой последней возможности.

Второе посещение мавзолея было уже, конечно, вполне сознательным, но все равно ничуть не стыдным, ибо — деловым: согласившись на *роль*, Долгомостьев решил изучить своего героя самым скрупулезным образом, чтобы не повторять актеров-предшественников, а играть именно *его*. Точнее так: потому только и согласился, что намерен был сыграть не широкое представление о нем, не штамп его, а *его*, в этом и ребят из УСТЭМа убеждал, и Алевтину. А если уж совсем точно, то согласился он смаху, еще там, в курилке, когда его, собственно, и не спрашивали, но согласился несознательно, не мыслью, не фразой, а общим сдвигом души, и, чтобы согласие действительно стало согласием, а не пёром того самого крючка под зеркало, следовало подвести под него ту ли, иную ли теоретическую базу, так сказать, *согласовать* согласие с нравственными принципами. И вот именно, что «ту ли — иную ли» — это он понимал *сейчас*, — и, не замаячъ в мозгу его благородная миссия добывания *правды* из-под навалов косности и намеренной идеологической лжи, — замаячила бы другая. Непременно бы замаячила. Потому что не могло

же получиться так, чтобы Долгомостьев от роли этой отказался.

Ну, всех пятидесяти пяти томов, положим, было не осилить, но биографию и основные работы Долгомостьев читал и раньше, даже экзамены неоднократно по ним сдавал, а теперь сосредоточился на фотографиях, кинодокументах и звукозаписи. И уж конечно — наметил сходить в мавзолей.

Хотя, если разбираться, то мавзолей был здесь совершенно не при чем, ибо всякий труп значительно больше походит на любой другой труп, чем на человека, из которого получился. Но это тоже были мысли поздние, сегодняшние.

А тогда — забежал он на Красную площадь, узнал, по каким дням *пускают*, и в ближайший же — отпросился, оттребовался с кинопробы и с утра занял место в хвосте, в Александровском садике.

В одиннадцать очередь двинулась, но поначалу не вперед, а назад: милиция спрямляла ее, сужала, из продолговатой толпы составляла колонну по два. За несколько человек впереди Долгомостьева стояли деревенского вида старичок со старухой: резиновые сапоги, старые ватники, — и, судя по частоте погонного мелькания, сильно милицию раздражали. Наконец, подошел к паре важный капитан, о чем-то там переговорил и старичка из очереди вынул. Позже выяснилось: у того под телогрейкою обнаружился мешочек с крупой, что категорически *не полагалось*. Любопытно: старуха не ушла за мужем, осталась, а тот, отойдя, робко стал под Историческим, на том примерно месте, где стоял сейчас Долгомостьев.

Но сейчас стоять было одно удовольствие (если б, конечно, не астры и не Рээт): тепло и сухо, — тогда же было сыро и холодно: начинался декабрь. И Долгомостьев, замерзнув ногами уже слишком, выкинул финт, то ли решив проверить магическую силу своей

внешности, то ли — воспитать наглость, которая в будущем могла ему понадобиться.

Он обратился к ближайшему милиционеру и попросил того подозвать капитана. Тон, вероятно, Долгомостьеву удался: смешавшийся милиционер, вместо того, чтобы послать Долгомостьева куда подальше, капитана позвал, и Долгомостьев тихо, однако не так и не затем, чтобы никто в очереди не слышал, а тихо для *солидности*, сказал, что в мавзолей ему надо по делу и он не считает целесообразным отстаивать всю эту очередь.

Капитан поначалу ничего не понял и на любом другом посту не захотел бы, надо думать, и понимать, но тут пост был особый, номер один и для милиции, и следовало быть вежливым и оперативным, ни в коем случае не допускать никаких эксцессов.

Долгомостьев снял шапку, провел рукою по волосам, чуть-чуть прищурился и спросил капитана: «Те-пе'гь понимаете?» Капитан не понимал и «тепе'гь». Тогда Долгомостьев пошел на последний шаг, последний, потому что *не пойми* капитан и его, быть бы, вероятно, Долгомостьеву задержанным, доставленным в отделение, а то и побитым. Последний же шаг был таков: Долгомостьев сунул шапку под мышку, приложил ладони к вискам и мизинцами несколько приподнял ноздри, а безымянными — брови. «Узнаете? — спросил из этого положения и, так и не дождавшись признания, почувствовав критический барьер капитанова терпения: — Я снимаюсь в кино в роли... (уже «в роли», а не «в 'голи»), — и кивнул на мавзолей. — Мне хотелось бы поработать над образом», — и кивнул снова. «Документы при вас есть какие-нибудь?» — спросил капитан и, скрывая замешательство, долго листал паспорт с временной подмосковной пропискою, перебирал корешки талонов за кино- и фотопробы и считал печати в студенческом. Покончив с документами, ответил нетвердо: «В порядке общей

очереди, — и, повернувшись, отошел, но тут же и возвратился, неизвестно почему передумав, взял под козырек и сказал: — Ладно. Пройдите...»

С *правдой* дело, однако, обстояло не так просто: на первой же кинопробе Дулов потребовал от Долгомостьева речевого дефекта из анекдотов, того самого дефекта, к которому Долгомостьев неосознанно прибег уже на Красной площади, и Долгомостьев нехотя вынужден был подчиниться, даже и не спорил почти, потому что боялся не пройти проб — не единственный же он Ленин на всю страну! — и не сыграть, наконец, своего героя, *каким он был* (хоть, вроде, откуда так уж точно знать Долгомостьеву, каким он был?), а не каким снялся в его роли тридцать с лишним лет назад актер Борис Щукин...

Долгомостьевское училище...

Долгомостьев снова оглядел площадь: ему вдруг представилось, будто там, в мавзолее, внизу, на дне стеклянного саркофага-холодильника вместо трупа вождя лежит он сам, Долгомостьев, и бесплатно раздает медленно текущим мимо гражданам очереди килограммовые палки вареной колбасы. «Вам кусочком или нарезать?»

В этот самый момент мелькнула вдалеке, слева от Василия Блаженного, белая крахмальная кофточка Рээт.

2. КАК БЫ МЫ ПРЕДСТАВИЛИ СЕБЕ ЭСТОНКУ

Рээт встала задолго до Москвы — часа за три, пока у туалетов не успели скопиться очереди, — и, раздевшись до пояса, спокойно, только вагонного покачивания, а не раздраженного стука в дверь опасаясь, брила подмышки, массировала лицо и шею — совсем еще приличную шею, — и долго плескалась над раковиною в тесной кабинке. За окном, за верхней прозрачной его третью, мелькали заблокированные к олим-

пиаде подмосковные платформы с редкими русскими, ожидающими утренних электричек.

Поезд, кажется, шел по расписанию, — ну да, конечно: «Варшава-Москва», международный экспресс, да еще вдобавок — спортивный форум мира, — и впервые в жизни эта точность вызывала досаду: опаздывай он, оставалась бы легкая надежда, что Долгомостьев не дождется, уйдет с вокзала, и неприятного объяснения хоть на сегодня, хоть до вечера, удастся избежать. Впрочем, опаздывай поезд, Рээт не упустила бы высказать сквозь зубы по-эстонски что-нибудь раздраженно-язвительное по поводу «русского бардака». И так ей было нехорошо, и так — нехорошо.

А объясняться Рээт предстояло в том, что решила она Долгомостьева оставить. Приняла решение.

Действительно, случайный этот, в шутку и назло Велло завязанный роман затащил ее слишком далеко и, если не остановиться вовремя, не дернуть ручку стоп-крана, мог запросто бросить под колеса поезда судьбы, еще два месяца назад мерно и мирно постукивавшие на стыках под прочным полом, на котором двумя ногами стояла Рээт. Если бы Велло в ту пятницу позвонил ей не в три, а хотя бы в четыре, она, конечно же, отказала бы *этому русскому* (так в первые дни звала она про себя Долгомостьева), подошедшему к ней как раз в три четверти четвертого, и не было бы дурацкого похода в «Кянэ Кукк». А если б Велло позвонил в полдень, даже в два часа, Рээт успела бы справиться с разочарованием по поводу неудавшейся поездки на уик-энд в Пярну, придумала бы чем заняться, и вечер не показался бы ей настолько пустым и одиноким, что для его заполнения хорош оказался и русский. Но позвонил Велло в три, и это при желании можно было принять за судьбу.

Впрочем, ничего серьезного от этого вечера она не ждала: просто ей показалось забавным и даже полез-

но-воспитательным (Велло, пожалуй, похвалил бы ее за это) расколоть русского на «Камю», на дорогие закуски, на такси, а после, невинно попрощавшись у подъезда, улизнуть домой, как оно и случилось, — не рассчитала она только, что русский будет говорить много слов, что слова эти чем дальше, тем ярче будут вспоминаться и, наконец, их медленный яд так разъест волю, что Рээт сама разыщет и наберет его телефон.

До того, как Рээт поняла, что влюблена в Долгомостьева, словно восьмиклассница, она не только называла его *этот русский*, но и на самом деле считала, что он русский, и уже потом, оправдывая перед собою и матерью непозволительную свою связь, решила для себя (и для матери), что он *еврей* и что, стало быть, никакого особенного преступления перед своим народом и памятью отца она не совершает. Бывают такие рыжие евреи, такой тип.

Хотя, конечно, если разбираться: еврей, это, может, еще и похуже, чем русский. В смысле доли их конечного участия в катастрофе эстонского народа. Но сегодня евреи тоже гонимы, тоже угнетаемы — и в этом какая-то родственность судеб, повод для солидарности. Только не слишком ли рационалистичны такие рассуждения для непосредственного *национального чувства*, которое, само по себе, против Долгомостьева не бунтовало. И против многих других русских, если они лично не делали Рээт ничего дурного, не доставляли неудобств, пусть мелких. Зато, когда автобус набивался битком — а ехать ей от Рок-альмаре до дому было полчаса — и где-нибудь на передней площадке звучала резкая русская речь, — тут виновники всех на свете бед и неприятностей становились очевидны.

У Велло национальное чувство было — казалось Рээт — каким-то не таким, иным, более, что ли, органичным, впрочем, наверняка утверждать нельзя, потому что, опасаясь сказать что-нибудь не то, Рээт с ним

на эту тему никогда не заговаривала, то есть именно на *эту* тему, а если проскакивали у Велло в разговоре какие-то фразы, Рээт, само собой разумеется, соглашалась с ними вполне, и получалось, что и со всею его национальной концепцией она согласна, а в чем эта концепция заключается и есть ли вообще — так для Рээт, в сущности, неизвестным и осталось. Да и не женское это дело.

Тем, что *этот русский* пригласил ее именно в «Кянэ Кукк», он наверняка хотел продемонстрировать и свои глубокие симпатии к эстонскому народу (редкий русский, с каким доводилось Рээт беседовать, то есть не таллинец, а из приезжих, из командированных или туристов, не хотел продемонстрировать эту симпатию, так что даже странным казалось: почему Эстония до сих пор не добилась независимости), и понимание таллинской топографии, и, главное, мужество: в «Кянэ Кукк», да еще в компании эстонки, его вполне могли побить. Рээт эти демонстрации, естественно, раздражали. Как, впрочем, раздражало бы и их отсутствие, то есть какой-нибудь из туристических псевдонациональных ресторанчиков старого города, «Норд» или «Вана Тоомас». Раздражали ее и речи русского, потому раздражали, что были неискренни: ну как взрослый мужчина, видевший ее едва три раза по десять минут, мог успеть проникнуться восхищением, любовью и чем-то там еще, о чем не переставая говорил Долгомостьев?! Сквозь слова его легко слышалось Рээт обыкновенное желание любовного приключения в колонии с аборигенкой. Но, с другой стороны, может, и за всю жизнь свою не слышала Рээт от сдержанных и суровых эстонских мужчин столько хороших слов, сколько в тот вечер, и звук их, чуть ли не отдельно от смысла, чуть ли не без перевода обходящий-ся, и уж во всяком случае — помимо воли Рээт, обволакивал, завораживал, и голова плыла не от одного «Камю».

И все же в том, что Рээт, спустя неделю, позвонила Долгомостьеву и пригласила к себе домой на ужин, виноваты были не эти слова (не одни эти слова! — скажем точнее), и не чувство неловкости перед русским, что после столь разорительного похода в ресторан она даже поцеловать на прощанье себя не позволила, а опять Велло. Рээт приготовила ужин для себя и Велло, но он снова позвонил, что занят, и тогда Рээт позвонила Долгомостьеву. Всегда лучше себя чувствуешь, когда найдешь виноватого.

Долгомостьев принес огромный букет «баккара», вел себя хорошо, ел аккуратно, нож держал в правой руке и клал его на пустую тарелку, не скрещивая с вилок, и Рээт даже пожалела, что демонстративно подсунула ему столовые приборы с орлами и свастиками на серебряных ручках — единственное оставшееся от отца наследство. Впрочем, Долгомостьев сделал вид, что обидного намека не понял. И снова произносил *слова*.

Русские вообще люди некультурные, азиаты, но если уж они перенимают западные манеры, то западных людей, расчетливых и педантичных, сразу и превосходят. Велло, например, тоже дарил цветы — он был внимательным и воспитанным мужчиною, — но их никогда не хватало Рээт, чтобы заполнить все свои вазочки, и часто приходилось прикупать самой. А в такие минуты всегда чувствуешь себя немного жалкой. Особенно в тридцать пять.

После двух первых, встречи пошли почти ежедневные и всякий раз затягивались за полночь, и теперь уже сама Рээт звонила Велло и говорила, что «сегодня не может никак». Она рассчитывала получать от звонков этих мстительное удовлетворение, но Велло, вопреки ожиданию, до причин не допытывался (а она однажды готова была ляпнуть ему и действительную причину!) и чуть ли не радовался занятости Рээт, во всяком случае, такое у нее складывалось впечатление.

Тогда Рээт с некоторым даже отчаяньем бросалась к Долгомостьеву, но так было только первое время, потому что чем дальше, тем сильнее завладевал ею Долгомостьев безо всяких побочных причин. Она даже эстонскому взялась его обучать и, хотя не представляла, на кой ему этот язык нужен, получала от своих уроков удовольствие, которое, впрочем, пыталась объяснить не интересом Долгомостьева к себе, а интересом русского к ее маленькой стране.

Вскоре она совсем бросила осторожность и стала появляться с Долгомостьевым где угодно: в совершенно эстонских кофиках, о которых туристы и не догадывались, разве финны; на выставке роз в Пирита; в монастыре, на спектаклях Молодежного театра; да просто гуляла по Тоомпеа. Таллин — город маленький, и, конечно, Велло давно донесли обо всем, но он и тут не среагировал. Рээт бы встревожиться, но она не могла, только радовалась, что им с Долгомостьевым никто не мешает. Она даже двухнедельную свою поездку в Польшу, поездку, которую три года ждала и о которой так мечтала, — даже поездку чуть было не отложила.

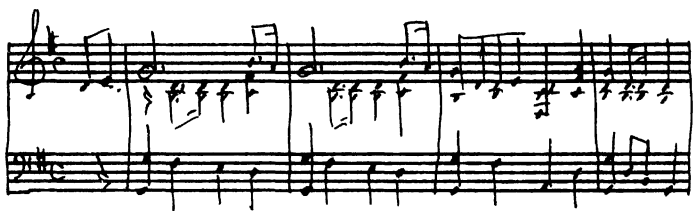
Не отложила, однако, и вот, едва поезд отошел от Таллина (впрочем, нет, — в Москве еще сильны были чары Долгомостьева, а это уже дальше, ближе к границе и за нею), — сумела взглянуть на свое положение как бы со стороны и трезво и увидела, что ничего у нее с Долгомостьевым общего нету и быть не может, что живет он своею русской, московской жизнью, в которую Рээт влиться не сумеет, да и не захочет никогда, что, наконец, с женою он из-за нее не разведется, только болтает, и вообще по отношению к Велло она настоящая свинья. Ну, мало ли какие могли быть у него неотложные дела?.. А впечатления от Польши лета восьмидесятого, Польши бурлящей, бастующей, совсем не похожей на ту, какою была она в прошлый приезд, только подлили масла в огонь, и

сквозь побледневшую конкретность Долгомостьева черным скелетом проступила абстракция его национальности.

За два же дня до отъезда из Варшавы домой Рээт показалось, что она беременна.

Рээт, сколько знала себя, и сколько ее знали врачи, была бесплодна; собственно, и с мужем по этому поводу в свое время развелась, и что такое *предохраняться* — не имела и понятия, — и вот, пожалуйста: внутри нее зреет маленький Долгомостьев. То есть с окончательной определенностью сказать этого пока нельзя, но скорее всего — зреет.

Рээт встречалась с Велло почти уже пять лет, но с *предложением*, которое она, пожалуй, приняла бы, он как-то слишком не торопился. В другой ситуации, то есть чувствуя себя Рээт полноценной, не наделенной проклятием бесплодия, она, пожалуй, сама завела бы с Велло разговор, а тут — ничего не оставалось, как терпеть. Сейчас ситуация повернулась (разумеется, если не брать во внимание, что беременна Рээт не от Велло, а от Долгомостьева, но уж, во всяком случае, ни Велло, ни Долгомостьева посвящать в эти подробности не следовало), а вместе с ситуацией могла повернуться и судьба Рээт, то есть Рээт не собиралась на своей беременности Велло *ловить*, ей никогда не пришло бы это в голову, и если б она услышала в голосе Велло оттенок неудовольствия, тут же разговор бы и свернула, и потом уже решала бы: на аборт ли идти, на положение ли матери-одиночки или, что, впрочем, почти и невероятно — признаваться Долгомостьеву, — просто ей казалось, что Велло сам будет очень рад и что всё устроится ко взаимному счастью, даже если о чем-нибудь и догадается. Но для взаимного счастья надо было вытравить из души Долгомостьева, и сейчас, когда поезд въезжал уже в Москву, Рээт не знала, как удастся ей это последнее.



заиграло радио, а потом объяснило радостным и очень торжественным голосом, в какую главную и замечательную точку мира прибывает поезд, будто все этого не знали и так. Под колесами загрохотала гулкая пустота. Рээт взглянула в окно: за мелькающими фермами моста блеснул изгиб реки. Молочно-кофейное здание (молока больше, чем кофе) со шпилем торчало над чистенькими многоэтажными кубиками кремовой верхушкой дорогого бисквитного торта; вдалеке мелькнуло еще одно, похожее на египетскую пирамиду. «Бред пьяного кондитера», — вспомнила Рээт, как ругал Долгомостьев, глядя на «Виру», московские высотные дома. «Это нехорошо, — подумала Рээт, — так не любить собственный город. Собственную столицу. Собственный город следует любить». Потом потянулись старые вагоны, платформы, грязные брандмауэры, сараи, и вот-вот должен был появиться нежеланный дебаркадер.

Долгомостьев возник за полосатым от прутьев окном тамбурной двери. Поезд обогнал его, но, тормозя, сбивал ход, и вот Долгомостьев появился в окне снова, розы в руке, и теперь они шли уже рядом, поезд и Долгомостьев, пока оба не остановились.

С Долгомостьевым Рээт точно не уславливалась — только так, приблизительные разговоры, — что он специально приедет в Москву: встретить ее, а вечером вместе отправиться на «Эстонию» в Таллин, тем более, что у Рээт на «Эстонию» был уже билет с местом, следовательно, даже в одно купе вряд ли удастся по-

пасть, — однако ничуть не сомневалась, что увидит Долгомостьева на перроне: слишком в духе *широких* его жестов было маленькое это *безумство*. В том же, впрочем, духе было прождать опаздывающего поезда с *любимой* хоть бы и сутки, так что досада на пунктуальность машиниста носила характер сугубо иррациональный.

Розы Рээт приняла — они ни при чем, — но для поцелуя вместо губ подставила щеку, держалась как могла, наговорила Долгомостьеву, что у нее как раз сегодня и как раз в Москве удивительно важное и секретное дело, почему она и не может провести время с ним (к сожалению!), но он снова начал произносить слова, и Рээт почувствовала, что у нее снова нет никакой защиты, что она снова размякнет, и, чтобы этого не случилось окончательно, непоправимо, назначила ему свиданье у Исторического в два часа дня, пообещав, впрочем, не освободиться, а *постараться* освободиться, то есть, в сущности, не пообещав ничего.

Она захлопнула дверцу такси перед носом Долгомостьева и долго не могла ответить на вопрос шофера «куда» — только махала рукою вперед в неопределенном направлении, и лишь когда привокзальная площадь с Долгомостьевым и чугунным Горьким скрылась из виду, сообразила достать из сумочки записную книжку и назвать адрес подруги.

В окне, моргнув лампочками часов, появилось серое холоднокаменное здание телеграфа, и Рээт чуть было не остановила машину, чтобы предупредить Велло о завтрашнем своем прибытии (даже такая мысль промелькнула: черкнуть, что беременна, и по тому, придет ли встречать, всё станет ясно), но подумала, что Долгомостьев наверняка поедет тою же «Эстонией», что и она, это во всяком случае, — и решила, что такая встреча никому из них троих не нужна.

Машина то тормозила, то резко брала с места, виляла вправо и влево, лавируя по рядам, долго толк-

лась у какого-то светофора, и Рээт, равнодушная к законью, вспомнила и, главное, *вполне* поняла те неожиданные, едва ли не первые с детства слезы, которых не удержала, когда сидела с Долгомостьевым накануне своего отъезда из Таллина у «Пяти свечей»: она тогда уже *знала*, что расстанется не на две недели, а навсегда, и то знала, что встреча с Долгомостьевым — единственное, что согласилась предложить ей любовь (Рээт иногда употребляла и в мыслях, и вслух такие несколько высокопарные обороты) за первую половину жизни, а дальше — тоже вряд ли. «Земную жизнь пройдя до половины...»

Подруги, естественно, дома не оказалось, но был ее сын, семнадцатилетний прыщавый балбес, не понимающий по-эстонски, который, по счастью, всего два месяца назад гостил у Рээт в Таллине: поэтому узнал ее, и «тэрэ-тэрэ» сказал, и принял радушно. Рээт выпила кофе, прилегла на диван с книжкой (надо же: у подруги остались еще эстонские книжки!), но сосредоточиться не смогла, что называется: не находила себе места.

Вот тоже и подруга. Вместе учились в Тарту, занимались эстонской этнографией. На четвертом курсе начался у подруги головокружительный роман с филологом из Ленинграда. Настоящим русским. И, как положено, тоже *любившим* Эстонию. Были какие-то там разговоры, чуть ли не неприятности и вокруг жениха, и вокруг подруги, даже сама Рээт пыталась с нею *поговорить*, отца своего вспоминала...

Тогда, в том заполночном разговоре, что-то такое показалось Рээт в подруге, что-то важное, основательное, поважнее, может, и отца, — сама жизнь, что ли, — этого Рээт понять так и не удалось, но почувствовалось, что оно есть. Подруга была на несколько лет старше — может, поэтому? — думала Рээт тогда, но вот — Рээт уже много старше, чем была подруга в ту пору, но и теперь не находит в себе этого спокойно-

основательного знания. Не находит в себе, не замечает и в Велло.

Только вот что Рээт вспомнила: когда подруга выходила замуж, Рээт как-то ей даже завидовала, не потому завидовала, что замуж, — Рээт и самое ждал в Таллине человек, который после стал ее первым мужем (она так говорит «первым», будто вопрос с Велло уже решен!), а потому, что подруге было ехать в Ленинград или в Москву, а сколько бы они друг перед другом городов этих не презирали, всё ж были это столицы мира, и жить в них было лестно, чуть ли не так же, как в Париже. Лестно и интересно, наверное.

Сейчас, после польской поездки особенно, Рээт уже так не думала. Да она и давно уже так не думала.

Время, хоть медленно, но неостановимо подходило к двум, а потом и перешло эту *роковую* отметку. Рээт вскочила, хлопнула за спиною английским замком. Из метро вышла на площади Ногина, уверенная, что идет к подруге на службу, на улицу Разина, в маленькую старинную церковку, где подруга лет уже десять служила по охране памятников русской старины (эстонка!), но ноги пронесли мимо церковки, мимо «России», туда, где вход на Красную площадь пересаживала громада слишком на взгляд Рээт пестрого, разноцветного, разнотильного храма. На что уж собор Александра Невского на Тоомпеа казался ей дурным и безвкусным — так он хотя бы выстроен симметрично.

Рээт прошла справа от храма. Теперь огромное пустое пространство (как говорил Долгомостьев? — совершенно непонятная, совершенно *русская* пословица: свято место пусто не бывает?... или бывает?..) изгибалось перед нею, словно Земля на глобусе, и казалось, что до середины его не дойти: соскользнешь, скатишься назад с гладких, блестящих под солнцем булыжников. Грязные, темно-оливковые ряды ГУМа гудели сегодня не как обычно: тише, сдержаннее, слов-

но стесняясь иностранцев. Красный Исторический выглядел маленьким, игрушечным, и едва не весь перекрывался низким цилиндром лобного места, украшенного флагами и цветами. Куранты показывали начало четвертого: ждет ли ее Долгомостьев до сих пор? И когда Рээт поняла, что ждет: конечно, *поняла* — увидишь, узнаешь ли человека с такого расстояния?! — она, чтобы не побежать навстречу, чтобы не соскользнуть с площади, не удариться головою о камни, круто развернулась и решительно зашагала назад. Долгомостьев... Лобномостьев...

Кто-то, верно, постоянно следит за нами, за нашими поступками, за словами даже, и потому ради удобств мелкой лжи стоит ли накаркивать горести, неприятности близким? Отпрашиваться со службы, потому что *умерла бабушка*? Что за срочное дело было у Рээт в Москве? Что за забота? И вот — подруга встречает ее сочувственным взглядом, сочувственными речами, уже не чисто эстонскими — с сильным *русским* акцентом, а она стоит, встревоженная, но понять покуда не может ничего. «Арестовали Велло. Ты разве не слушала радио? Он подписал какую-то бумагу с требованием опубликовать и аннулировать пакт Молотова-Риббентропа, по которому Эстония отошла в сороковом году к России...» — «Да-да, — сказала остолбеневшая Рээт. — Я знаю... Он мне рассказывал...» И, словно испугавшись, что подруга подумает, будто Велло рассказывал, что его арестовали, добавила поясняюще: «Он рассказывал мне про этот пакт...»

Так вóт как просто объяснилась занятость Велло в последние месяцы... Но он вполне мог бы поделиться с нею: он же знал, что на нее можно положиться...

Сейчас роман с Долгомостьевым представился не легким уже флиртом (так он, впрочем, и давно не представлялся), не адюльтером обычным, а мерзким предательством, таким примерно, из-за которого по-

гиб отец... Рээт стояла перед подругой и презирала себя, и в то же время совсем от ее воли независимо и против ее совести кто-то шептал в ухо, что свадьбы теперь не будет, что она стыдно, неудобно беременна и что хорошо, что не успела сказать Долгомостьеву, что бросает его, и как бы затем, чтобы заглушить скверный этот голос, чтобы доказать себе, что она *не такая*: «Я спасу Велло. Не знаю, что я сделаю, но спасу, спасу. Спасу Велло... Спасу...»

Рээт бормотала «спасу», пока не пришла ей в голову счастливая идея, нет, глупая, идиотская идея, не идея почти вовсе, а женский взбрык, но другого не было ничего: «Помнишь: ты говорила, что Молотов еще жив? Ты что, знаешь, где его разыскать?» Подруга как-то нервически мотнула головой. «Ну, ничего, — сказала Рээт, — я через справочное», — подруга хмыкнула только: ну да, конечно, так ей и скажут в справочном, и Рээт поняла, и поняла, что знает подруга, где Молотова разыскать: «Ну, пожалуйста! Я тебя очень прошу!» — «Бессмысленно! — ответила подруга. — Зачем тебе? Ты еще с Риббентропом встреться!» — так и призналась она, что знает, и победа у Рээт была почти уже полная, надо было только добавить, добавить что-нибудь, какое-нибудь слово посильнее, пообиднее, чтобы проняло подругу... «Понимаю, — сказала Рээт, — Молотов тебе дороже, чем Велло: еще бы — тот русский, а этот эстонец... Предательница... Иуда... Русская подстилка...» — «Она сейчас разыгрывает из себя сумасшедшую, — обиделась-таки подруга, — но я-то с ней знакома не первый год и понимаю прекрасно, что с ума ей не сойти, как бы она того ни желала. Не сходит с ума, кто себе на уме. Она рассчитывает, что я стану ее отговаривать и дальше... А ведь я отведу! Ей-Богу, отведу... Пусть думает, что говорит, я ей не девочка... Подумаешь, эстонка!..»

Молча, друг на друга дуюсь, пошли они через Красную площадь. Рээт тщетно выискивала взглядом

Долгомостьева: единственного человека, кто, действительно, мог бы ей сейчас помочь. Отговорить хотя бы от дурацкого этого похода к... как его... к Риббентропу... Рээт показалось вдруг, что Велло ей, в сущности, безразличен, что идет он своей дорожкой и что, сколько она его знала, он сам чуть ли не желал этого ареста, чуть ли не мечтал *пострадать за правду*. «Стыдно! — сказала себе Рээт. — Боже, как стыдно! — и ускорила шаг, так что подруга чуть ли не вприпрыжку побежала за нею. — Стыдно...»

Они долго, километр без малого, шли под землей, в полумраке, как показалось сразу, едва спустились по ступеням, в полумраке и сырости, но, не так уж и много пройдя, — снова вроде бы и при свете, и воздух хороший, только когда на поверхность пришло выходить, когда переход кончился, — солнце ударило по глазам, и воздух стал много свежее и суше, — только тогда снова понялось, что прежде были полумрак и сырость, — понялось и через десять шагов и забылось, словно так, поверху, они все время и шли. Подруга окликнула Рээт, разогнавшуюся бежать прямо по Горького, — оказывается, надо было свернуть налево, под какую-то высокую арку, во двор, но двор кончился едва не тут же, и пошли кривенькие переулочки, полуторазтажные дома с колоннами (прошлый век — вот она, вся русская старина!) и, как на Горького забылся подземный переход, так тут забылась Горького, и о столице мира напоминали только редкие двенадцатизтажные светлокирпичные дома, натканные в полуторазтажную массу, словно свечи в именинный пирог. «Исключительно кондитерские ассоциации, — вспомнила Рээт утреннее впечатление от *небоскребов*, — а мне б вместо домов думать о Велло!» А голос шепнул: «Или о Долгомостьеве».

Кругом стало как-то вдруг тихо: шум больших улиц, с каждым прежним шагом слабевший, но сквозь слух в сознание проникавший, пропал вовсе: только

две пары туфелек перестукивали по асфальту, но вот стал перестук этот каким-то тревожно-неритмичным, деревянным, словно добавилось к нему что-то ненужно-постороннее; каблучки замерли — стук продолжался; подруга повела головой: откуда? — и, определив направление, решительно свернула в узкий между домами проход.

Источник деревянного стука открылся после недолгого, дважды коленчатого коридора между задними гаражными стенками и зеленым дощатым, со стыдливой колючей проволочкою поверху забором: маленький пустырёк, на три четверти огороженный металлической сеткою, ячейчатой, словно панцири на старомодных кроватях, был площадкою для городков, и три старичка: один в белом полотняном костюме и светлой шляпе из соломки, другой — в военном мундире, с орденскими — едва не до живота — планками и красными лампасами по швам, и третий, маленький, утконосый, с подрагивающей на жирной старушечьей груди звездочкой героя соцтруда, играли. Им бы в каталках сидеть, укутавшись пледами, а они играли. И довольно азартно.

Маленькая сухая старушенция, одетая, несмотря на жару, в полосатую телогрейку с черным номером на загравке, танцевала на другом конце площадки странный танец, уклоняясь от не всегда точных бит, а когда они выходили, собирала их в охапку и с трудом несла старичкам, после снова возвращалась на место и выкладывала фигурами раскиданные по площадке городки. Седенький в светлом костюме нетерпеливо, но привычно покрикивал, грубо и скучно.

«Молотов, — шепнула подруга и указала легким движением подбородка на подгоняющего старичка (они с Рээт притаились за выступом гаражной стеночки и, наблюдая полувысунутыми головами, сами были почти что и не видны). — Бывший Скрябин». Рээт сосредоточила внимание, сосредоточила взгляд,

от чего лицо старичка приблизилось, предъявив подробности, впрочем, подробности только крупные. Собственно, кроме совершенно выцветших, белых глаз подробность была одна: те самые усы, которые помнила Рээт с давних, детских еще времен, с первого или второго класса, когда в «родной речи» портрет этого усатого человека располагался над крупно набранным текстом о главном соратнике и продолжателе дела, а на соседней по развороту страничке прежде был другой соратник и продолжатель, еще главнее, кажется, — с тонкими губами и в пенсне без оправы, но однажды учительница сказала другого соратника и продолжателя аккуратно вырезать, потому что был он, оказывается, не соратником, а английским шпионом и буржуазным — как отец Рээт — националистом, и сейчас сквозь прямоугольную дыру просвечивало что-то «о Сталине му-у-драм, = Ра-ад-но-ом и лю-би-и-мам...» Впрочем, кажется, какие-то другие стихи. Сам же родной и любимый повторялся в учебнике множество раз, и если б пришлось вырезать его, то, пожалуй, и сам учебник распался бы, но это и в голову никому прийти не могло, потому что было невообразимо.

Подруга меж тем продолжала свою экскурсию: «Вон тот, маленький, — бывшая гроза Москвы, главный следователь прокуратуры. Впрочем, сейчас его в этом качестве мало кто помнит, сейчас он знаменитый кинорежиссер, лауреат многих премий, даже зарубежных. Может, слышала — Дулов?» Рээт, не отрываясь глядящая на дряхлых городошников, отрицательно мотнула головой: «Кроме наших, я только одного кинорежиссера знаю — Долгомостьева. Не слышала?» Сейчас отрицательно мотнула головою подруга. «А третий, в форме, — это генерал Иван Петрович...» — и подруга, склонившись к самому уху Рээт и перейдя на шепот, назвала фамилию, известную Рээт от матери, от Велло, кое еще от кого. «Тот самый? Сколько ж ему лет было в сороковом?» — «Сорок один, — отве-

тила подруга. — Сорок один и четыре месяца». — «Откуда ты всё так хорошо знаешь?» — удивилась Рээт. «Это моя работа. Охрана памятников русской старины. — И поправилась: — Советской старины. Кстати, та старушка, что таскает им городки, — это жена Молотова, Полина Жемчужина...» — «А я думала — ты по церквям...» — «...в свое время известная женщина была, артистка. Ее Сталин посадил за что-то, а, может, и сам супруг. Я даже так слышала, что она ему с каким-то офицером изменила, а он офицера под расстрел, а ей — срок по пятьдесят восьмой за измену родине. В пятьдесят пятом ее выпустили, реабилитировали, а Вячеслав Михайлович реабилитации не признал. До сих пор держит по нормам лагерей усиленного режима. У них в спальне, говорят, и нары есть, и баланду он ей на газе варит. Вот — на *общие работы* вывел — городки подносить. Ну, что ж ты стоишь? Ты хотела Молотова? — вот он, иди. Другого случая, может, и не представится...»

От площадки дунуло ветром, и Рээт почувала в нем гнилой запах. «Ага», — пригляделась она: там, почти неразличимые за плотностью двойной — углом — сетки, стояли переполненные мусорные контейнеры. Рээт обернулась — подруги не было, словно тем самым ветром ее сдуло, ни подруги, ни стука ее каблучков. Рээт очень медленно, словно некую постороннюю силу пытаясь обмануть, повернулась назад, уверенная, что никакой площадки и никаких стариков тоже не увидит (откуда только стук деревянный и сильное побряхтывание?), а одни старые клены, да асфальт, да мусорные контейнеры. Где уж там! — старики *были*.

Генерал прицелился и последней своей битой «распечатал письмо»: «Ваша, понимаешь, очередь, Семен Израйлич!..» — «Ильич! Не Израйлич! — крикнул молодой женский голос из верхнего этажа светлокирпичного здания: низом прослоенное какими-то стенами и заборами, вёрхом оно было совсем рядом, нависало

над площадкою. — Сколько вам можно говорить?! В конце концов, я на вас в суд подам, за клевету!» — «Дура, понимаешь! — едва слышно буркнул Иван Петрович. — Чего разоряешься? Мы ж его и так, понимаешь, не выгоняем...»

Рээт дернулась назад — что ей было тут делать? о чем и с кем разговаривать? да и жутко... — но за вторым изгибом коридора, когда в виду уже оказался желтый незнакомый дворик, замешкалась, поняла, что, уйдя, не найдет больше в жизни этой площадки, заплутается в задворках, — и в нерешительности сделала несколько шагов в обратном направлении, снова на стук.

И тут, за вторым коленом, когда и дворик уже скрылся из виду, и площадка еще не появилась, загродила ей дорогу старуха с огромным, нависшим над губою, словно клюв у попугая, носом и, должно быть, лысая, потому что пепельный, кудряшками, нейлоновый парик сбился набок, приоткрывая желтую кожу черепа. Одета она была в немыслимо-оранжевые брюки и строгую белую, такую почти, как и на Рээт, кофточку, *курсистскую*, а в руке держала сумку, каких никогда и не видала Рээт: старинную, кожаную, потертую. «Ридикюль», — пришло в голову, хотя Рээт совсем не уверена была, что *это* называется именно ридикюль.

Взяться старухе было неоткуда: проход узкий, не разминешься, площадка ограничена заборами и глухими стенами, вся как на ладони, и старухи прежде не было на площадке — Рээт поклясться готова.

«По Молотова пришли, душенька? — ласково спросила старуха. — Дело хорошее... — и, подмигнув сообщнически, так что нос прямо-таки влез в рот, сунула руку в невероятный свой *ридикюль*. — Вот, одалживайтесь. Вполне еще подходящий. Отравленный. Для такого же дела берегу».

Что-то холодное и на ощупь грязно-ржавое оттянуло инстинктивно подставленную ладонь Рээт. «Вы что?! — закричала (так казалось ей — прошептала на деле) Рээт, скосив глаза на руку. — Зачем это?!» — «А как вы с ним еще разговаривать собираетесь?»

Рээт бросила револьвер на асфальт, кинулась к выходу, но старуха решительно перегородила дорогу, так решительно, что чувствовалось: с нею и не справишься, — а потом потихоньку и двинулась на Рээт, пока та, пятясь, не оказалась на городошной площадке, уже не за углом, не за выступом, а на самом виду, на фоне желтой стеночки, словно голая...

Старики как-то сразу, будто по команде, оглянулись на нее. «Милая, понимаешь, дама, не нас ли, понимаешь, видеть хотите? — проверещал генерал. — Вячеслав, понимаешь, Михайлович! Пари держать готов на пару пива: к тебе! Она, понимаешь, и по лицу эстонка, а ведь ты там со своим Риббентропом, понимаешь, в подкидного играл, таких, понимаешь, дел наворотил... Чистая, понимаешь, эстонка!» — «Каждале-е-вский! — восторженно выпел Дулов. — Каждале-е-вский!...»

Вячеслав Михайлович — бита в руке — галантно двинулся на приросшую к месту Рээт, завладел ее ручкой, склонился в поцелуе: «Вы совершенно очаровательны», — но оттуда, из склоненного, комплиментного положения заметил лысую старуху, выпрямился, битою на нее намахнулся: «Пошла вон, убийца проклятая! Террористка. Это ж надо такое выдумать: пермь...»

Рээт, действительно, была совершенно очаровательна: порозовевшие щеки, блестящие недавним испугом глаза, сквозь тугое крахмальное полотно белой, с кружевами, кофточки смутно просвечивают контуры любимого, польского — застежка впереди — лифчика... Был в Рээт и недостаток, главный долгомостьевский пунктик, ибо Долгомостьев, выбирая женщину,

всегда очень оглядывался на окружающих: как сочтут его выбор, завидовать станут или сочувствовать? — талия ее была немного низка, — но старикам, видать, дела до этого не было, и верхней, безупречной половины Рээт вполне хватало им для самого полного восторга.

«Вы ведь хотели попросить меня о чем-то, милая дама? Цена известная — так что, пожалуйста, не стесняйтесь... Только уж, ради Бога, не по поводу наших с герром Риббентропом дел...» — «Да уж, понимаешь, пожалуйста, — поддакнул Иван Петрович (они с Дуловым уже подтянулись к Рээт, стали рядышком, а Дулов то на нее поглядывал, то как-то исподтишка голову задира-заворачивал: на светлый дом, на верхний этаж его), — а то, понимаешь, его, пожалуй, и пензии лишат. А какая, понимаешь, жизнь без пензии? Без кайфа, как говорится, нету, понимаешь, лайфа. Вы ж его на содержание, понимаешь, не возьмете...» Жемчужина наслаждалась передышкой, неподвижно сидя на корточках в дальнем углу площадки, и голова ее была зарыта в колени.

Рээт попыталась вырвать обслуживленную руку из сухих пальцев старика, но хватка была прочная — у Рээт ничего не получилось, от этого румянец разросся на ее щеках, она на глазах похорошела еще, и старики причмокивали друг другу по этому поводу. «Не рвитесь, — сказал генерал, — а то, понимаешь, погибнете. Раз уж пришли сюда — рваться, понимаешь, нечего».

«Хорошо, — ответила Рээт. — Хорошо. Погибну. Цена известная. Только руку выпустите», — и тут же, едва ослабла хватка, рванулась, побежала, твердо зная, что, подвернись ей старуха сейчас — собьет ее Рээт, растопчет, и мелькали мимо глаз дома, заборы, деревья, и вот — желтый какой-то переулочек, и, словно ее ожидая, стоит такси, и, когда оно заворачивало уже за угол, мельком, в зеркальце, висящем над

шофером, увидала Рээт на тротуаре переулочка решительно шагающего с большим букетом желтых астр Долгомостьева. «Стойте! — сказала она шоферу, но едва тот нажал на педаль: — Нет-нет, не надо! Извините! Поехали...»

«Что? — опять, понимаешь, упустил, Вячеслав Михайлович? Это тебе, понимаешь, не пакты заключать, не иностранным, понимаешь, наркоматом заведовать... Еще партеечку?» — «Па-а-а-ртия — наша надежда и сила, — запел козлом Дулов, — партия наш рулевой! = Партия наш рулево-ой...»

«Не подарите ли цветочек, молодой человек?» — остановил Долгомостьева, когда тот совсем уж собирался нырнуть в извилистый проход к городошной площадке, треснутый голос. Лысая старуха в ярко-оранжевых брюках пристально глядела на него, обмахиваясь завитым париком, и тут же, как опомнившись, криво, задом наперед натянула парик на голову и повторила: «Не подарите ли цветочек?..» — «Да хоть все берите! — сказал Долгомостьев (под взглядом старухи неожиданно стало ему не по себе, и он подумал, что ничего, переживет без цветов Вероника Андреевна — только бы от старухи отделаться), — теперь то они мне зачем?» — «Было б незачем — не тащили б, — пробормотала старуха, не сводя с Долгомостьева глаз. — А всех я у вас не возьму. Я у вас, пожалуй, и одного не возьму: лицо ваше какое-то очень уж нехорошее...» — «Ну, как угодно!» — Долгомостьев поймал себя на том, что ему буквально бежать хочется от этого взгляда, и действительно побежал, и только когда за угол завернул и заставил себя остановиться, стыдясь собственного необъяснимого малодушия, понял, что не *сам* побежал, а подчинившись давшему негаданно о себе знать картавому.

«А!.. Каз-да-ле-е-е-вский! — огласило площадку: это Дулов приветствовал появление Долгомостьева, словно фамилия тому действительно была Каздалев-

ский. — Сыграешь партию?» А генерал на неопределенную долгомостьевскую улыбку, вовсе не иронию и не самоуверенность, а скорее растерянность должную выражать, задиристо сказал: «Две, понимаешь, биты форы». Долгомостьев не знал, куда девать цветы — ни лавочки, ни столбика на пыльной площадке, и крышки мусорных контейнеров откинута, не в силах прикрыть, сдержать вонючее переполнение, — хотел было передать Жемчужиной, и та устало и благодарно, словно к рампе после долгого, тяжелого спектакля подходя, пошла навстречу, но Молотов прикрикнул «стоять!», и глаза ее погасли, и вся она обмякла на том самом месте, где застал ее окрик.

«Там за углом, понимаешь, старуха быть должна, — кивнул Иван Петрович Долгомостьеву. — Семен-израйлевича крестница. Террористка. Вы ей, понимаешь, отдайте — она подержит», — и не успел он закончить, как кучерявый парик выглянул из-за выступа. «Подойди, подойди, не бойся, — сказал старухе Молотов. — Не тронем...»

Рээт тем временем добралась до дома подруги, к которой ни за что не поехала бы, не останься там чемоданчик. Подруги, естественно, дома не оказалось, но был ее сын, семнадцатилетний прыщавый балбес, не понимающий по-эстонски, который, по счастью, всего два месяца назад гостил у Рээт в Таллине: потому узнал ее, и «тэрэ-тэрэ» сказал, и принял радушно. Рээт выпила кофе, прилегла на диван с книжкою (надо же: у подруги остались еще эстонские книжки!) и незаметно задремала. Разбудила ее вернувшаяся со службы подруга. Рээт взглянула на часы: поздно, можно не успеть к поезду.

«Арестовали Велло. Ты разве не слушала радио? Он подписал какую-то бумагу... Пакт Молотова-Казалевского...» Рээт взяла чемоданчик, «да-да, — сказала на ходу, — я знаю, я видела Молотова», решительно и даже как-то раздраженно отклонила предложение

подруги проводить ее и отправилась на Ленинградский.

Хоть времени до поезда казалось мало, на вокзал Рээт приехала чуть не за полчаса. Огромный зал, переделанный из старого перрона Николаевской дороги, был почти пуст — вовсе не как две недели назад, до олимпиады, когда Рээт пересекала его в противоположном направлении. У самого уже почти выхода на платформу Рээт показалось, что сзади и откуда-то немного сверху следит за нею Долгомостьев. Она обернулась и внимательно перебрала немногих пассажиров за спиною: одинокие или мелкими кучками, сгруппированные, в основном, вокруг высокого светло-серого столба с белым обручком вождя на вершине, — никто из них и отдаленно Долгомостьева не напоминал. И все-таки ощущение знакомого взгляда не покидало ее, и она едва сдержалась, чтобы не вернуться в зал уже с улицы.

Поезд как раз подавали: задний срез его пятился на Рээт, уставившись слепыми красными фонариками. Рээт отыскала свой вагон, свое купе, покуда пустое совершенно, сунула чемоданчик под сиденье, забралась, сбросив босоножки, на верхнюю полку, отвернулась к стене и накрылась с головой простынею, растегнув только пуговку на тугом поясе юбки. Косое солнце било в окно под таким напором, что проходило и сквозь простыню: с улицы прямо и отбитое голубым пластиком стены, — и под веками, как Рээт ни ворочалась, всё не устанавливалось желанного черного покоя.

Поезд стоял и стоял, а Рээт повторяла про себя: «поезд ушел, поезд ушел...» — имея в виду, что не за кого теперь выходить ей замуж, когда Велло арестовали. Он достаточно серьезный мужчина, чтобы можно было рассчитывать на скорое его освобождение. И потому срочно следовало что-то решать и с большим, и с маленьким Долгомостьевыми. С большим, впро-

чем, казалось ей, всё уже решено, и перерешивать она не станет. И вот сейчас именно не станет в особенности.

Открыла глаза Рээт уже в Таллине, утром, застегнула пуговку на юбке, как-то особенно легко, словно спорхнула, соскользнула на пол, вышла из поезда. Рассекая по осевой линии привокзальную площадь-улицу, распевая старый эстонский гимн, которому в свое время учила ее мать, шла под сине-черно-белыми флагами колонна молодых людей, одетых в национальные костюмы, а впереди — четырнадцатилетние девочки, как к конфирмации, в белых платьях и с цветами в руках.

Рээт оставила чемоданчик на земле и подумала, что и ей хорошо бы быть там, в колонне, вон даже место свободное — в середине восьмого ряда, а вместе с тем и лень было туда идти: возраст уже не тот, детские игрушки все эти демонстрации, — и пока она колебалась так, колонна почти миновала площадь. И тут чья-то рука худыми и сильными молотовскими пальцами схватила ее за плечо, так что Рээт едва не упала, разогнавшись бежать. Затылком она почувствовала взгляд Долгомостьева и, обернувшись, на сей раз увидела его, совсем близкого от себя, не так, как там, на вокзале. «Отпусти, — попросила его по-эстонски. Теперь, когда ее держали, она уж точно решила догнать своих. — Отпусти, пожалуйста», — но Долгомостьев только качнул головою и по-русски сказал улыбочатое: «Не понимаю». Рээт поняла, что он сказал «не понимаю», что он требует *уважения к себе*, разговора с собою по-русски, но ни одного русского слова припомнить как на зло не могла и снова по-эстонски сказала: «Ну, отпусти же, пожалуйста! Они уйдут сейчас», — а они действительно уходили вверх, в старый город, по узенькой Ваксаали, и уже едва слышны были чистые голоса девочек, и вот высокие замыкающие готовы уже были скрыться в улочном извие.

«Велло! — закричала тогда Рээт. — Велло!» — и увидела Велло на вершине-площадке Длинного Германа. Сине-черно-белое полотнище, зажатое у Велло под мышкой, трепетало на ветру углами, готовое сменить красный с голубым морем флаг, который Велло уже почти отвязал. Рээт знала, что Велло слышит ее, но, как во время ссоры, слыша, не оборачивается. Не хочет помочь. «И правильно, — подумала она, — справедливо», — и тогда снова взглянула на Долгомостьева и стала говорить ему в лицо все самые грязные ругательства, какие только знала или слышала когда-нибудь. Но он улыбался и покачивал головою: не понимаю. По-русски же Рээт не могла припомнить ни слова.

«Какой нехороший сон, — подумала Рээт, когда поняла, что это сон, что поезд всё еще стоит под яркими пятнами вечернего солнца у платформы Ленинградского, — какой нехороший сон», — но чужая рука на плече лежала, и, когда, повернувшись, увидела Рээт в нескольких сантиметрах от глаз лицо Долгомостьева, лицо на сей раз реальное, действительное, подумала еще: «Нехороший и не дай Бог — вещий».

«Скорый поезд номер тридцать четыре, «Эстония», — бубнило за окном, — отправляется от пятой платформы», а из коридора глухо слышалась певучая эстонская речь.

«Я проторчал на Красной площади полтора часа, — сказал Долгомостьев. — Что случилось? Что тебя задержало?» Потом улыбнулся и добавил: «Ну, может, наконец, ты поцелуешь меня?»

(Окончание следует)

РИМСКИЕ ЭЛЕГИИ

Бенедетте Кравиери

I

Пленное красное дерево частной квартиры в Риме.
Под потолком — пыльный хрустальный остров.
Жалюзи в час заката подобны рыбе,
перепутавшей чешую и остов.
Ставя босую ногу на красный мрамор,
тело делает шаг в будущее — одеться.
Крикни сейчас «замри», я бы тотчас замер,
как этот город сделал от счастья в детстве.
Мир состоит из наготы и складок.
В этих последних больше любви, чем в лицах.
Так и тенор в опере тем и сладок,
что исчезает навек в кулисах.
На ночь глядя синий зрачок полощет
свой хрусталик слезой, доводя его до сверканья,
и луна в головах, точно пустая площадь,
без фонтана. Но из того же камня.

II

Месяц замерших маятников (в августе расторопна
только муха в гортани высохшего графина).
Цифры на циферблатах скрещиваются, подобно
прожекторам ПВО в поисках серафима.
Месяц спущенных штор и зачехленных стульев,
потного двойника в зеркале над комодом,
пчел, позабывших расположение ульев
и улетевших к морю покрыться мёдом.

Хлопочи же, струя, над белоснежной, дряблой
мышцей, играй куделью седых подпалин.
Для бездомного торса и праздных граблей
ничего нет ближе, чем вид развалин.
Да и они в ломаном «р» еврея
узнают себя тоже: только слюнным раствором
и скрепляешь осколки, покамест Время
варварским взглядом обводит форум.

III

Черепица холмов, раскаленная летним полднем.
Облака вроде ангелов — в силу летучей тени.
Так счастливый булыжник грешит с голубым исподним
длинноногой подруги. Я, певец дребедени,
лишних мыслей, ломаных линий, прячусь
в недрах вечного города от светила,
навязавшего цезарям их незрячесть
(этих лучей заглаза б хватило
на вторую вселенную). Желтая площадь; одурь
полдня. Владелец «веспы» мучает передачу.
Я, хватаясь рукою за грудь, поодаль
считаю с прожитой жизни сдачу.
И как книга, раскрытая сразу на всех страницах,
лавр шелестит на выжженной балюстраде.
И Колизей — точно череп Аргуса, в чьих глазницах
облака проплывают, как память о бывшем стаде.

IV

Две молодых брюнетки в библиотеке мужа
той из них, что прекрасней. Два молодых овала
сталкиваются над книгой в сумерках, точно Муза
объясняет Судьбе то, что надиктовала.

Шорох старой бумаги, красного крепдешина,
воздух пропитан лавандой и цикламеном,
перемена прически; и локоть — на миг — вершина,
привыкшая к ветреным переменам.
О, коричневый глаз впитывает без усилий
мебель того же цвета, штору, плоды граната.
Он и зорче, он и нежней, чем синий.
Но синему — ничего не надо!
Синий всегда готов отличить владельца
от товаров, брошенных вперемежку
(т. е. время — от жизни), дабы в него взглядеться.
Так орел стремится взглядеться в решку.

V

Звуки рояля в часы обеденного перерыва.
Тишина уснувшего переулка
обрастает бемолью, как чешуёю рыба,
и коричневая штукатурка
дышит, хлопая жаброй, прелым
воздухом августа, и в горячей
полости горла холодным перлом
перекачивается Гораций.
Я не воздвиг уходящей к тучам
каменной вещи для их остратки.
О своем — и о любом — грядущем
я узнал у буквы, у черной краски.
Так задремывают в обнимку
с «лейкой», чтоб, преломляя в линзе
сны, себя опознать по снимку,
очнувшись в более длинной жизни.

VI

Обними чистый воздух, а ля ветви местных пиний:
в пальцах — не больше, чем на стекле, на тюле.
Но и птичка из тучи вниз не вернется синей,
да и сами мы вряд ли боги в миниатюре.
Оттого мы и счастливы, что мы ничтожны. Дали,
выси и проч. брезгают гладью кожи.
Тело обратно пространству, как ни крути педали.
И несчастны мы, видимо, оттого же.
Привались лучше к портику, скинь бахилы,
сквозь рубашку стена холодит предплечье;
и смотри, как солнце садится в сады и виллы,
как вода, наставница красноречья,
льется из ржавых скважин, не повторяя
ничего, кроме нимфы, дующей в окарину,
кроме того, что она — сырая
и превращает лицо в руину.

VII

В этих узких улицах, где громоздка
даже мысль о себе, в этом клубке извилин
прекратившего думать о мире мозга,
где, то взвинчен, то обессилен,
переставляешь на площадях ботинки
от фонтана к фонтану, от церкви к церкви
— так иголка шаркает по пластинке,
забывая остановиться в центре, —
можно смириться с невзрачной дробью
остающейся жизни, с влеченьем прошлой
жизни к законченности, к подобию
целого. Звук, из земли подошвой
извлекаемый — ария их союза,
серенада, которую время оно
напевает грядущему. Это и есть Карузо
для собаки, сбежавшей от граммофона.

VIII

Бейся, свечной язычок, над пустой страницей,
трепещи, пригинаем выдохом углекислым,
следуй — не приближаясь! — за вереницей
литер, стоящих в очередях за смыслом.
Ты озаряешь шкаф, стенку, сатира в нише
— бóльшую площадь, чем покрывает почерк!
Да и копотъ твоя воспаряет выше
помыслов автора этих строчек.
Впрочем, в ихнем ряду ты обретаешь имя;
вечным пером, в память твоих subtilных
запятых, на исходе тысячелетья в Риме
я вывожу слова «факел», «фитиль», «светильник»,
а не точку, и комната выглядит как в начале
(сочиняя, перо мало что сочинило).
О, сколько света дают ночами
сливающиеся с темнотой чернила!

IX

Скорлупа куполов, позвоночники колоколен.
Колоннады, раскинувшей члены, покой и нега.
Ястреб над головой, как квадратный корень
из бездонного, как до молитвы, неба.
Свет пожинает больше, чем он посеял:
тело способно скрыться, но тень не спрячешь.
В этих широтах все окна глядят на Север,
где пьешь тем больше, чем меньше значишь.
Север! в огромный айсберг вмерзшее пианино,
мелкая оспа кварца в гранитной вазе,
не способная взгляда остановить равнина,
десять бегущих пальцев милого Ашкенази.
Больше туда не выдвигать кордона.
Только буквы в когорты строит перо на Юге.
И золотистая бровь, как закат на карнизе дома,
поднимается вверх, и темнеют глаза подруги.

Х

Частные мысли. Рваные мысли, страхи.
Ватное одеяло бесформенней, чем Европа.
С помощью мятой куртки и голубой рубахи
что-то еще отражается в зеркале гардероба.
Выпьем чаю, лицо, чтобы раздвинуть губы.
Воздух обложен комнатой, как оброком.
Сойки, вспорхнув, покидают купы
пиний — от брошенного ненароком
взгляда в окно. Рим, человек, бумага;
хвост дописанной буквы — точно мелькнула крыса.
Так уменьшаются вещи в их перспективе, благо
тут она безупречна. Так на льду Танаиса
пропадая из виду, дрожа всем телом,
высохшим лавром прикрывши темя,
бредут в лежащее за пределом
всякой великой державы время.

ХІ

Лесбия, Юлия, Цинтия, Ливия, Микелина.
Бюст, причинное место, бедра, колечки ворса.
Обожженная небом, мягкая в пальцах глина —
плоть, принявшая вечность как анонимность торса
Вы — источник бессмертья: знавшие вас нагими
сами стали катуллом, статуями, траяном
августом и другими. Временные богини!
вам приятнее верить, нежели постоянным.
Славься, круглый живот, лядвие с нежной кожей!
Белый на белом, как мечта Казимира,
летним вечером я, самый смертный прохожий
среди развалин, торчащих как ребра мира,
нетерпеливым ртом пью вино из ключицы;
небо бледней щеки с золотистой мушкой.
И купола смотрят вверх, как сосцы волчицы,
накормившей Рема и Ромула и уснувшей.

ХII

Наклонись, я шепну Тебе на ухо что-то: я
благодарен за всё; за куриный хрящик
и за стрёкот ножниц, уже кроющих
мне пустоту, раз она — Твоя.
Ничего, что черна. Ничего, что в ней
ни руки, ни лица, ни его овала.
Чем незримей вещь, тем оно верней,
что она когда-то существовала
на земле, и тем больше она — везде.
Ты был первым, с кем это случилось, правда?
Только то и держится на гвозде,
что не делится без остатка на два.
Я был в Риме. Был залит светом. Так,
как только может мечтать обломок!
На сетчатке моей — золотой пятак.
Хватит на всю длину потёмок.

ЭКЛОГА V-я: ЛЕТНЯЯ

I

Вновь я слышу тебя, комариная песня лета!
Потные муравьи спят в тени курослепа.
Муха сползает с пыльного эполета
лопуха, разжалованного в рядовые.
Выражение «ниже травы» впервые
означает гусениц. Буровые

вышки разросшегося кипрея
в джунглях бурьяна, вьюнка, пырея
синеют от близости эмпирея.
Салют бесцветного болиголова
сотрясаем грабками пожилого
богомолы. Темно-лилова,

сердцевина репейника напоминает мину,
взорвавшуюся как бы наполовину.
Дягиль тянется точно рука к графину.
И паук, как рыбачка, латает крепкой
ниткой свой невод, распятый терпкой
полынью и золотой сурепкой.

Жизнь — сумма мелких движений. Сумрак
в ножнах осоки, трепет пастушьих сумок,
меняющийся каждый миг рисунок
конского щавеля, дрожь люцерны,
чабреца, тимофеевки — драгоценны
для пониманья законов сцены,

не имеющей центра. И злак, и плевел
в полдень отбрасывают на север
общую тень, ибо их посеял
тот же ветреный сеятель, кривотолки
о котором и по сей день не смолкли.
Вслушайся, как шуршат метелки

петушка-или-курочки, что лепечет
ромашки отрывистый чёт и нечет,
как мать-и-мачеха им перечит,
как болтает, точно на грани бреда,
прямая лебедою Леда
нежной мяты. Лужайки лета,

освещенные солнцем! бездомный мотыль,
пирамиды крапивы, жара и одурь.
Пагоды папоротника. Поодаль —
анис как рухнувшая колонна,
минарет шалфея в момент наклона —
травяная копия Вавилона,

зеленая версия Третьеримска!
где вправо сворачиваешь не без риска
вынырнуть слева: все далеко и близко.

И кузнечик в погоне за балериной
капустницы, как герой былинный,
замирает перед сухой былинкой.

II

Воздух, бесцветный вдали, в пейзаже
выглядит синим. Порою — даже
темно-синим. Возможно, та же
вещь случается с зеленью: удалённость
взора от злака и есть зеленость
оного злака. В июле склонность

флоры к разрыву с натуралистом,
дав потемнеть и набрякнуть листьям,
передается с загаром лицам.
Сумма красивых и некрасивых,
удаляясь и приближаясь, в силах
глаз измучить почище синих

и зеленых пространств. Окраска
вещи на самом деле маска
бесконечности, жадной к деталям. Масса,
увы, не кратное от деленья
энергии на скорость зренья
в квадрате, но ощущение тренья

о себе подобных. Вглядись в пространство!
в его одинаковое убранство
поблизости и вдалеке! в упрямство,
с каким, независимо от размера,
зелень и голубая сфера
сохраняют колер. Это — почти что вера,

род фанатизма! Жужжанье мухи,
увязшей в липучке — не голос муки,

но попытка автопортрета в звуке
«ж». Подобие алфавита,
тепло есть знак размноженья вида
за горизонт. И пейзаж — лишь свита

убежавших в Азию, к стройным пальмам,
особей. Верное ставням, спальням,
утро в июле мусолит пальцем
пачки жасминовых ассигнаций,
лопаются стручки акаций,
и воздух прозрачнее комбинаций

спящей красавицы. Душный июль! Избыток
зелени и синевы — избитых
форм бытия. И в глазных орбитах —
остановившееся, как Атилла
перед мятым щитом, светило:
дальше попросту не хватило

означенной голубой кудели
воздуха. В одушевленном теле
свет узнает о своем пределе
и преломляется, как в итоге
длинной дороги, о чьем истоке
лучше не думать. В конце дороги —

III

бабочки, мальвы, благоуханье сена,
река вроде Оредежи или Сейма,
расположившиеся подле семьи
дачников, розовые наяды,
их рискованные наряды,
плеск; пронзительные рулады

соек тревожат прибрежный тальник,
скрывающий белизну опальных
мест у скидывающих купальник
в зарослях; запах хвой, обрывы
цвета охры; жара, наплывы
облаков; и цвета мелкой рыбы

волны. О водоемы лета! Чаше
всего блестящие где-то в чаше
пруда или озёра — части
воды, окруженные сушей; шелест
осоки и камышей, замшелость
коряги, нежная ряска, прелесть
желтых кувшинок, бесстрастность лилий,
водоросли — или рай для линий —
и шастающий, как Христос, по синей
глади жук-пловунец. И порою окуп
всплеснет, дабы окинуть оком
мир. Так высовываются из окон

и немедленно прячутся, чтоб не выпасть.
Лето! пора рубаш на выпуск,
разговоров про ядовитость
грибов, о поганках, о белых пятнах
мухоморов, полемики об опятах
и сморчках; тишины объятых

сонным покоем лесных лужаек,
где в полдень истома глаза смежает,
где пчела, если вдруг ужалит,
то приняв вас сослепу за махровый
мак или за вещь, коровой
оставленную, и взлетает, пробой

обескуражена и громоздка.
Лес — как ломаная расческа.

И внезапная мысль о себе подростка:
«выше кустарника, ниже ели»
оглушает его на всю жизнь. И еле
видный жаворонок сыплет трели

с высоты. Лето! пора зубрежки
к экзаменам, формул, орла и решки;
прыщи, буббоны одних, задержки
других — от страха, что не осилишь;
силуэты техникумов, училищ
даже во сне. Лишь хлысты удилщи

с присвистом прочь отгоняют беды.
В образовавшиеся просветы
видны сандалии, велосипеды
в траве; никелированные педали
как петлицы кителей, как медали.
В их резине и в их металле

что-то от будущего, от века,
европы, железных дорог — чья ветка
и впрямь как от порыва ветра
дает зеленые полустанки —
лес, водокачка, лицо крестьянки,
изгородь — и из твоей жестянки

расползаются вправо-влево
вырытые рядом со стенкой хлева
червяки. А потом — телега
с наваленными на нее кулями
и бегущий убранными полями
просёлок. И где-то на дальнем плане

церковь — графином, суслоны, хаты,
крытые шифером с толью скаты
и стекла, ради чьих рам закаты
и существуют. И тень от спицы,

удлиняясь до польской почти границы,
бежит вдоль обочины за матерком возницы

как лохматая Жучка она же Динка;
и ты глядишь на носок ботинка,
в зубах травинка, в мозгу блондинка
с каменной дачи — и в верхотуре
только журавль, а не вестник бури.
Слава нормальной температуре —

на десять градусов ниже тела.
Слава всему, до чего есть дело.
Всему, что еще вам не надоело!
Рубашке, болтающейся, подсохнув,
панаме, выглядящей как подсолнух,
вальсу издалека «На сопках».

IV

Развевающиеся занавески летних
сумерек! крынками полный ледник,
сталин или хрущев последних
тонущих в треске цикад известий,
варенье, сделанное из местной
брусники. Обмазанные известкой,

щиколотки яблоневой аллеи
чем темней становится, тем белее;
а дальше высятся бармалеи
настоящих деревьев в сгущенной синьке
вечера. Кухни, зады, косынки,
слюдяная форточка керосинки

с адским пламенем. Ужины на верандах!
Картошка во всех ее вариантах.

Лук и редиска невероятных
размеров, укроп, огурцы из кадки,
помидоры, и все это — прямо с грядки,
и, наконец, наигравшись в прятки

пыльные ёмкости! Копоть лампы.
Пляска теней на стене. Таланты
и поклонники этого действия. Латы
самовара и рафинад, от соли
отличаемый с помощью мухи. Соло
удода в малиннике. Или — ссоры

лягушек в канаве у сеновала.
В латах кипящего самовара —
ужимки вытянутого овала,
шорох газеты, курлы отрыжек;
из гостиной доносится четкий «чижик»,
и мысль Симонида насчет лодыжек

избавляет на миг каленый
взгляд от обоев и ответвлений
боярышника: вид коленей
всегда недостаточен. Тем дороже
тело, что ткань, его скрыв, похоже
помогает скользить по коже,

лишенной узоров, присущих ткани,
вверх. Тем временем чай в стакане,
остывая, туманит грани,
и пламя в лампе уже померкло.
А после под одеялом мелко
дрожит, тускло мерцая, стрелка

нового компаса, определяя
Север не лучше, чем удалая
мысль прокурора. Обрывки лая,

пазы в разошедшемся табурете,
сонное кукареку в подклети,
крик паровоза. Потом и эти

звуки смолкают. И глухо — глуше,
чем это воспринимают уши —
листва, бесчисленная как души
живших до нас на земле, лопочет
нечто на диалекте почек,
как языками, чей рваный почерк

— кляксы, клинопись лунных пятен —
ни тебе, ни стене невнятен.

И долго среди бугров и вмятин
матраса вертишься, расплетая
где иероглиф, где запятая;
и снаружи шумит густая,

еще не желтая, мощь Китая.

ЧАША ЯРОСТИ

Роман

Часть первая

1

Итак, пойдем дальше, золотой мой, посеребренный, пойдем дальше, только не оглядывайся, изойдешь слезной солью где-то над пропастью Чопа!

Из мира в мир, из одного измерения в другое, из ниоткуда в никуда, в отрезок времени достаточный, чтобы вместить в себя как вдох и выдох, так и целую вечность, переносится душа твоя за кудыкины горы чужбины.

И вот уже под крылом самолета, сквозь разрывы облачной пены, потекла перед глазами эта чужбина, вся в росчерках дорог и перелесков, разреженных карточной россыпью пестрых застроек.

Вроде бы ничего не изменилось вокруг него — тот же воздух, те же лица, та же речь, — но внутри что-то вдруг как бы надломилось, треснуло, оборвалось, обнажив потаенную, но уже не способную отныне унять боль. Его властно потянуло вскочить и сломя голову ринуться по проходу туда, в хвост гудящей машины, в беспамятном порыве дотянуться до запретной черты и попробовать переиграть судьбу.

Но вместо этого Влад лишь сдавленно выдохнул вслед проходившей мимо стюардессе:

— Девушка, выпить бы...

А под крылом плыла и плыла чужая земля, и не было ей теперь ни конца, ни края...

«Мело, мело по всей земле, во все пределы...». Мело во все пределы и закоулки Москвы начала зимы тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года. В снежной замяти город гляделся, словно смутный чертеж или беспорядочный набросок углем по белому холсту февральской стужи. И Влад стремглав ринулся в эту стужу, и она, посвистывая, понесла его сквозь путаницу завьюженных переулков к ближней окраине с птичьим названием — Сокольники.

Город сейчас проносился в нем, а не вовне, отмечаемый сквозь снежное кружево не зрением, но памятью: дом Утесова на углу Красноармейской и Краснопрудной, магазин «семьдесят пятый» возле Леснорядского рынка, таящего в себе соблазны его голодного детства, пивная у ликеро-водочного чьего-то, уже забытого теперь имени, кинотеатр «Молот» и, наконец, шестьдесят пятое отделение милиции, откуда, если пересечь наискосок Маленковскую, начиналась тянувшаяся за ним по пятам через всю выпавшую ему на долю жизнь улица — Влагова сказка, Влагова боль, Влагова тоска и ноша.

Когда же Влад свернул на нее, эту улицу, ноги его сделались ватными, а душа зашлась от обморочного изнеможения. Сколько раз, загибаясь внутри «собачьих ящиков» скоростных экспрессов, на липких нарах пересылок и в скрипучих койках психбольниц, он представлял себе, как явится сюда, как пройдет немощенным тротуаром мимо своего прошлого и как оно — это прошлое — сомкнется вокруг него, словно забытый сон в гулком зале стереокинематографа. Воистину: не заглядывая подолгу в пропасть — или пропасть заглянет в тебя!

Здесь, если подытоживать все, каждый шаг был отмечен памятным ему случаем или событием: угловая булочная, где в душных очередях карточной поры

он упоенно вынынчивал свои мечты об иных землях и другой судьбе; замшелая, в бурой цепочке себе подобных, коробка двухэтажного барака, в котором, под гостеприимным кровом семьи детского друга Сережки Забрудина, его угощали пирогами из отрубей с неизменным привкусом керосина; огромный пенёк от старого тополя у забора ситценабивной фабрики, того самого тополя, что чуть не свалился на него в раннюю грозу двадцатилетней давности, и сразу вслед за этим, через дорогу, уличное колено, откуда раскатились во все стороны Владовы мандарины в то декабрьское утро отцовского возвращения, с какого закружилась его судьба в яростной карусели давнего российского лихолетья. Сколько нас...

Проезжее русло Митьковки, втекавшее на другом конце прямо в ворота Сокольнического парка, в обрамлении заснеженных тополей и разnogорбых сугробов, вытянулось перед Владом, и тут же сквозь время и явь, через годы и тление пробился к нему острый запах помеси прелой рогожи с гашеной известкой, связанный в его детстве с возведением пристройки к дворницкой для Вladoва покровителя — дяди Саши.

К дому Влад подходил, не чуя под собой земли. Казалось, от него отлетели возраст и опыт, возвращая его в ребяческую ипостась. Он вдруг ощутил себя тем самым Владькой Самсоновым, который только что выбежал на улицу, скрываясь от коммунального крика и материнских нравоучений, тягуче вязавшихся следом за ним...

— Владька, Владька, чего из тебя получится, не сносить тебе головы рано или поздно, совсем от рук отбился, хоть в колонию отдавай, соседи и без того зубы точат, от тебя ведь проходу никому нет, а дома покою. Возьмись за ум, Владька, завтра поздно будет, пожалей мать свою старую, одна она у тебя,

куда вот тебя опять несет в такую погоду, чего тебе дома не сидится?... Куда?..

Двор проплыл мимо него завьюженный и тихий, с редкими вкраплениями огоньков в обмороженных окнах, проплыл, словно громоздкий ковчег в снежной пене зимнего моря, нагруженный множеством теней прошлого и теплым биением животворящей плоти. Плыви, мой челн. По воле волн. Куда несет тебя судьба. Будет буря, мы поспорим. И далее, со всеми остановками.

Лишь миновав пространство между воротами родного двора и соседними, он, будто внезапно выброшенный из жаркого сна в студеную явь, вдруг почувствовал холод. Его сугубо южная одежонка оказалась явно неприспособленной к колючей температуре столичного декабря: уши и ноги у него одеревятели, и сам себе он казался сейчас еле тёплым обрубком, все убывающим с каждым шагом в размерах.

И как это не раз бывало в его детском далеке, бесчувственные ноги сами завернули Влада под арку соседнего дома, где в глубине двора темнел гостеприимный провал котельной, в которой в ранние поры он частенько прятался от гнева родни и цепкого глаза участкового Калинина.

Давным-давно, с тех незапамятных времен, когда мир и душа человеческая раскололись надвое, а Влада еще и на свете не было, осел здесь истопником пленный австриец Вальтер Губер, человек без роду и потомства, безвольное «перекати» военного ветра, сирая щепка вещей рубки столетия.

Неслись годы, каждого из которых хватило бы на вековую историю, но события обтекали Вальтера со всех сторон, не вызывая в нем никакого отзвука или внимания. Он как бы окаменел во времени и пространстве, глядя в огонь раскаленной топки, и лишь один Бог знал, какие являлись ему там видения и какую суть он там прозревал.

Только однажды, где-то перед последней войной, Губер на короткое время оттаял, подобрав зимним вечером на улице мертвецки пьяную проститутку Соню из дома напротив и приютив ее до утра у себя в котельной.

С этого дня его словно подменили. Он проносился по двору, курсируя через улицу и обратно, помолодевший, мытый и чисто выбритый, источаясь во все стороны благодатью и тройным одеколоном. Задубелую в поту и угольной пыли робу на нем сменила суконная пара, из-под которой выглядывал сатин застиранной рубашки, стянутый у горла неким подобием галстука: любви все возрасты покорны. И нации — тоже. Любовь, как известно, зла.

Дворовая голь посмеивалась над влюбленным истопником, хотя открыто задирать его не спешила в предвкушении свадебной выпивки. Но уже спустя неделю домоуправ Иткин, обеспокоенный происходящим, а вернее, угрозой потерять безотказного работника, нашел злополучного австрийца перед угасающей топкой в той же котельной, изуродованного чуть не до полусмерти, с маской запекшейся крови вместо лица.

Кто и когда это сотворил с ним, тот не поведал даже неугомонному участковому Калинину, хотя не надо было считать себя Натом Пинкертоном, чтобы догадаться, куда запропастились следы нападавших: кодла паханов и хахалей, сутками круживших около дома напротив, не захотела отдавать своей даровой добычи без боя.

С тех пор Губер окончательно погас и замкнулся, выходя из котельной лишь по крайней надобности...

Когда Влад, почти съехав по обледенелой лестнице, толкнул обшарпанную дверь и перешагнул порог, Губер все так же, будто и не прошло пяти с лишним лет, сидел все на том же скрипучем табурете и неподвижными глазами всматривался в тот же огонь

раскаленной топки. Узловатые, в ржавой коросте руки истопника при этом едва заметно подрагивали на коленях.

— Здравствуй, Вальтер, — непослушными губами vollголоса сложил Влад, — не прогонишь?

Тот даже не оглянулся в его сторону, молча кивнул и снова устремился в одну точку.

— Заглянул вот, давно не виделись, — у Влада остро запершило в горле, — не узнаёшь, видно.

Только тут истопник скосил на него застывший глаз, изучающе скользнул по нему, снова замер и вдруг засветился, потеплел изнутри ответной радостью:

— Владья!.. Здравствуй, — он повернулся к нему всем корпусом и даже привстал от неожиданности, — какой судьба?..

Вскоре они сидели за колченогим столом в глубине котельной. Алюминиевый, сплошь во вмятинах чайник весело пофыркивал на приглашенных по этому случаю углях. Вокруг початой четвертинки соблазнительно жалась нехитрая закуска, состоявшая из ржавой селедки, мятого огурца прошлогоднего засола и щедро нарезанной полбуханки ситного, а над всем этим нищим великолепием плавало облако махорочного дыма, испускаемого «козьей ножкой» хозяина.

— Как тут мой-то, — хмелея, Влад намеренно бередил себя, — живут, не бедствуют?

Губер шарил по его лицу горячечным взглядом, растроганно попыхивал сигаркой, успокаивал:

— Карашо живут, Владья, сестра твой кароший девочка, учится карашо, твой мать кароший работа получишь, твой тетя орден Ленина получишь... Карашо!

Боже мой, Боже мой, чего ему — этому случайному чужеземцу, знавшему когда-то куда лучшие времена и куда удобнее кущи, чем грязная котельная на столичной окраине русского бедлама, до Вladoвой родни, до сестриных отметок и теткиных наград?

Но, видно, яд здешнего тлена уже коснулся его души, разрушая в ней целостную основу представлений о добре и зле, тьме и свете, лжи и правде, и все сущее для него замкнулось теперь в пределах этой котельной, этого двора и этой растворившей его в себе чужбины. Страшен век, когда даже общая гибель становится притягательной...

Окончательно отогреваясь, Влад поспешил переменить разговор:

— А сам-то ты как, на родину не думаешь податься, я слышал, выпускать стали таких, вроде тебя?

— А! — Тот безнадежно махнул рукой, как бы отметая самую мысль о такой возможности. — Зашем минье мой Австрий, мой Австрий — мой котельный. — Он любовно осмотрел свое подземное логово. — Не хошу в Австрий, тут карашо, ошень карашо...

Прощаясь, они долго и неуклюже мяли друг друга, словно пытались на ощупь удостовериться во всамделишности происшедшего, а расцепившись, все еще не могли разойтись, оттягивали расставание в первых попавшихся словах:

— Бывай, Вальтер, может быть, еще встретимся, мир тесен.

— Мой котельный — твой котельный, заходи, Владык.

— Скоро опять в Москве буду, зайду.

— Не забывай старый Губер, скоро помер будет.

— Брось, Вальтер, тебе еще жить и жить, всех нас еще переживешь и похоронишь, смотри здоровый какой!

— Ньет здоровый, Владык, софсем ньет, больной много, скоро помер будет твой Вальтер, Владык.

— Увидимся, Вальтер, помяни мое слово, увидимся. Бывай, Вальтер, и моим ничего не говори, так лучше, пусть думают, что пропал, им легче, и мне спокойней. Бывай...

Снаружи Влада встретила слепящая тишина вечерних сумерек. Метель улеглась, густо выбелив улицу, которая проглядывалась теперь насквозь, почти до самого дальнего поворота. Небо над головой раздвинулось вширь и вглубь, звездной пылью стекая к горизонту. В морозном воздухе чутко отзывался любой звук или движение. Гудки маневровых паровозов и лязг вагонных сцеплений из-за ограды товарной станции Митьково, едва возникнув, тут же сникали, не в силах пробиться сквозь его вязкую густоту. Казалось, морозную темь перед глазами можно было зачерпнуть, будто стоячую воду.

На углу Старослободской перед ним выявились две — одна на голову ниже другой — женские фигуры, от которых отделились и потекли навстречу ему негромкие — первый обиженный, почти детский, второй спокойный и тоном погуще — голоса:

— Но ведь это несправедливо, Нина Петровна!

— Успокойся, Катя, возьми себя в руки.

— Но ведь я сказала правду!

— Не всякая правда к месту, Катя.

— Раньше вы учили меня другому, Нина Петровна...

— Ладно, иди домой, мы поговорим с тобой завтра, утро вечера мудренее, будь здорова...

Девчушка мелкими шажками, низко опустив голову, прошмыгнула мимо Влада, и здесь, в одно мгновение, всем своим внезапно обмершим сердцем Влад инстинктивно определил, что это его сестра — Катерина...

Так он и встретился с нею впервые после десятилетнего перерыва, чтобы уже через два быстротекущих года окончательно пересечься с ней для долгой жизни и больших скитаний. Катя, Катя, Катерина, Екатерина Алексеевна!...

— Извините, — непроизвольно окликнул он жен-

щину, уже повернувшую было в другую сторону, — Эта девочка — Катя Самсонова?

— Да, — остановилась и оглянулась на него та, — а что вы хотели?..

Влад не ответил, устремляясь в стылую темноту, прочь от властно влекущего его к отчему дому соблазна, навстречу грядущей маяте и возбуждающей неизвестности. Еще не вечер, господя, еще не вечер!

3

Помнится, в аэропорту Мельбурна он перед отлетом в Европу рассматривал с одним провожающим сувениры на витрине случайного киоска, когда кто-то несмело, но требовательно вдруг тронул его за рукав:

— Вы куды йидыте? — Влад обернулся и обнаружил перед собой старушку — Божий одуванчик в темном платке до бровей и ватном жакете без воротника, с туго набитой всякой всячиной «авоськой» в руках: ее словно нарочно вычленили из вязкой толпы районного рынка где-нибудь на Харьковщине или Тамбовщине и перенесли сюда, в стеклянно-пластиковое царство пятого континента. — А я чую, будто по-русскому балакають.

— Во Франкфурт, — он даже не успел удивиться, настолько неожиданным для него было это бесподобное явление на другом от России конце земли, — а вы куда?

— Та в Тернополь.

— Ну и что там у вас в Тернополе?

— Та пють!

— А здесь чего делали?

— Та у брата гостила.

— Ну и что брат?

— Та пьеть!

— А каким рейсом лететь-то?

— Та до Сингапуру, а там напрямки до Москвы...

Она стояла перед ним, переминаясь с ноги на ногу затасканными бурками в калошах, неколебимо уверенная в том, что Сингапур — это что-то вроде пересадочной станции между Москвой и Тернополем, откуда ей местным поездом до своего села рукой подать. Господи, как все-таки отсутствие воображения облегчает человеку жизнь!

Вот тебе, таганский соловей, сокамерник Коля Патефон, и «в бананово-лимонном... где вы теперь, кто вам целует пальцы»!..

— Та до Сингапуру, а там напрямки до Москвы!

4

Хотите вы или не хотите, но мороз в Москве с каждым днем все-таки действительно крепчал, подгоняя Влада в его регулярных походах по столичным издательствам и редакциям. Целыми днями мотался он из конца в конец города в поисках спроса на свой незамысловатый стихотворный товар, где «жизнь», конечно же, рифмовалась с «коммунизмом», а концовки, по всем правилам соискusstва, дышали бодростью и оптимизмом. Но, видимо, охотников поставлять подобную жизнеутверждающую макулатуру было всюду так много, что усталые редакторы (хотя чаще всего почему-то редактрисы, но тоже усталые), едва взглянув мельком на первую страницу его машинописи, произносили скучным голосом одну и ту же фразу:

— Оставьте, мы вам напишем...

Влад знал цену этим посулам, сам, бывало, в Динской тем же манером выпроваживал из редакции районных стихоплетов, но, как всякий утопающий, хватался и за этот крючок: авось клюнет? С этой спасительной для него в ту пору надеждой он и заканчивал

день, отогреваясь по вечерам в метро и ночуя на вокзальных скамейках. «Все равно пробьюсь, — в чуткой дремоте случайных пристанищ не оставляла его обида, — ведь не хуже, чем у других!»

Невдомек ему было тогда, что и не лучше. Даже теперь, дожив до седых волос и глядя в прошлое со снисходительным недоумением, он не в состоянии все же объяснить себе то смутное состояние ума и души, когда явь в человеке как бы распадается на две реальности, каждая из которых, сосуществуя с другой, живет самостоятельно вне зависимости от логики происходящего. Казалось бы, после всего пережитого — сиротского детства, бродяжьей юности, этапов и пересылок, психушек и вербовочного ярма, казенной изнанки и этого вот теперешнего его бездомного прозябания — можно было бы понять, какая же из тех двух реальностей имеет отношение к подлинности, но инерция молчаливого сговора, в котором каждый оказывался бессознательным соучастником, а все вместе — собственной западней, — была в нем сильнее здравого смысла.

Влад отмахивался от прошлого, считая его цепью досадных случайностей, недостойных не только воскрешения на бумаге, но даже воспоминаний. Ему мучительно хотелось забыть и до конца избыть в себе тянувшийся за ним по пятам давний кошмар, чтобы полноправно войти, врасти, вжиться в ту новую для него жизнь, где перед ним, как он полагал, открывалась наконец настоящая и отныне уже беспрепятственная дорога.

И это особое состояние ума и души было для него и всех других вовсе не возвышающим их обманом или нарочитой ложью во спасение, скорее естественной реакцией человеческой сути на окружающую ее опасность, продиктованной инстинктом самозащиты и самосохранения, в чем, за редчайшим исключением, писатель не отличается от таксиста, академик от двор-

ника, музыкант от колхозника и прочая, и прочая, и прочая. Спонтанная ложь сделалась нормой существования, за пределами которой все считалось как бы вне закона.

— Вот какие книжки надо писать, Владислав Алексеич, — поучал его, бывало, еще там, в Пластунской, заядлый книгочей станичной библиотеки Гриша Таратута, раскачивая у него перед носом очередным томом Бабаевского, — если бы все так-то вот умели, за книжками бы очередь стояла, точно тебе говорю...

Гриша этот — учетчик с птицефермы, лобастый парень лет тридцати, при четырех детях мал мала меньше, содержал еще на свои куцые трудодни парализованную старуху-мать и родителей жены, перебивался, что называется, с хлеба на квас, нищета в его саманной хатенке не выветривалась даже по великим праздникам, но он, видно, как и большинство людей вокруг, считал, уверен был, что судьба, выпавшая ему, лишь редкое исключение из общего счастливого правила, а стоящая жизнь разворачивается где-то совсем рядом, чуть ли не рукой подать, причем точь-в-точь такая, как в лауреатских книжках, где триста шестьдесят раз в году выходные дни, а остальные — праздники, где все сало с салом едят и салом закусывают и где по шучьему велению в один момент любые беды руками разводятся.

Гораздо позже, окончательно осев в Москве и уже уверенно прозревая, Влад не раз выслушивал сетования своей первой тещи по поводу его прозаических опусов:

— Владислав Алексеич, голубчик, что же это все у вас в таком черном свете, — близорукие глаза ее укоризненно щурились, — неужели уж все так плохо в нашей стране? Жизни вы не знаете, дорогой, на люди не выходите, в общественной работе не участвуете, сидите бирюком или пьете с приятелями вроде вас.

Оглянитесь вокруг себя, Владислав Алексеевич, какой вокруг энтузиазм, какой оптимизм! — При этом она горделиво скидывала свой острый подбородок, сияющими глазами устремляясь куда-то поверх его головы: точь-в-точь женщина с популярного плаката «Родина-Мать». — Загляните хотя бы к нам, в нашу школу, какую замечательную стенгазету выпускают ребята, какая у нас художественная самодеятельность, какие походы за город мы устраиваем, с кострами, с песнями, с веселыми играми!..

Эта большая энтузиастка загородных походов и художественной самодеятельности в тридцать седьмом отреклась от своего мужа, сосланного куда-то в казахские степи, еле сводила концы с концами на учительскую свою зарплату, большая часть которой уходила на ублажение сына-алкаша и на тряпки гулящей дочери, но все же ухитрялась до пятидесяти с лишним лет остаться в полном неведении относительно всего происходящего вокруг нее и в счастливой уверенности, что ее личные обстоятельства никак не нарушают гармонии текущего времени и общего оптимизма.

А еще позже другой человек, не чета колхозному учетчику или школьной учительнице, после прочтения первой рукописи Влада отечески выговаривал ему, принимая его в своем кабинете на Пушкинской площади:

— Вы несомненно талантливы, даже очень талантливы, вы знаете, я это редко кому говорю, но, согласитесь, ваши герои живут на обочине жизни, а не в ее стремнине, это отходы эпохи, не более того. Задайте себе вопрос: могли бы такие люди взять Берлин?

Владу было жаль этого усталого человека, его сломленной судьбы и раздавленного таланта. Он знал, что за плечами у того больше, чем способен вынести один человек с умом и совестью, — лапотное детство, кошмар коллективизации, медные трубы сомнитель-

ной славы, фронт, перемежаемая черными запоями тоска и позднее разочарование, из которого уже не виделось выхода, — поэтому не стал спорить, а лишь примирительно отшутился, подавая к выходу:

— Может быть, вы и правы, Александр Трифонович, только мы этот самый Берлин два раза при крепостном праве брали...

Так мы и жили в замкнутом мире этого странного забытья, где в одном лице совмещались жертва и палач, заключенный и надзиратель, обвинитель и обвиняемый, не в силах вырваться за его пределы, ибо там — в разреженном пространстве свободы — любого из нас подстерегали гибель или одиночество, которого наши слабые дырявые души боялись еще больше гибели. Смелчаки же, которые шли на этот риск, мгновенно исчезали, растворялись в запредельном пространстве, не оставляя после себя ни следа, ни памяти.

Исключение составляли те редкостные одиночки, чья высокая судьба брала свое начало еще в том золотом веке, когда литературу не так уж сильно уважали, чтобы за нее расстреливать. В известном смысле они, эти одиночки, были счастливее нас. То, к чему мы пробивались сквозь свинцовые пласты лжи и беспамятства, сдирая с души коросту полых слов и фальшивых понятий, огороженные стеной грозных табу и лукавых соблазнов, им дарилось свыше вместе с самой жизнью. Знание меры подлинных ценностей облегчало для них их молчаливое сопротивление, но платили они за это знание куда дороже, чем впоследствии пришлось заплатить нам. Мне на плечи бросается век — волкодав...

Последнюю в этот приезд ночь в Москве Влад провел на Казанском вокзале. В текучих видениях чуткой дремы перед ним кружился хоровод лиц, помещений, предметов...

— Оставьте, — наплывали на него усталые глаза знакомой редактрисы, — мы вам напишем...

Следом за нею ему являлось испитое лицо полубезумного графомана, с которым он регулярно сталкивался в издательских коридорах:

— Главное, слова надо особенные употреблять, не как у всех, — заговорщицким шепотом убеждал он Влада, — вот, например, я недавно откопал: «стапеля»! Слышишь, как звучит: ста - пе - ля! — Безумный взор его заволакивался обморочным туманом. — Стапеля - я - я - я...

И вдруг, почти с самого донышка его памяти, из уже забытых ее тайников, потянулся к нему, замаячил, словно в бреду, образ высокого, с легкой сутулостью человека, гордая голова в лохмах темных, почти вороного цвета волос:

— Ничего, малыш, мы еще проживем, а может, и напишем чего-нибудь, как говорится, такого, а помрем, что ж, другим больше достанется. Будешь в Москве, заходи, адреса пока не знаю, да через нашу писательскую лавочку найдешь...

Черная стужа игарской ночи пахнула на Влада, сотрясая его изнутри зябким ознобом, отчего он сразу же пришел в себя.

— Подъем, солдат, — над ним возвышался милицкий сержант, растягивая губастый рот в снисходительной усмешке, — закрываем лавочку на уборку, в метро доспишь, там теплее...

Пожалуй, впервые со дня приезда фиолетовое утро зимней столицы показалось ему не таким бесприютным, как прежде. Сейчас он чувствовал себя, словно путник в метельной пустыне, перед которым забрезжил первый огонек: теперь он не пропадет, тот игарский знакомец поможет ему, должен помочь!

За время своего суетливого кружения по издательской и редакционной Москве Влад успел завязать кое-какие шапочные знакомства с пишущей мелкотой,

поэтому отыскать по внутреннему справочнику необходимый адрес не составило для него большого труда: уже пополудни он петлял лабиринтами Сретенских переулков в поисках полученного адреса.

Желанный дом тонул в сугробах горбатой улочки, белым шлейфом стекавшей от Сретенки в сторону Цветного бульвара. Паутина снежных тропинок во дворе в конце концов вывела Влада к приземистому, в два этажа флигелю со слепыми от наледи окнами. У двери, на косяке которой значилась знакомая фамилия, он перевел дыхание и, оглушенный биением собственного сердца, позвонил, как это и было отмечено в списке жильцов, четыре раза.

Открыл сам хозяин. Прищурившись, оглядел гостя с головы до ног, узнал и сразу же заторопился:

— Входи, входи, малыш, — отступая в темноту, он потянул Влада за рукав к светлому пятну открытой в глубине коридора двери, — так я и знал, что когда-нибудь явишься. Много я вас, глазастых, повидал на своем веку, отговаривай — не отговаривай, все равно в эту петлю лезете. — Он легонько втолкнул его впереди себя в комнату. — Раздевайся, сейчас чай хлебать будем, а к чаю и выпить не грех.

Нет, совсем не так представлял себе Влад быт маститых писателей! В тесной, заставленной книжными полками комнате с одним окном, выходящим в глухую стену соседнего дома, едва помещались небольшой канцелярский стол с тремя разнокалиберными стульями впридачу и диван — не диван, тахта — не тахта, скорее нечто вроде временного лежака, нехитрой комбинации пружинного матраца с деревянными ножками по углам. Поверх полка, почти под самым потолком, вперемежку с разного формата иконами свисали картины без рам, не изображавшие ничего, кроме цветовых линий и пятен в многообразных сочетаниях. В сумрачной и душной тесноте комнаты пахло застоялым куревом и бумажным тленьем. «Не-

богато нынче сочинители живут, — озадачился мысленно Влад, — не из первых, видно».

— Ну, как мои хоромы, малыш? — войдя с посудой и чайником на подносе, угадал его недоумение хозяин. — Привыкай, милый, каждому свое, не всем дано в высотных домах жить и в Переделкине прохлаждаться, мне-то и это логово из особой милости дали, после лагеря полгода у приятелей ночевал. — С привычной холостяцкой небрежностью он расчистил от бумаг место на столе, разлил по чашкам чай и водку, подвинул к гостю миску с солеными огурцами, нарезал колбасу и хлеб. — Закусывай, малыш, на голодный желудок пить вредно. Закусим, выпьем, опять закусим, а после, как люди, чайком зальем. — Но сам он к чаю не притронулся, медленно, с видимым удовольствием выпил в себя водку, пожевал вялым ртом хлебную корочку и уперся в гостя захмелевшим глазом. — Ну, рассказывай, с чем в престольный град пожаловал? Хотя, впрочем, догадываюсь...

Под чай и водочку Влад незаметно для самого себя, перескакивая с одного на другое и опять возвращаясь к началу, поведал тому свою одиссею за все три года после их первой встречи, кончая этими последними днями в Москве. В заключение, расчувствовавшись от собственной исповеди, решился даже прочесть кое-что из привезенного сюда с собою хлама...

Хозяин слушал его не перебивая, только сокрушенно мотал лохматой головой, насмешливо хмыкал, сочувственно посапывал, а когда тот кончил, облегченно откинулся на спинку сула:

— Так я и знал, так я и знал, что не бросишь ты бумагу пачкать, не излечишься от этой чумы, уж больно глазастым ты мне показался тогда. Такие глазастые, пока до самой сути не дойдут, не успокоятся, а когда доходят, то руки на себя накладывают или спиваются. Но уж коли ты решился на эту пытку, малыш, тебе надо почаще обжигаться, быстрее при-

выкнешь, а не привыкнешь — сгоришь от обид. Поэтому слушай и терпи: стихи твои — дерьмо, с таким дерьмом по стране тысячи бегают, к тому же понаглее и половчее тебя. Брось это гнусное соцсоревнование с ними, все равно затопчут, у них копыта и мускулы не чета твоим. — Он вскочил и размашисто заходил из угла в угол, отчего комната сделалась еще теснее. — И кто только тебя набил этой трухой? Разве это слова, разве это темы? Мусор, шлак, газетные отбросы! Чем других повторять, ты бы лучше самому себе в душу взглянул: тебе двадцати четырех нет, а судьба у тебя — на трех Вечных Жидов хватит. Вот это и есть золотая жила настоящей литературы, а не «народ-вперед» и не «весна-страна». Палат каменных, понятно, тут не наживешь, может, даже голову сломишь, но зато умрешь со спокойной совестью, а это, поверь, чего-нибудь да стоит! — Продолговатое, со впалыми щеками лицо его решительно напряглось. — Вот что, малыш, нечего тебе больше здесь по присутственным местам пороги околачивать, толку, поверь мне, старику, все равно не выйдет. Я бы тебя у себя оставил, авось понабрался бы разуму, не стеснил бы, вдвоем веселее, да соседи у меня сквалыжные, сразу в милицию настучат, а я у них там на особом счету. Поэтому, мой тебе совет: поезжай на Кавказ, в Черкессию, там у меня один приятель вроде тебя переводами промышляет, я тебе к нему цидулю дам, он на первых порах поможет, а потом сам выплывешь. Придешь в себя, пораскинешь на досуге мозгами, глядишь, за ум возьмешься. Денег я тебе на дорогу отслонявлю, не бойся, а теперь давай на боковую, а то, я гляжу, ты скоро свалишься.

Последние слова хозяина пробились к Владу уже сквозь сморившую его дремоту.

На другой день тот проводил его на Курский вокзал. В ожидании поезда они устроились в станционном буфете, где за выпивкой и разговорами просидели чуть

не до самого отхода, после чего еще долго прощались у вагонных ступенек, обещая не забывать друг друга и писать.

— Держись, Владька, — гудел тот вслед уже отходящему поезду, — мы еще свое возьмем!

На голову выше других провожающих его долго-взваяя фигура еще долго маячила на обледенелом перроне, призрачно растворяясь в морозном тумане.

5

Ты вспомнишь это прощание спустя четверть века, когда другой человек, с другого конца земли, француз армянского происхождения Арман Малумян — бывший партизан, бывший смертник и бывший зека, несломленное дитя ГУЛага, расскажет тебе о своих встречах с ним в лагерных бараках Тайшетской командировки:

— Этому высокому угловатому парню я дал три прозвища: Ворон, Нос и Дон Кихотский. На ворона он был действительно чем-то похож: глубоко сидящие в орбитах глаза, осторожность, ум и естественная сухощавость, подчеркнутая «фасонной стрижкой», обязательной в «домах отдыха», предоставленных в наше распоряжение «голубыми фуражками». Должен признаться, что ему не очень понравилось это прозвище, напоминавшее ему «воронок» и ворона из басни. «Нос»? Он у него был выразительным, солидным, внушительных размеров. Юрию очень понравилась знаменитая тирада Сирано де Бержерака, которую я продекламировал ему в шизо, и каждый раз, когда мы вступали в споры с гебистами и «Нос» хотел подать мне знак, что его очередь брать слово, он делал жест роستانовского героя и говорил: «Я попаду в конце посылки...» И все-таки «Дон-Кихотский» ему шло больше всего. Его человечность, целомудрие, его

чувствительность были скрыты под маской ворчуна; он обладал глубоким умом; юмором, заостренным, как толедский клинок; благородством и гордостью испанского гранда. А его рост и худоба, о которых уже говорилось, делали его похожим на ветряную мельницу, вроде тех, с которыми он собирался сражаться, — стоило ему только поднять руки, и впечатление было полным. Острого языка его побаивались не только окружающие, но и начальство. К примеру, однажды в ответ обратившемуся к нему на «ты» лагерному оперу он коротко отчеканил: «На «ты», гражданин опер, обращаются только к Господу Богу, а я, извиняюсь, простой смертный, так что прошу вас и обращаться ко мне соответственно». В другой раз, будучи в кабинете того же опера свидетелем получения мною денег из Франции, он взял у меня из рук бланк перевода и почтительно его поцеловал, а удивленному этим жестом «куму» с достоинством пояснил: «Вам не лишне будет узнать, что даме всегда целуют руку. Франция, уважаемый, тоже — дама, и — великая. Она научила нас, русских, как, впрочем, и остальные народы, что такое Свобода. Я должен был здесь воздать ей должное...»

Ты еще встретишься с ним, родимый, еще встретишься, вам еще пить и пить вдвоем, разговаривать и разговаривать, но договорить до конца так и не удастся: ему суждено будет умереть, поставив точку в книге, которую он всегда мечтал написать, тебе — молча оплакать его на чужбине.

6

Оттого, что бывшая станица Баталпашинская стала Черкесском, она еще не сделалась городом. Над саманным царством станичных построек угрюмо, словно флагман с конвоем сторожевых канонерок среди

сплошной флотилии рыбацких посудин, возвышались Дом Советов, воздвигнутый в духе провинциального конструктивизма конца двадцатых годов, почта, кирпичный комплекс пединститута и вокзал, что создавало этой захолустной тмутаракани некое подобие административного центра.

Отдав таким образом дань времени и склонной к радикальным преобразованиям эпохе, местная жизнь принялась течь по тем, хотя и неписанным, но извечным правилам и законам, по которым она текла здесь со дня своего возникновения. Пыльными летом и непролазными зимой улицами с утра до позднего вечера слонялась в поисках добычи всякая домашняя тварь — ссорились и мирились куры, промышляли стаями гуси, от бесхозных собак отбоя не было, над садами и огородами струился кизячий дым, властно перебивая редкие наплывы машинной гари, по престольным праздникам отсталое население в выходных обновах пестрыми ручейками тянулось в церковь на окраине, и все это не имело никакого касательства к тому единственному в городе заасфальтированному пятачку, где в каменном доме-крепости кружилась бумажная канитель в тщетной гордыне изменить не только самый облик земли, но даже природную суть человека. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью.

В микроструктуре этого дома зеркально отражалась, лишь убывая по мере наклонного спуска в размерах, структура целого государства. Люди, имевшие право служебного допуска сюда, так же, как и на руководящем верху, составляли невыполнимые планы и затем отчитывались в их выполнении, издавали газеты и книги, в которых слово в слово повторялось все то, что уже написано и напечатано до них или одновременно с ними в вышестоящих издательствах и газетах, созывали пленумы и совещания, где заговаривали друг друга цитатами из установочных докладов вождей и передовиц партийной печати.

По торжественным праздникам устраивались также военный парад и демонстрация трудящихся по тем же образцам, что и в столице и ниже, только соответственно своему положению поскромнее и побесцветней. На затянутую красной холстиной деревянную трибуну против Дома Советов ровно в десять часов утра степенно, строго по рангу поднималась местная власть. Затем полупьяный лабух из кладбищенского оркестра трубил сигнал «Слушайте все», следом за чем на площадь перед трибуной на пожилой кобыле, одолженной по этому случаю в городской пожарной охране, выезжал облвоенком подполковник Галушкин во главе нестроевого воинства престарелых отставников и тюремных надзирателей, за которыми вытягивалось разномастное шествие представителей если и не самых широких, то, по убеждению устроителей, самых активных слоев населения.

Руководство, из тех, что помоложе и погорластее, выкрикивало в микрофон лозунги и здравицы, вроде «Привет славным труженикам канатникового завода имени фабрики Первого мая!» или «Животноводам секретного пригородного хозяйства, почтовый ящик номер три, ура!», демонстрирующие трудящиеся нестройно вторили этим призывам, по окончании чего обе стороны, довольные друг другом, растекались по домам, пивным и забегаловкам, чтобы с помощью сивушного ассортимента окончательно закрепить свое праздничное состояние.

И только военком Галушкин долго еще кружил по опустевшей площади на одолженной у пожарников кобыле, командуя вохровцами, разбиравшими начальственную трибуну до следующих торжеств. Щекастое лицо подполковника при этом пылало яростью и вдохновением, что делало его отдаленно похожим на героического фельдмаршала в решающей битве при Бородино.

Разумеется, никакой областной центр, даже такой крошечный, как Черкесск, да еще многонациональный, не мог обойтись без собственной творческой интеллигенции. Здесь существовала та же иерархия организаций, должностей, имен и культурных ценностей, спланировав по нисходящей спирали до того качественного уровня, откуда Демьян Бедный уже выглядел эталоном для подражания.

Все творческие союзы имели в городе свои отделения: писателей, художников, композиторов, актеров и даже архитекторов. Каждый из них возникал по принципу: была бы организация — члены найдутся. Члены, конечно, тут же отыскивались, порою, к сожалению, в избыточном числе, а если нет (как это случилось с архитектурными кадрами), то их просто назначали в административном порядке, руководствуясь спущенным сверху постулатом: «незаменимых людей нет и не может быть». Как говорится, собственных Платонов и быстрым разумом Невтонов!

Естественно, что во всех областях этой деятельности сразу же появились свои классики и основоположники. Поэтому если заезжего гостя знакомили, к примеру, с кем-либо из таких столпов, то обычно, небрежно обронив фамилию последнего, со значением подчеркивали: «Наш Лев Толстой», «Наш Репин», «Наш Станиславский», «Наш Растрелли», «Наш Глинка» и так далее, в соответствии с занятием и должностным рангом.

Но при всей внешней смехотворности претензий страсти здесь разыгрывались всамделишные с результатами порою не менее трагическими, чем в эпоху Монтеки и Капулетти. Яд местных Сальери, выливаясь в доносы, действовал если и не так мгновенно, то не менее эффективно, приканчивая местных Моцартов в недавние времена руками местных же чекистов, а в новейшие — стараниями медспецов областной пси-

хушки или городского вытрезвителя. Труп врага, как известно, хорошо пахнет.

Если же учесть, что в области, кроме русских и заезжих примесей, обитало четыре национальности, каждая от шести до сорока тысяч зарегистрированных статистикой душ, к тому же восточного темперамента, то можно ясно представить себе накал здешних междоусобиц, давно превзошедших критическую массу по Цельсию и Фаренгейту и способных в любой момент поднять в воздух городское благополучие бывшей станицы.

Вяня нашего своенравного времени, скрыв от потомков досадные для себя подробности, отложились в памяти аборигенов города только неоднократной сменой его названия. Нареченный в день своего рождения Баталпашинском, он вскоре, в связи с ударным ростом национального самосознания среди бывших станичников, был переименован в Черкесск. Затем, отдавая дань холодному уму, горячему сердцу и чистым рукам карательных органов страны, он сделался Ежовском, но по исчезновении железного наркома в следственных подвалах собственной вотчины стал называться Карачаевском в знак признания революционных заслуг самого большого народа, населяющего новорожденную область, хотя спустя несколько лет, точнее — во время последней войны, оказалось, что никаких таких заслуг перед революцией за этим народом не числится, а вовсе наоборот — одни преступления против нее, и вместе со злополучной национальностью кануло в историческое небытие и очередное имя города, после чего он снова обрел свое прежнее тавро — Черкесск. Но, разумеется, еще не вечер, господа, а наш завтрашний день подчинен целеустремленным зигзагам генеральной линии нашей партии, которая, как известно, является и самой прямой.

Так он и назывался, этот город, когда Влад тихим солнечным утром сошел здесь с поезда и ступил на

привокзальную площадь. После заснеженной бесприютности Москвы здешний простор ослепил его своей благодатью. В резкой синеве широко распахнутого неба город плавился яичным смешением белых строний и желтой почвы, весь в паутине оголенных деревьев и кустарников. В зябком воздухе тянуло терпким дымком оживающих печей, от которого слегка першило в горле и слезились глаза. Волнообразная линия предгорий за дальними крышами, размытая расстоянием, со всех сторон опоясывала призрачным кордоном городские пределы. Безветренная тишина над головой казалась звенящей.

В ожидании начала присутственного дня Влад рассеянно кружил по сонным улицам, как бы вживаясь в фон, на который судьба нанесет письма еще нескольких лет его пути через врачующую боль клевет и унижений к душевному исцелению.

Город исподволь оживал, заполняя утреннюю тишь суетой и звуками разбуженной жизни. Во дворах, за глинобитными оградами, все нарастая, просыпалось многоголосье живой твари. На мостовые выкатывались первые повозки и грузовики. Первые прохожие прерывистыми цепочками торопливо устремлялись к городскому центру. Дневная ворожба быта начинала свой озабоченный круговорот.

Поток служащих втянул его в воронку парадного входа Дома Советов и, покружив по этажам и коридорам, оставил у двери с табличкой «Ответственный секретарь редакции Д. Майданский».

В крохотной проходной комнате, из-за стола, стоявшего торцом к выходу, навстречу Владу поднялся грудастый парень лет тридцати с копной темно-рыжих кудрей над выпуклым лбом:

— Вы ко мне? — Не ожидая ответа, он кивнул на стул возле стены. — Садитесь. — Массивное, с чувственными губами лицо его расплылось в понимающей ухмылке. — Наверное, стихи? — Но едва

гость назвал свою фамилию, как лицо у него отвердело в деловитой озабоченности. — Знаю, знаю милости просим, Седугин уже звонил, сам он сейчас в отъезде, в Ставрополе, будет дня через два-три, просил о вас позаботиться. Что ж, давайте сюда все, что у вас есть, может, чего-нибудь в номер втиснем, аванс я вам у редактора вырву. Устройтесь пока в общежитии гостиницы, на неделе съездите в район, в командировку, с местными Джамбулами мы вас познакомим, а там видно будет. Одну минутку. — Он требовательно постучал кулаком в стену. — Леня, зайди!

В дверной проем из соседней комнаты высунулась продолговатая, в остатках волос на затылке и в трехдневной щетине чуть не до самых глаз голова.

— Ну? — Голова нетрезвым взором блеснула в сторону Влада. — Что стряслось?

— Вот познакомься, товарищ из Москвы, молодой поэт Владислав Самсонов. — Пальцы его с привычной небрежностью уже листали перед собой стопку полученных от Влада рукописей. — Седугин просил помочь, ему из Москвы звонили.

По-хозяйски устраиваясь на краешке секретарского стола, мешковатый верзила из соседней комнаты уперся в гостя с веселой злостью:

— Кто звонил? — Он ожесточенно пожевывал в желтых зубах мундштук погасшей папиросы. — Борис Пастернак? Анна Ахматова? Или, может быть, Александр Твардовский?

— Кончай, Леня, травить баланду, не убивай нас своей начитанностью, еще успеешь, — небрежно отмахнулся от него секретарь. — На-ка вот, — протянул он тому Владову стопку, — отбери пару-тройку стихов в номер, а я пойду к редактору, выужу аванс парню для поддержки штанов.

— Ну-ну, — насмешливо протянул верзила вслед исчезающему за дверью секретарю, — аванс — дело стоящее, будем уповать на редакторскую щедрость. —

Он начальственно кивнул Владу. — Айда ко мне, будем посмотреть, что вы тут понатворили. — В соседней, столь же крошечной, как и первая, комнате он долго и старательно размещал свое неуклюжее тело за письменным столом и, лишь окончательно утвердившись на месте, взялся за рукописи. — Так... Так... Так... Да, уважаемый Самсонов Владислав, прямо скажем, вы не Пушкин и даже не Блок, но для «Советской Черкесии» и это сойдет, не такое сходило. — Он поерзал по гостю хмельными глазами, задумчиво потер подбородок и вдруг решительно, с необыкновенной для его нескладной фигуры живостью поднялся. — Пока Данька из шефа аванс выколачивает, мы успеем к дяде Саше смотаться. Есть тут один дядя в одном теплом местечке, где собирается вполне теплая компания, для своих открыто круглые сутки без перерыва, а теперь давайте знакомиться: Леонид Епанешников, заведуя в этой лавочке культурой, которой в здешней округе даже не пахнет. Айда за мной!

Епанешников мимоходом кинул на стол к секретарю несколько листочков из Владовой кипы, сунул остальное в руки гостю и, увлекая его за собой, стремительно ринулся по коридорам и этажам вниз, воодушевленный близкой возможностью опохмелиться.

— Эта дыра не для белых людей, дорогой мэтр, — изливался он Владу по дороге, — здесь даже кошка сопьется с тоски, одно название, что областной центр, а крикни «ау», за городом откликнется, была захудалая станица, станицей и осталась. Но все, как у больших: обком, облисполком, эмгебе, кегебе, у секретаря обкома личная охрана, а от кого охранять-то, тут собаки — и те беззубые. Подстать вождям и наш брат — интеллигенция: таланту на грош, а претензий, как у Ротшильдов. Вся духовная жизнь в подвале у дяди Саши помещается, там алкаши со всего Союза самоутверждаются. Всех их, конечно, завистники в эту Богом забытую глушь загнали, всех, конечно, не по-

нимают окружающие, всех, конечно, среда заела, а то бы они показали человечеству высоту духа. Как говорится, бодливой корове Бог рогов не дает. Меньшие братья из местных тоже не отстают, врать и пить научились не хуже нашего, скорее лучше, потому что и то, и другое делают проще, без комплексов. Короче, сейчас сами полюбуетесь. — Он потянул Влада за рукав. — Мы у цели, оставь надежды всяк сюда входящий!

Несмотря на ранний час, в темном полуподвале топталось изрядное количество народу, алчущего первой похмелки и взаимопонимания. Под низкими сводами густо пахло волглрой плесенью, затхлой кислятиной, перебродившим вином. В сумрачном свете единственного и переслоенного пылью окна все кругом выглядело смутно и расплывчато. Оживавшие по мере выпивки голоса звучали здесь глухо и сдавленно, словно в закупоренной бочке.

За стойкой неторопливо, с некоторой даже торжественностью, двигался сухощавый старик в фуражке черной кожи, из-под куцеа козырька которой печально мерцали отрешенные, как у больной собаки, желудевые глаза. В каждом его движении, жесте, взгляде сквозило такое скорбное безразличие к миру и населяющему этот мир человечеству, что казалось, будто он пережил уже конец света и поэтому ничто на земле не может вызвать в нем ни удивления, ни интереса.

— Дядя Саша, будь добр, плесни нам с товарищем по сто пятьдесят пожар залить, — отнесся спутник Влада к старику, привычно ввинчиваясь в людную тесноту у стойки. — Маэстро, вы уже здесь? — крикнул он кому-то поперх голов. — Одобряю, если водка мешает работе, надо бросить работу. Причаливайте к нам, тут нашего полку прибыло, молодой поэт из Москвы на постоянное место жительства, есть об чем перекинуться.

Тут же, словно из-под земли, перед ними вынырнул жидковолосый, с кукольным личиком блондин, галстук бабочкой под кургузым пиджачком в полоску:

— Очень рад, очень рад, — зачастил он, обшаривая Влада беспокойными глазками, — будем знакомы, Павел Поддубный, артист драмтеатра. — Было в нем, в его мелких движениях и быстрых словах что-то укорененно торопливое, словно, однажды заспешив, он уже никак не может остановиться. — Живем, как в пустыне, живого человека встретить — редкость, какая уж тут духовная жизнь, интриги да сплетни, порядочных людей с идеями раз-два и обчелся, душу отвести не с кем. Как сказал поэт: «Нас мало, нас, может быть, трое»...

Первая выпивка только раззадорила собеседников. Тосты последовали один за другим. Лица, призрачно чередуясь, возникали из душной полутьмы, чтобы тут же исчезнуть в ней, пока, после долгого кружения, перед Владом не утвердилось одно: резкое, испитое — угольные, безо всякого выражения глаза под сильно выдвинутыми надбровьями.

— Знакомься, брат, — пьяно гудел у него над ухом Епанешников, — это, брат, глыба, матерый, можно сказать, человечище, ногайский классик Фазиль Абдулжалилов. В одном лице — Пушкин, Гоголь и Лев Толстой своего народа, по его учебникам вся ногайская интеллигенция выучилась. Народу, правда, всего шесть тысяч, зато интеллигенции на шесть с половиной наберется, от чекистов до солистов все интеллигенты. Насчет алкашизма Фазиль тоже у них классик, пример, так сказать, для подрастающего поколения...

Ногаец словно не слышал или не слушал собеседника. Он молча смотрел впереди себя, не двигаясь и не реагируя на окружающее. Когда ему подставляли стакан, он все так же безмолвно, большими глотками втягивал в себя содержимое и снова застывал в той

же позе. В нем как бы заглохло, онемело все, кроме этой вот неутоляемой жажды вливать в себя любую жидкость, какую перед ним поставят.

И только, когда пришла пора прощаться, ногаец, не замечая протянутой Владом руки, вдруг обнажил в мрачной усмешке свои почти коричневые зубы и внятно выцедил ему в лицо:

— А тебе на допросах яйца в дверях зажимали, товарищ?..

Много раз впоследствии придется ему пить и забываться в пьяном угаре во множестве кабаков и забегаловок от Франкфурта до Сан-Франциско, бесчисленное количество лиц при этом вберет в себя его память, несметное число слов услышит он от своих заморских собутыльников, но никогда и нигде ему не придется вот так же близко, как в это мгновение, заглянуть в гремучую пропасть, которую называют — Россия.

7

Все дороги местной богемы, как на узловой станции, сходились в подвале у дяди Саши. Здесь знакомились между собой, ссорились и мирились и ссорились вновь, здесь обмывали театральные и концертные премьеры, издательские авансы и сигнальные экземпляры книжек, заказы худфонда и сдачу архитектурных объектов, здесь создавались замыслы, концепции, репутации. Отсюда по всему городу разносились новейшие анекдоты и версии событий закулисного толка, слухи, новости, сплетни, дурная и добрая слава. Не происходило в городской округе сколько-нибудь заметных происшествий, которые не подвергались бы тут самому тщательному анализу и обсуждению. Приобщиться к этому пьяному ордену,

быть в нем принятым считалось в среде здешнего полусвета знаком признания и авторитета.

Единственным человеком, который не принимал участия в общем гвалте, был сам дядя Саша — хозяин этой хмельной преисподней, обрусевший черкес, никогда не снимавший с коротко стриженной головы хромовой фуражки. Медленно и величаво двигался он за прилавком, открывая бутылки и наполняя стаканы, недоступный страстям и ревностям, какие бурлили вокруг, а вернее, поверх и мимо него безо всякого касательства ко всему тому, что происходило в нем самом. Лишь изредка, и лишь встречая желанного гостя, дядя Саша слегка обнажал полоску металлических зубов в приветливой улыбке, но желудечные глаза его при этом продолжали светиться вовнутрь себя, отчужденно и слепо.

Поговаривали, будто он служил в ранней молодости ординарцем у Султан-Гирея, прошел с «дикой дивизией» весь путь от Невинномысской до Новороссийска, был связан с мятежным генералом клятвой верности и лишь из-за тифозной горячки не смог сопровождать своего любимого командира в его заморских мытарствах.

Теперь, за прилавком винного подвала, как бы оставаясь душой там — в повергнутом мире, он являл собою последнего свидетеля давней эпохи, с торжеством наблюдающего, как победители и их потомки справляют вокруг него свою Пиррову тризну.

Однажды спустившись сюда, Влад вскоре сделался здесь завсегдатаем, а вслед за этим и одним из тех немногих, кто удостоивался приветственной улыбкой хозяина. Утро Влада начиналось с обхода редакционных кабинетов, где он рассовывал по отделам свежие переводы и заказанные накануне статьи, получал деньги за предыдущие публикации, договаривался о новой поденщине и с компанией жаждущих, а если

таковых не находилось, в одиночку спешил в знакомое заведение.

В прохладной полутьме подвала изо дня в день повторялся один и тот же ритуал: гостеприимно оскалившись, дядя Саша молча наливал ему стакан мускателя до краев и заученным жестом выщелкивал конфету на закуску. Пей до дна!

Утренний мускатель был подарком, честью, знаком внимания со стороны хозяина к постоянному и желанному гостю. Напиток и впрямь стоил того, чтобы улаживать избранных. И пить эту золотистую жидкость следовало несомненно только с утра, когда обоняние, еще не замутненное сивушной мешаниной, было в состоянии ощутить всю знойную неповторимость ее букета: смесь сенокосных сумерек с чуть подслащенной горечью августовского полдня. Кавказ подо мною.

Первый стакан как бы закладывал надежный фундамент для последующих возлияний в разных сочетаниях и пропорциях. Мало-помалу подвал раздвигался вширь и ввысь, полутьма рассеивалась за счет душевного восхищения, город за обросшим пылью окном отодвигался за пределы досягаемости, и посетители, заполнявшие постепенно пространство вокруг, казались ему теперь пришельцами из потустороннего мира.

В радужной карусели окружающего оживления Влад обычно выделял лишь слова и лица, пропуская остальное мимо внимания и памяти. И, как всегда, прежде других перед ним выявлялся кукольный профиль Поддубного:

— Тонем в пошлости, Владислав Алексеич, в мещанстве задыхаемся, — дергался он, перебрасывая стакан из руки в руку. — Репетируем «Гамлета», понимаете, Владислав Алексеич, «Гамлета»! А Людка Сторожева на читке юбку порет, а ей, корове, Офелию играть. Я ей: «Мол, побойся Бога, Людочка, в такой

момент, где же сопереживание, где проникновение в образ?» А ей хоть бы что: «Пошел ты, говорит, Паша, к такой-то матери, зарплату три месяца не платят, не то что жрать, выйти не в чем!» Это, Владислав Алексеич, мне — Гамлету, — каково! Можете представить, что это будет за Офелия?..

Затем где-то пополудни, в час обеденного перерыва, у него над головой обязательно возникал низкий, с ленцой голос Епанешникова:

— Видишь, вон в углу чмур карячится, ну, вон тот, у него еще глаза от спермы белые, в кителе «а ля Сталин», не человек, заметь, а бездонная прорва, наш местный Гаргантюа, проел и пропил швейную фабрику, канатниковый завод, два совхоза, один укрупненный колхоз, радиомастерскую облпотребсоюза и хоть с гуся вода! Временно не у дел, состоит в номенклатурном резерве обкома партии, ждет своего часа. Говорят, начальство прочит его в директора танцевального ансамбля, благо, что там пропивать нечего, кроме перелицованных черкесок. Такие, брат, как ваньки-встаньки, никогда не падают, только покачиваются...

К концу рабочего дня неизменно появлялся черкесский классик Хусин Гашоков в чесучовой паре и с обкомовской, под крокодилову кожу папочкой у бедра. Он брезгливо лавировал между стойками, стараясь не коснуться кого или чего-нибудь, что могло бы запятнать его чесучовые ризы или партийную непорочность, навеки запечатленную у него на изможденном до восковой бледности лице закоренелого онаниста.

Будучи непьющим, он вынужден был регулярно наведываться сюда, чтобы всучить Владу подстрочник своего очередного опуса к очередной торжественной дате. Как правило, маститый мэтр не утруждал себя излишним творческим напряжением, предпочитая старательно варьировать сочинения, срифмованные им на заре его туманной комсомольской юности. Его систе-

ма была не хитра, но безотказна: если, к примеру, требовалась торжественная ода по случаю годовщины Октябрьской революции, он брал две строфы стиха десятилетней давности, написанного в честь праздника Первого мая, добавлял к ним три четверостишия из своей же поэмки о героических буднях советских пограничников, завершая этот высокопарный винегрет концовкой, отхваченной ножницами от виршей в память Парижской коммуны или на смерть Ленина (Сталина, Пушкина, Джамбула и так далее — по настенному календарю). С помощью этого руководителя основоположник родимой литературы не только обеспечил себе завидно безбедную жизнь, но и с молодых ногтей уверенно менял одну руководящую должность на другую, с годами все выше и влиятельней.

Холостяцкая квартира классика помещалась непосредственно над подвалом, что позволяло ему достигать Влада врасплох в любое время дня, наподобие чумы или стихийного бедствия.

— Товарищ Самсонов, в обкоме есть мнение поручить вам перевод моей поэмы о Зое Космодемьянской. Вы должны оправдать доверие партии, вам необходимо использовать весь свой талант, чтобы передать народу вершины черкесской поэзии. — Его восковое лицо торжественно каменело. — Вы переводите теперь Абдуллаха Охтова, я не могу сказать о нем ничего плохого, но в его творчестве еще имеются феодальные пережитки. В обкоме есть мнение...

В таком духе Гашоков мог нудить до бесконечности, не забывая при этом извлекать перед Владом из обкомовской папочки все новые и новые подстрочки. Словотечение это, казалось, не в состоянии были остановить никто и ничто, включая светопреставление, но когда вконец осоловевший Влад начинал терять последнюю надежду спастись, в подвале, будто сказочный вестник — спаситель, по обыкновению

появлялось другое черкесское светило — Абдулла Охтов, степенный, в благообразной седине старик с повадками вкрадчивого царедворца.

Еще издалека он расцветал в сторону своего лютого врага улыбочивым дружелюбием и беззащитной кротостью: точь-в-точь святочный Дед Мороз в пьяной компании.

— Салям алейкум, здравствуй, дорогой Хусин, дай тебе Бог здоровья! — паточно обволакивал он недруга. — Читал вчера твои стихи ко Дню танкиста, дорогой, читал и завидовал, это жемчужина черкесской поэзии, в семье читали — плакали, дорогой. Ты — наша гордость, Хусин!..

Вымучивая из себя ответное радушие, тот поспешно прятал в папочку листочки с подстрочниками, выуженные было оттуда в разговоре с Владом:

— Салям алейкум, Абдуллах, здравствуй, твоя похвала для меня дороже любых статей, я всегда считал тебя своим учителем. — И бочком, бочком, все также брезгливо сторонясь людей и предметов, поспешал к выходу. — Рад тебе, Абдуллах, но у меня совещание в обкоме...

Старик по-прежнему дружелюбно светился ему вслед лучистым взглядом восточных глаз, но речь его уже предназначалась для Влада:

— Опять этот ублюдок, помесь шакала с лисой, хотел навязать тебе свой бездарный хлам? — Глядя на него издалека, могло показаться, что в эту минуту он расстается со своим лучшим другом. — Завалил редакции этой белибердой, импотент, чтоб ему жить на одну зарплату! Всех обкомом пугает, шантажист проклятый! — Выдержав позу ровно до того, как за Гашоковым захлопывалась дверь, он поворачивался к Владу и деловито осведомлялся: — Что у тебя с моими подстрочниками? Это тебе, дорогой, не День танкиста, это настоящая поэзия, без халтуры!..

Влад слушал вполуха, заранее зная, что за этим последует предложение новых подстрочников, сдобренное щедрым угощением. В хмельной прострации все вокруг виделось и слышалось ему, как через толстое стекло. Явь, словно ссохшийся грунт на старом холсте, постепенно растрескивалась в его сознании, но, когда беспамятство грозило замкнуться в нем, откуда-то из темной глубины второго плана этого почти немого для него кино к нему устремлялись недвижные глаза стеклянно непьянеющего Фазиля Абдулжалилова, и он сразу же приходил в себя, столько горечи и презрения маячило в них, в этих глазах.

В час послеобеденного затишья Влад отправлялся на служивший тут городским парком остров Кубани, где, расположившись в прибрежном подлеске, строчил халтуру в очередные номера местных газет и наскоро рифмовал переводы в том обязательном количестве, чтобы никого не обидеть.

Небо шелушилось над ним перистой известкой, река, вспениваясь на перекатах, скользила в распаде плоскогорья, стекая в голубеющие вдали степи, в кружеве ветвей и трав перекликалась теплотворная живность, и все это, цельно взятое, никак не сочеталось с тем, о чем складывалось у него на бумаге и что в повседневности суетно хлопотало вокруг него и в нем самом, будто плесенью оплетая светоносную ткань бытия.

Покончив с заданной писаниной, Влад снова возвращался к дяде Саше, чтобы после закрытия закончить дневную маяту в компании временных собутыльников, доверив очередной шлюхе довести себя до ее гостеприимного ночлега.

По вечерам над ресторанами.

Сколько раз потом, в парижской промозглости, грезилося ему, как безоблачным летним днем он сходит на случайном полустанке с проходящего поезда и, не разбирая дороги, идет куда глаза глядят сквозь знойный простор и травяной стрекот к струящимся на горизонте селеньям. Это видение преследовало Влада, настигая его в самые неожиданные моменты и в самых неподходящих местах: днем и ночью, в поезде, в самолете, среди сна или разговоров, перед микрофоном собраний, съездов, пресс-конференций, в концерте или перед телевизором, но чаще всего в пьяном бреду, когда текущие химеры змеились вокруг него, а душа то возносилась в горние кущи, то низвергалась в спиральную темь. В такие минуты он благодарно затихал сердцем, стараясь подольше удержать в себе возникшую вдруг перед ним фата-моргану в тщетном ожидании, что она вот-вот в следующую секунду обернется явью. Остановись мгновенье, ты прекрасно!

Но оно, увы, не останавливалось. Наваждение, словно наледь на стекле, испарялось, уступая место тоске и опустошению. Куда, куда вы удалились, весны моей златые дни? За кудыкины горы. А ты думал, куда?

Когда тебе двадцать три, а позади и огни, и воды, и первые медные трубы, то душа поневоле начинает стареть и томиться в тоске раньше времени. В редких просветах между суетой и выпивкой Влад, оставаясь наедине с собой, казнился тщетой своих забот, жалел растраченного на них времени, клялся самому себе разорвать этот заколдованный круг, но уже на сле-

дующее утро все начиналось сначала, по раз и навсегда заведенному порядку: Дом советов, подвал дяди Саши, остров, снова подвал и ночь в случайном вертепе.

Дни сливались в пеструю ленту с редкими пятнами засвеченных хмельным беспамятством кадров, которой не видно было конца и края: те же люди, те же разговоры, те же подстрочники, та же безотчетная, но изнуряющая хандра. То, что еще совсем недавно казалось ему издалека вереницей сплошных праздников — редакционная суета, верстка, правка, сигнальный экземпляр номера, пахнувший еще типографской краской, где под столбцами знакомых строчек, среди других волнующе маячит собственная фамилия, — обернулось для него теперь серыми буднями, мелкой нервотрепкой по поводу редакционных придинок, бездарной правки и грошового гонорара: тайна, перестав быть тайной, по законам убывающей любви, рассеивалась, вызывая в душе с течением времени лишь тошнотворную, изо дня в день, оскомину, словно от пресной жвачки.

Единственной отдушиной в этом однообразном круговороте оставался театр, куда, с легкой руки Поддубного, Влад заглянул однажды и вскоре незаметно для себя зачастил, по обыкновению просто так, без всякой надобности, чтобы хоть чем-то заполнить набухавшую в нем гремячую пустоту.

Театр в городе был, что называется, последнего разбора, служа временным — на сезон-два — пристанищем для тех, кого исторгла из себя театральная периферия от Полоцка до Владивостока по славной сорок седьмой «ге» статье Трудового Кодекса страны зрелого социализма, или тихой заводью для выходящих в актерский тираж пенсионеров. Комики-алкаши и трагики-гомосексуалисты, социальные герои — многоженцы в бегах от алиментов и увядающие травести, склонные к перемене мест на почве половой истерии.

спившиеся декораторы и кассиры-рецидивисты с глазами загнанных серн оседали здесь в первые дни осени, чтобы, чаще всего уже весной, податься дальше, в поисках лучшей доли или более надежной глуши. Идут, как говорится, искать по белу свету, где оскорбленному есть чувству уголок.

Театр стена к стене соседствовал с областной Госбезопасностью, но это ободряющее соседство почему-то никак не способствовало его процветанию. Жизнь в нем двигалась от получки до получки, которая здесь называлась «дербанкой», когда директор Кныш из бывших подполковников десантных войск, навеки пришибленных хрущевской демобилизацией, ссыпал в реквизитный цилиндр очередную выручку в купюрах достоинством не более полусотни и, запустив туда натренированным еще с курсантских времен жестом свою волосатую длань, обводил актерскую братию тоскующими с похмелья глазами: «Кому?». После чего главреж Романовский, полная, почти цирковая противоположность Кнышу — профессорское пенсне на остром, всегда вызывающе вздернутом к собеседнику профиле, — принимался поочередно выкликать фамилии, в строгом соответствии со штатным расписанием или близостью к нему — главрежу Романовскому — лично. Остатки и, разумеется, в более крупных ассигнациях шеф с мэтром по-братски делили между собой. «Все поровну, все справедливо», как впоследствии говаривал раздутый буржуазной пропагандой поэт Булат Окуджава.

Первое, что отмечал здесь свежий посетитель, был легкий, но устойчивый запах отхожего места, слегка перебиваемый горечью гашеной хлорки и пряным настоем застоялого буфета: увы, эпохальные преобразования, явившие благодарному человечеству облик нового мира, к сожалению и, конечно же, только по недосмотру местных властей, не повлияли на улучшение системы местной канализации, которая

так и осталась в городе на уровне примитивного феодализма.

Однажды случайно завернув сюда, Влад уже до седых волос не смог избыть этой удушливой смеси, навсегда отныне осевшей в нем, как знак и зов провинциальной Мельпомены. И не только провинциальной. Когда через несколько лет капризная авторская судьба вынесет его после шумной премьеры кланяться на столичные подмостки, к нему сквозь рукоплескания и спертую духоту зрительного зала пробьется из далекого далека тот въедливый запах, с которого началось его знакомство с театральной изнанкой. Привкус первой любви, как известно, неистребим.

Уже в первое посещение Романовский, едва услышав фамилию гостя, требовательно уперся в него острым профилем и засверкал перед ним мутными стеклышками, зачастил телеграфной скороговоркой:

— Самсонов. Поэт. Журналист. Писатель. Наслышан. Возникает вопрос, где пьеса? Театр ждет современной темы. Читали вчерашнюю передовую в «Советской культуре»? Нашему зрителю нужен пример для подражания. В следующий раз жду вас с пьесой. Герои живут среди нас. Слушайте. Наблюдайте. Только помните, что подлинный соцреализм не в том, что есть, а в том, что должно быть. Улавливаете мысль? — И сразу, без перехода: — Триппером болели? — С видимым удовлетворением от замешательства гостя, он пренебрежительно пожал плечами и устремился дальше, бросив на прощанье через плечо: — Поэт. И не болел триппером. Удивительно!

С восхищением глядя тому вслед, Поддубный легонько подтолкнул Влада локтем в бок:

— Матерый человечье, а? Потрясающее видение материала, чутье, как у Моцарта, вы ему понравились, Владислав Алексеич, о триппере он не у всякого спросит, значит, выделил, творческая, так сказать, провокация. — И сразу же просиял к нему всем лицом, тре-

бовательно вцепившись в его пиджачную пуговицу: — Давайте пьесу, Владислав Алексеич, могу даже сюжетец предложить, уверяю вас, пальчики оближете...

С этим Влад и ушел тогда из театра, а к вечеру того же дня, в редких промежутках между разговорами и выпивкой, у него в голове сложилось довольно сносное действо о некоем блудном сыне, который после пятнадцати лет безвестного отсутствия возвращается к овдовевшему за это время отцу, профессору-атомщику, занятому сверхсекретными изысканиями. Затем, в лучших традициях советской драматургии, блудный сын оказывается сукиным сыном, завербованным иностранной разведкой на почве морального разложения специально для того, чтобы выкрасть у любящего родителя, а заодно и у родимой страны тайные документы оборонного значения. В общем, все складывалось, как в хорошей сказке: чем дальше, тем страшнее.

По всем правилам заданной игры в пьесе фигурировала жена-отроковица из породы искательниц профессорских наследств, старая нянька, так сказать, глас народа, битком набитая трухой истертых поговорок, и талантливый аспирант, он же проницательный чекист, зорко охраняющий мир во всем мире. С активной помощью двух последних, то есть гласа народа и его карающего меча, коварный враг в конце концов обезвреживается, хищная отроковица духовно возрождается, отправляясь закалять вновь обретенное мировоззрение на казахскую целину, а окончательно прозревший ученый в финале выходит на авансцену с вдохновенным взглядом, устремленным в атомные дали человечества. Наш паровоз, вперед лети, в коммуне остановка!

Владу уже не забыть той давней недели горячечной гонки, в которой дни и ночи сливались в сплошной калейдоскоп лиц, сцен, пейзажей, сменявших друг друга на чистом листе бумаги. В сравнении с этой

азартной игрой в словесные поддавки проза окружающего выглядела материей, не достойной усилий духа и игры воображения, как сало на крючке кажется всякой мыши важнее и увлекательнее изучения самой мышеловки. К тому же, ощущение авторской сопричастности к сферам, где, может быть, решаются судьбы государств и народов, облегчало ему переговоры с собственной совестью. Так что у возвышавшего его обмана имелись и более реалистические мотивы.

После нескольких дней томительного ожидания вездесущий Пал Палыч внезапно настиг его где-то на полпути от редакции к дяде Саше:

— Вас ждут, Владислав Алексеич, ни пуха вам ни пера, но, судя по всему, будем репетировать. — Не в состоянии сдержать своего воодушевления, он мельтешил перед Владом, сиял, захлебывался в словах. — Я же говорил вам, что вы ему понравились, он сразу нашупал в вас театральную жилку, недаром он тогда о триппере с вами заговорил, по Фрейду работает, вам, может, покажется — пустяк, случайность, каприз гения, а в результате у нас в портфеле современная пьеса местного автора, теперь ему «заслуженного деятеля» на блюдечке поднесут, помяните мое слово, Владислав Алексеич!..

Романовский встретил его все с той же телеграфной безапелляционностью:

— Вы не Шекспир. И даже не Корнейчук. Но в вас что-то есть. Пьеса состоялась. Будем ставить. Но придется поработать, молодой человек. Искусство — это пот. Прежде всего, хотя не всякий. Лошадь тоже потеет. Что толку. Творцы должны потеть половыми железами. Кстати, как у вас в этом отношении? — Тут он брезгливо поморщился. — Судя по пьесе, вяло. Постарайтесь наверстать в процессе репетиций. Читка — в следующий понедельник. В одиннадцать. Прошу без опозданий. У меня театр начинается с виселицы. Салют...

Главреж резко повернулся к гостю профилем и, словно древесный лист, ребром по ветру понесся в полутьму фойе почти без шума и не отбрасывая от себя тени...

Приходилось Владу читать свои пьесы и после того, и на трупках куда погуще и посановнее, но эта первая его читка так и останется той единственной, о какой ему вообще захочется когда-нибудь вспоминать.

До понедельника Влад ходил сам не свой, даже пить бросил от волнения, в назначенный день встал спозаранку, бесцельно кружил по окраинам в ожидании урочного часа, в волнении же растерялся во времени, поэтому, когда он, вконец растерянный, добрался до места, все уже были в сборе.

Вступительное слово Романовского сразу определило уровень и заинтересованность собравшихся:

— Есть пьеса. Автор перед вами. Будем ставить. Прошу прослушать. Мнение высказывать не обязательно. Все равно ничего умного не придумаете. Людмила Сергеевна, рукодельем будете баловаться в кружке «Умелые руки»! Занятия по воскресеньям от пяти до семи. Ведищев, порядочные алкоголики к одиннадцати утра успевают не только похмелиться, но и протрезветь! Анна Ванна, Густав Саныч, может быть, вы отложите свою бухгалтерию до перерыва? Считать следует до базара, а не после. — И вдруг вскидываясь на шум в глубине сцены: — Что еще там за трудовой энтузиазм в бардаке? Заваливайтесь-ка снова спать. Сон пожарника — лучшая гарантия безопасности. Итак. Начинаем. Внимание. — Стеклышки его пенсне, описав пикирующую дугу над головами слушателей, требовательно уперлись в гостя. — Прошу вас, дорогой мэтр!

Опомнился Влад только в перерыве, зажатый в угол социальным героем Ведищевым:

— Старик, это гениально! — Актер стиснул руку Влада, источая ему в лицо аромат ранней похмелки. — Какая экспрессия, какие типажи, прямо горьковский размах, удружил, брат, я тебе такие красочки к образу подкину, зритель под себя кипятком писать будет. Давай, знаешь, подпустим чего-нибудь эдакого, лирического, вроде «На заре ты ее не буди», а? Понимаешь, брат, выхожу это я у тебя в конце первого акта, натурально «подшофе», соображай, человек переживает, сажусь, понимаешь, за рояль, если у тебя нету, надо поставить, и так меланхолическим манером начинаю напевать, будто размышляю вслух, — у героя неожиданно оказался довольно приятный тенорок: — «На заре-е-е ты ея-я-я не-е-е буди, на заре-е-е она са-а-ладко-о так спит...». Ух, сыграю!

За Ведищевым последовал «заслуженный артист» Лялечкин, недавно сменивший трагическое амплуа на роли «отцов благородных семейств». Он отчаянно шепелявил, что в его новом качестве только придавало ему убедительности:

— У ваш, батенька, актерские данные, хоть шегоня на шцену, но шледует поработать над дикшией. С дикшией у ваш слабовато, ешли надумаете, я могу ш вами пожаниматьша. Дикшия в нашем деле — вше. — Он заговорщицки потянулся к уху Влада, отчего дряблая шея его напряглась и слегка побагровела. — Я вашего профешора шыграл бы, у меня появилишь мышли по роли, хотелошь бы многое обшудить ш вами, но, ражумеетша, в более творшешкой обштановке. Жена будет вешьма рада...

Влад беспомощно улыбался, одобрительно кивал, благодарно пожимал руки, в панике отмечая, что очередь объясняться ему в любви не редет, а разрастается, и начал было терять всякую надежду вырваться, но положение спас директор театра Кныш. Бесцеремонно растолкав цепь вокруг гостя, он брезгливо, словно пыльную портьеру, отодвинул Лялечкина в сторону:

— Ладно, батя, будя, закругляйся, тебя вже со стула ложками вычерпывать надо, у нас на тебя вже боле года пенсионное дело закрыто, а ты опять людам глаза мозолить собрался, об ролях хлопочешь. — Шефа заметно развозило, поэтому он старался как можно устойчивее расставлять ноги, отчего его и без того приземистая фигура казалась почти квадратной. — Слухай сюда, Самсонов. Нехай их языками чешут, а ты айда ко мне, я с тобой в момент договор по всей форме составлю, зараз и подпишем, не отходя от кассы, как говорится...

Разумеется, прения высоких договаривающихся сторон, как и следовало ожидать, были продолжены в подвале у дяди Саши, откуда после закрытия они, нагруженные изрядным запасом спиртного и в сопровождении наиболее стойких собутыльников, вернулись в ночной театр, где гульба по случаю приобщения неофита к тайнам сценического искусства продолжалась чуть не до третьих петухов.

Где-то за гранью, которая отделяет рядовую пьянку от вакханалии, Ведищев, взгромоздившись на директорский стол, принялся изображать «стриптиз в Париже» (где он, конечно, отродясь не был), потерявший память Епанешников поочередно требовал от каждого ответа на вопрос, как его зовут и где он находится, а ногойский классик Абдулжалилов, благополучно пребывавший в начатом им еще полгода тому запое, по-собачьи вперялся угольным взглядом в распаренное лицо Кныша и заученно повторял время от времени: «Так точно, гражданин следовательно!»

Но бывший десантник, грузно расплываясь за столом, не обращал никакого внимания на происходящее, глушил стакан за стаканом, а в коротких промежутках между выпивкой восторженно ревел в раскрытые настежь двери, в темноту фойе:

— Бросай яйца на сковородку, глаза сами вылезут!
И плакал навзрыд от расправившего его восхищения.

Часто потом, на куда более крутых виражах судьбы, он задавался вопросом, кем и за что была от рождения дарована ему — нищему наследнику московской окраины — способность падать и подниматься вновь, цепко карабкаясь по отвесной спирали жизни, много раз соскальзывая вниз и снова начиная с нуля, чтобы подняться еще раз, уже витком выше к неведомой никому цели? Кто ответит?

Как-то в Германии, в гостях у принца Луи-Фердинанда, он, расчувствовавшись после нескольких кружек баварского, пооткровенничал с хозяином:

— Вот, Ваше Высочество, какие фокусы выделывает с нами история: вы, принц крови, потенциальный кайзер великого государства, встречаетесь за пивом с внуком русского крестьянина, простого хлебопашца.

Тот — высокий и крепкий еще старик с апоплексическим лицом старательно пьющего интеллигента, — лишь добродушно хохотнул в ответ и дружески похлопал гостя по плечу:

— Пусть вас это не беспокоит, мой дорогой друг, все мы с этого начинали. Ваше здоровье!..

Может, это и есть ответ? Господи, как поздно мы начинаем о чем-то догадываться!

Слух об этой читке на трупке вызвал в редакционных кругах некоторое замешательство и даже, в известном смысле, переполох. Влад по простоте душевной и предположить не мог, сколько уязвленных самолюбий, нереализованных амбиций и скрытых комплексов разбередит он своим микроскопическим успехом! Издательское крыло Дома Советов шур-

шало, словно растревоженный муравейник: как, почему, по какому праву, кто он такой, без году неделя в здешней литературе, не по чину, не по рангу, не по заслугам, и вообще надо проверить, что за птица, откуда взялся и чем дышит?

Заведующий промышленным отделом областной газеты Кунов — лысеющий карлик с вывернутыми чуть не наизнанку ноздрями, маститый, но так и не признанный драматург местного масштаба — на другой день после случившегося затащил Влада к себе в кабинет и, возбужденно бегая из угла в угол, с детской откровенностью обнажил перед ним свою израненную душу:

— Годами бьюсь головой об стену, забыл, когда в последний раз выпался, отбарабаню дневную лямку и — за стол, на одном кофе, как Бальзак, держусь, а его — это кофе — еще достать нужно, благо я на промышленности сижу, связи есть, а то бы совсем загнулся, только в этом году шестую пьесу заканчиваю и все на самые жгучие темы сегодняшнего дня — укрупнение колхозов, молодежь на производстве, целина, эх, да что там говорить, без дураков будет сказано, стою на переднем крае, как солдат по зову партии, а ты не успел с поезда сойти и, здрасте-пожалста, уже репетиции. — Гневный взор его заволокло слезами, подбородок предательски задрожал, а из вывернутых почти наизнанку ноздрей, казалось, вот-вот полыхнет серное пламя. — Нехорошо, брат, нехорошо!

Эх, Кунов, Кунов, жалкая жертва неблагодарной Мельпомены, не помогут тебе твои бдения, актуальность тематики и верность партийным постановлениям, а непомерное для твоего больного сердца количество кофе раньше времени сведет тебя в гроб, так и не дав тебе вкусить сладкой отравы театральных оваций! Через несколько лет, завернув по старой памяти в эту чиновничью тмутаракань, Влад наткнется на городском кладбище на мраморную плиту его мо-

гилы с надписью от безутешной вдовы: «Какой светильник разума угас!» Как видите, хотя и посмертно, но признание коснулось покойного своим волшебным крылом. Мир праху его!

Майданский приветливо померцал навстречу Владу печальными глазами, озабоченно осведомился:

— Аванс дали? Нет еще? В нашем деле написать это пара пустяков, напечатать еще легче, ты попробуй за это деньги получить. Тем более, в театре. Там, я слышал, закон джунглей: кто — кого, ты умри сегодня, я — завтра, кто был ничем, тот станет всем. — По обыкновению, массивное лицо его оставалось непроницаемым, и не понять было, шутит он или говорит всерьез. — Бери их за горло, дружище, они на ходу подметки рвут,хватишься — поздно будет.

Как всегда, из соседней комнаты на голоса выплыл Епанешников и сразу же ослабился, благоухая похмельным амбре:

— А, Шекспир Чехович, поздравляю, с утра ждем с нетерпением, с вас причитается, душа горит, и сердце, извините за выражение, песен просит. — Он деловито повернулся к ответсекретарю. — Даня, я с тобой в расчете, в наборе триста строк как одна копейка, моя совесть чиста, как слеза ребенка. Тебе тоже, кстати, не мешало бы пробздеться, дорогой, делу — время, потехе — вечность, айда с нами, мэтр угощает...

У дяди Саши компанию уже ждали, как званых гостей. Едва завидев их, хозяин молча выставил на прилавок две литровых бутылки мускателя и царственно отмахнулся от протянутых ему купюр:

— Сегодня — даром.

Тосты потянулись вереницей, взаимопонимание нарастало по мере выпитого, каждый говорил с каждым и одновременно со всеми вместе, не слыша и не воспринимая один другого, да и не нуждаясь в этом. В общем гвалте заметно выделялся лишь хорошо поставленный баритон Ведищева:

— Искусство призвано возвышать, человек в театре должен забыть о личном и приобщиться к вечному. Мелочи жизни могут волновать только обывателей, тех самых гагар, которым недоступно, ибо рожденные ползать, как говорил поэт, летать не могут. Великая мысль, я вам должен сказать, даже для ученых. Красота, кто-то тоже написал, мир спасет, так сказать, красота искусства. Современный человек смотрит вперед, а не назад. У меня, может, тоже жена лесбиянка, я не жалею, не базарю на всех перекрестках: ратуйте, добрые люди! Мы, если по большому счету, эпоху на себе тащим. Куда, спрашиваешь? А куда притащим, там и останется. Наливай...

Очнулся Влад в незнакомой, полуосвещенной ночником комнате. Предельным усилием памяти он попытался было восстановить цепь событий минувшего дня, и что-то забрезжило уже, но тут же, будто спасительный ориентир во тьме, над ним возник голос Майданского:

— Чаю или похмелиться?

— Если не трудно, и то, и другое, только в обратной очередности. — Цепь смыкалась, возвращая его к действительности. — Сколько сейчас?

— Ночь. Третий час.

— Чего не спишь?

— Жена у хахаля, дети у бабки, такая жизнь.

— У всех одинаковая, шеф.

— Если бы.

— Чего так?

— Тебе это трудно понять.

— Почему?

— Ты русский, а я — еврей, и этим все сказано.

— Я — русский, но ты — еврей — мое прямое начальство.

— Все верно, но если бы ты был на моем месте, тебе бы это меньше стоило, намного меньше, вот в чем разница.

— Где же выход?

— Выход есть, только у этого выхода много часовых во главе со Змеем-Горынычем. Помнишь, как в детской сказке говорится: «направо пойдешь, налево пойдешь» и так далее. — Мерцающие глаза его вдруг озорно засветились. — Хочешь байку на эту тему? Славная байка.

— Валяй, шеф...

ВЕЧНЫЙ ЖИД В СТРАНЕ СОВЕТОВ

Жил-был, извини, так всегда начинается, один бедный еврей. Действительно бедный, потому что среди бедных евреев есть очень богатые люди. Жил он где-то между Бердянском и Пятихатками, в коммунальной квартире со своей женой, предположим, Розой и целым выводком детей, мал мала меньше. Сам понимаешь, жизнь его была полна неприятностей и долгов, а будущее не сулило ему ни повышения зарплаты, ни, тем более, выигрыша в лотерее. Как ты уже догадываешься, целыми днями в его доме стоял крик и причитания затурканной жены. От всего этого домашнего бедлама, а также от жизненных невзгод и безденежья, у нашего Гриши, давай назовем его так, хотя он вполне мог бы называться и Мишей, и Тишей, и вообще как нам и ему вздумается, отчаянно болела голова, а душа разрывалась от жалости, и печали, и невозможности что-либо поправить. Год был похож на год, день на день и час на час, как, извини, однойцевые близнецы; по мере увеличения платы за электричество рождались новые дети, долги росли в обратной пропорции к доходам, наш Гриша безнадежно старел, и Роза, само собой, не становилась с годами красивее или добрее. Что же, согласишься, остается делать человеку в его положении, если не мечтать? И он, бедолага, мечтал, упиваясь своими мечта-

ми, как алкаш водярой или наркоман анашой. Правда, при этом Грише приходилось еще немножко и шить, чтобы прокормить свою ораву, но, тем не менее, и во время работы он не переставал отдаваться сладким мечтам, которые скрашивали его каторжную жизнь. Ему доставляло наслаждение постоянно находиться в том волшебном мире, где не оставалось места для мирской суеты и грубой прозы. В разгоряченной голове Гриши роились такие манящие видения, что возвращаться к пошлой действительности было бы с его стороны по крайней мере глупо. В мечтах он путешествовал по городам и весям экзотических стран, пересекал солнечные моря и океаны, изнывал от зноя в Сахаре и трясся от холода на Южном полюсе. В окружении красивых женщин он пил прохладное вино в притонах Сан-Франциско и делал крупные ставки в казино на Лазурном Берегу. В часы самопознания Гриша обсуждал вопросы жизни и смерти с Главным раввином, Папой Римским, Вселенским патриархом, индусскими браминами и другими заинтересованными лицами. Гриша поднимался в небеса и опускался на дно морское на пару с самим Жаком Кусто. Когда ему надоедало быть Гришей, он становился то белым Вальтером или Франсуа, то черным Боа Тумбой, то желтым Чаном, а то и гостем с «летающей тарелки» безо всякого цвета и имени. По малейшему Гришину капризу мир в его воображении принимал самые причудливые формы и очертания. Так и пребывал наш Гриша, или Миша, или Тиша под этим кайфом до поры до времени, до той самой поры, пока его, как говорится, жареный петух не клюнул в задницу, то есть когда жить стало совсем нечем. Огляделся он тогда и увидел вокруг себя тлен и запустение, нищету нищенскую, голь перекатную, кучу вечно голодных детей, давно немолодую жену, и сердце его возрпало к Всевышнему: «Неужели, Господи, такое мое сиротское счастье, что суждено мне околевать в этой

окаянной дыре?» От одной этой мысли Гриша уже готов был впасть в окончательное уныние, но отчаяние неожиданно вызвало в нем благородный протест: «Нет, — сказал он себе, — ни за что, никогда, ни за какие коврижки я не останусь здесь ни одного дня больше. Уйду, уйду, куда глаза глядят, лучше уж сдохнуть в дороге, чем в этой коммуналке!» Сказано — сделано. Спозаранку, чтобы не дай Бог не разбудить домашних или соседей, он поднялся, сложил в авоську кусок черного хлеба, луковицу, тряпочку с солью — больше, собственно, и складывать было нечего — и потихоньку вышел из дому. Дорогу, как сказано, осилит идущий. Шел он себе по этой самой дороге и радовался: солнышко светило, травка шелестела, птички верещали, всякая ползучая и прыгучая мелюзга под ногами путалась, живи — не хочу. «Господи, — радовался про себя Гриша, — как же это я до сих пор сидел, ушами хлопал, когда кругом благодать такая, сколько лет потерял!» К вечеру он подустал и решил закусить, чем Бог послал, а затем соснуть для пущей бодрости духа. Присмотрел стожок при дороге, устроился, насытился слегка своей нехитрой снедью и прилег на чем сидел, а во сне, известное дело, перевернулся на другой бок, чего утром сам не заметил, пошел себе дальше, не замечая, что возвращается обратно. То же солнышко светило, та же травка поигрывала, та же мелюзга под ногами суежилась, но, что еще чуднее, дома, что встречались ему на пути, как две капли воды походили на вчерашние. И даже городишко на горизонте подозрительно смахивал на тот, из которого Гриша вчера ушел. «Надо же, — удивился путешественник, — куда ни ходи, все одно и то же, чего было только ноги бить!». Идет дальше, входит в город, смотрит, и впрямь, как в зеркале, — его местечко, а скоро и дом перед ним вырос — точь-в-точь его коммуналка. Навстречу ребятки высыпали — точь-в-точь его собственные, да

еще кричат: «Папка, папка, где ты был так долго, мамка уже и сапоги твои выходные продала!» За ребятами — женщина — копия его Розы: «Где ты шляешься, горе мое, — запричитала она, завидев Гришу, — мне не на что купить даже картошки!» И тут Гриша, или Тиша, или Миша окончательно капитулировал: «Стоило мне пускаться в такую даль, чтобы нарваться на то же самое? Дудки, с меня хватит, от добра добра не ищут, останусь-ка я здесь, а то еще помрешь в дороге, похоронить будет некому!» И Гриша остался в этом доме, и прожил в нем до глубокой старости, и, можешь мне верить, можешь нет, но всю остальную часть жизни он тосковал по родине. Мораль, если хочешь, проста, как апельсин: в наше сугубо интернациональное время, тем более в нашей, лишенной расовых предрассудков стране, Вечный Жид уже не шляется по свету в поисках родины, а лишь тоскует по ней. Вот и все. Теперь ты можешь спать.

— Нет, шеф, я, пожалуй, пойду.

— Среди ночи?

— Не заблужусь. А за байку спасибо, на всякий случай запомню.

— Носи на здоровье, Самсонов, как говорится, прочитал сам, передай товарищу.

— У меня не задержится. До утра, шеф.

— Как хочешь, не держу, не маленький — без нянек обойдешься.

Провожая гостя до двери, хозяин искоса посвечивал в его сторону искательным взглядом, словно ожидая от него какого-то последнего, решающего слова, которое бы окончательно определило степень и прочность их отношений в будущем, но тот не откликнулся, и они расстались молча.

Влад нырнул в ночь, как в стоячую воду, и поплыл сквозь нее без направления и цели. Город спал, застегнувшись на все крючки и запоры, — тесный, приземистый, скрытный, равнодушный ко всему, что

происходило за его пределами и вне его интересов. И если среди этой карточной россыпи глухих ставен где-то маячило светящееся пятно, можно было с уверенностью определить: или милиция, или госбезопасность, или, в лучшем случае, сторожевой пост складского помещения. «И куда ни пойдешь, — не выходила у него из головы байка Майданского, — везде одно и то же, не страна, а — загон».

12

Та ночь через много лет всплыла в его памяти, но уже в другой стране и при иных обстоятельствах...

Они сидели у камелька в загородном доме под Гамбургом, где хозяин, обременительно богатый и все издевавший за свои неполные семьдесят немец, печально глядя в затухающий огонь, рассказывал Владу долгую историю своей жизни, прожив которую, он наблюдал теперь как бы со стороны.

Господь, казалось, одарил его всем — здоровьем, деньгами, славой, любящей женой и красивыми детьми, но лишил главного — покоя. Того покоя, когда человек может поздним вечером безбоязненно лечь в собственную постель, чтобы утром спокойно проснуться для обычных дневных забот и волнений. К примеру, выйти из дому, заняться любимым делом, а после работы заглянуть к родственникам или знакомым, перекинуться словом с соседом или лавочником, посидеть в ближайшем баре за кружкой пива или отправиться с женой в театр. Да мало ли что может захотеться человеку, если он свободен, живет на своей земле, в поте лица зарабатывает свой хлеб, а совесть его чиста и помыслы безмятежны.

Но дав ему все, Бог обошел его этими маленькими радостями, без которых жизнь человеческая

оскудевает, словно морская вода, прошедшая сквозь опреснитель. Лучшие годы он прожил и продолжал жить дальше в, может быть, сладком, но, без сомнения, удушающем аду.

Его обкладывали, как зверя, — методично и мстительно, не давая ни отдыха, ни передышки. Ложась спать, он не был убежден, проснется ли живым, а просыпаясь утром, сомневался, дадут ли ему дожить до вечера. Он мог выбраться из дому только в сопровождении наемных «горилл» или под конвоем частной полиции. Когда он приезжал на работу или к родственникам, цепь вооруженной охраны разворачивалась в радиусе чуть ли не целого квартала. Театральное действие ему приходилось разглядывать из-за частокола полицейских затылков, а о том, чтобы запросто посидеть в пивном баре, не могло быть и речи, ибо в таком случае для обычных посетителей просто не осталось бы места.

Этого человека ненавидели за все, чем одарил его Бог, но кроме прочего и за то, что, имея столько, он еще и позволял себе говорить людям правду. Такой роскоши общество по своей человеческой слабости не прощает никому, тем более богачу, и оно мстило ему за эту роскошь со сладострастием оскорбленной кошки.

А он, считая богатство даром свыше, щедро раздавал деньги, не заглядывая в душу или послужные списки просителей. Разорившиеся дельцы и соломенные вдовы, инвалиды и пионеры-кибуцники, эмигранты со всех концов света и политические неудачники, включая беглых коммунистов, тоскующих по социализму «с человеческим лицом», — никто из них не получал у него отказа в утешении или помощи. Но чем шире открывались его карманы и сердце для всех страждущих и промышляющих, тем яростнее накалялась вокруг него стена злобы и непонимания: бочка людской зависти, как известно, бездонна...

Камин угасал, пугливыми тенями растекаясь по стенам и предметам. В наплывающих сумерках лицо хозяина тускнело, отдалялось, меркло, оставляя гостя наедине с отрешенно звучащим голосом:

— О если бы вы знали, Владислав, во что превратилась Германия сразу же после этой злосчастной войны! Города лежали в руинах, а в наших деревнях поля зарастали сорной травой. Миллионы немцев бродили по развалинам в поисках еды и топлива, стараясь не вспоминать о прошлом, но и не думая о будущем. Казалось, что эта страшная расплата за наши грехи будет продолжаться вечно. Я был тогда еще вполне молодым человеком, но если вы спросите меня, о чем я мечтал в те дни, я мог бы вам ответить, что почти ни о чем определенном. В те поры, помнится, меня преследовало одно и то же видение: ночной лес, и я иду сквозь него, а где-то впереди мерцает огонек одинокой сторожки, где, как мне грезится, меня ждут и где я найду, наконец, приют и надежду. Иногда по ночам мне это грезится и теперь. С вами случалось что-либо похожее, Владислав?..

Гость не решился сказать хозяину в тот сумеречный вечер, что в стране, где он вырос, и в тех лесах, через которые ему пришлось ходить, огонек впереди почти всегда сулил лишь опасность или полную гибель и что, едва завидя такой огонек, Влад бежал от него, как от чумы или пущей напасти. В наши чудные времена даже пословицы сами выворачиваются наизнанку: что немцу здорово, то русскому — смерть!

Перед самой премьерой Влада вызвали в обком партии. Предупредительность, с какой гостя встретила секретарша в отделе пропаганды, обнадеживала, но, попривыкнув за годы толчеи в служебных кулу-

арах к ветреной изменчивости руководящих капризов, радоваться он не спешил. Кроме того, жизнь давно научила его золотому правилу всегда готовиться к худшему, чтобы потом не разочаровываться. Как говорится, уж не жду от жизни ничего я.

— Заходи, заходи, именинник, — заводит делом Сладков даже поднялся и вырулил ему навстречу, чего раньше еще не бывало, — говорят, головокружение от успехов наблюдается, зазнался, нет времени к старшим товарищам зайти, посоветоваться! — Добродушное, слегка бабье лицо его улыбочиво растекалось, белесые глазки в частых складках анемичной кожи светились покровительственным расположением. — Как от милиции выручать, так к Алексей Федорычу, а как по душам поговорить, так к дяде Саше, вот она, людская благодарность!

— Я уж и дорогу туда забыл, Алексей Федорыч, — облегчаясь сердцем, пробовал отшутиться Влад, — вкуса не помню.

— Говори, говори, — беззвучно заколыхался тот, — думаешь, ты один такой умный, мы тоже не лыком шиты, у нас разведка работает, как часы. Ты, Самсонов, уже сегодня туда заглядывал, могу даже сказать, чего выпил и сколько. — Сладков прицелился в собеседника смеющимся взглядом, явно собираясь сразить его степенью своей осведомленности. — Двести «мускателя» и столько же «изабеллы», итого — два стакана. Правильно?

Влада так и подмывало озорное желание осадить зава, посрамив его вездесущую разведку сообщением, что сегодня он выпил уже не два, а четыре стакана, но на всякий случай поостерегся, как бы его хохма не обернулась себе дороже, предпочел сдаться:

— Ваша взяла.

— То-то, — самодовольно откинулся тот на спинку кресла, — родина видит, родина знает. Ладно, шутки в сторону. В одиннадцать ноль-ноль тебя примет

Василий Никифорович. Не подкачай, у него, по-моему, на тебя виды, поменьше разговаривай, побольше слушай, от молчания еще никто не умирал, фантазии свои оставь при себе, не забывай, что разговариваешь с первым секретарем областного комитета партии, это я тебе, как отец, говорю. Понял? Тогда пошли...

Тесна земля, Алексей Федорович, тесна земля: через несколько быстротекущих лет судьба снова сведет вас в другом российском захолустье — в Калуге, где после разных ведомственных превратностей ты осядешь директором областного издательства и однажды, выпустив на свою голову в свет скандальный сборник, плод любви несчастной дружины непризнанных гениев столичной литературы, поднятый затем на щит реакционными кругами догнивающего (но до сих пор почему-то все еще не догнившего) Запада, подпишешь окончательный приговор своей несостоявшейся номенклатурной карьере. Так проходит земная слава!..

Расстояние из одного крыла здания в другое — противоположное — было подобно сужающемуся тоннелю: по мере хода шаги становились тише, голоса приглушеннее, освещение сумрачней. Там царь-Кашей, там златом пахнет, русалка на ветвях сидит.

Русалка и впрямь выплыла им навстречу, едва они появились в приемной первого секретаря:

— Здравствуйте, товарищи, — открывая перед ними дверь в тамбур кабинета, она вильнула перед ними хвостом серебристого платья, — Василий Никифорович вас ждет.

Под ее волоокиим взглядом и подхваченной волной исходящих от нее русалочьих запахов, Влад и скользнул следом за Сладковым в открытую настежь дверь, одобрительно отметив про себя, что вкус у начальства по этой части, видимо, имеется.

Размеры кабинета, как, впрочем, все присутственные места в городе, находились в обратной пропор-

ции к более чем скромной областной территории, состоявшей из трех крошечных районов, что, тем не менее, не умаляло патриотических амбиций местной администрации. В самой его глубине, на дистанции достаточной, чтобы всяк сюда входящий сразу почувствовал разницу между собой и государством в лице очередного хозяина, располагалось нечто похожее на станок для настольного тенниса, за которым восседал (именно восседал, а не сидел) как бы в некоей туманной дали вождь области Василий Никифорович Фирсов — роговые очки на бульдожьих расплюснутом носу, короткая, в бульдожьих же складках шея, женоподобный бюст под чесучевым кителем — сосредоточенно углубленный в изучение разложенных перед ним и, судя по его сосредоточенности, весьма важных бумаг.

Выждав паузу, в течение которой, в строгом соответствии с общепринятой традицией, приглашенные должны были успеть оценить значительность оказанной им чести, Фирсов наконец поднял от бумаг лобастую голову, отрешенным взором скользнул по вошедшим и жестко уперся во Влада:

— Не по таланту пьете, товарищ Самсонов, — он решительно захлопнул папку перед собой, слегка придавив ее тяжелой ладонью, — да, да, не по таланту. Не знаю, как там у вас с книгой стихов, а вот книгу протоколов, — указательный палец его постучал по папке, — хоть сейчас в печать, тут все ваши художества в милицейском стиле изложены, лучше некуда, кому другому с такой творческой натурой сидеть бы уже не пересидеть. Да вот и у товарищей из комитета, — кивок куда-то в угол от себя, — на вас материалов больше, чем достаточно...

Только тут оторопевший от такого начала Влад выделил для себя цыганистого обличья полковника, безучастно маячившего в простенке между дальних от двери окон. Полковник сидел там на краешке стула,

положа руки на колени, с одобрением кивал в такт хозяйской речи, но голоса не подавал в ожидании знака или очереди. Казалось, они разыгрывают сейчас здесь какой-то заранее отрепетированный спектакль. «Чего-то затевают — пронеслось в нем, — неспроста это».

А вслух сложилось:

— Вам виднее, только...

— Ладно, — не дал ему договорить Фирсов, видно удовлетворенный его первым замешательством, — садитесь, разговаривать будем. — Зайчики его очков снова скользнули в сторону полковника. — Давай-ка, подсаживайся поближе, Иван Григорьевич, вместе посоветуемся, как парню жить-быть дальше, у тебя опыт, дай Бог всякому, пускай парень послушает. — Выждав, пока тот подсаживался, он опять подступил к Владу. — Мы тут обменялись на бюро, есть мнение двигать молодежь на руководящую работу. Пора тебе, товарищ Самсонов, за ум браться, — незаметно переходя на «ты», он этим как бы уже приобщал собеседника к ордену, сонму избранных, тайная тайных общества, что, наверное, по его мнению, тот обязан был оценить и принять к руководству, — погулял, покуражился и довольно. Думаем выдвинуть тебя заведующим лекторской группой обкома комсомола. — И пристально проник в него, словно бы оценивая произведенное впечатление. — Пойдешь?

— Только я ведь не комсомолец, — откровенность приманки располагала его к осторожности, — не вступал еще.

— Это не твоя забота. — Он коротко переглянулся с полковником, лицевые складки его тронуло нечто вроде улыбки. — Как это там в твоей епархии говорят, Иван Григорьевич, было бы дело, человек найдется? Так что ли, Иван Григорьевич? — Женоподобный бюст Фирсова беззвучно заколыхался, колыхание это, наподобие морской волны, тут же передалось собеседни-

кам, и те, в свою очередь, заколыхались вместе с ним, объединенные в этот момент дареным только им, избранным, взаимопониманием. — Справишься, поддержим, дальше пойдешь, если что, посоветоваться надо, не стесняйся, заходи, меня нет — к Алексей Федорычу, к Ивану Григорычу тоже не мешает почаще заглядывать. На этом, думаю, — выразительно блеснув очками в сторону полковника, он снова постучал указательным пальцем по крышке папки, — пока поставим точку, но не совсем, забудешь — освежим в памяти, приведем в чувство. Понял? Лады. Твое мнение, Алексей Федорыч?..

Влад ликующе вибрировал: Фортуна во весь горизонт распушила перед ним свой радужный хвост. Золотая труба удачи выводила у него в голове солнечные мелодии. Ковровая дорожка в кабинете, ведущая от стола к двери, виделась ему сейчас лишь началом того победного пути, продолжение и конец которого терялись где-то в заоблачной дымке: лови момент, малыш, не упускай случая, снова живем! И хотя наличие коварной папочки под тяжелой ладонью областного вождя омрачало полную безмятежность предстоящего взлета, жизнь в перспективе сулила с лихвой возместить эту досадную издержку роста. Нам нет преград на море и на суше!..

Прощаясь, вождь поднялся, что само по себе уже было большой честью для всякого смертного в пределах этого кабинета, и протянул Владу короткопалую руку:

— В двадцать три года, Самсонов, я еще у станка вкалывал, а ты уже в партийной печати сотрудничаешь, но заруби: кому много дано, с того много и спрашивается, подведешь — на себя пеняй.

И осел на место, сразу же монументально окаменев женоподобной грудью, хоть бери его в портретную раму или бюстгальтеры примеряй: государствен-

ная гора приготовилась встретить очередного изнывающего в приемной Магомета.

Влада всегда озадачивало искусство власть имущих производить на собеседника впечатление значительности и силы. В разговоре с ними ему всегда казалось, что каждый из них знает что-то такое, чего ему, не вхожому в их магический круг, знать не дано и не положено. Он никак не мог взять в толк, как, каким образом, какими средствами достигают они подобного эффекта. Через десять лет случайно на Цветном бульваре в Москве Владу доведется встретить того же Фирсова, и он не найдет в этом жалком пенсионере, доживающем свой век в столичной коммуналке и давно забытом даже собственными детьми, ничего, что напомнило бы ему того монументального владыку, чьего движения бровей было когда-то достаточно, чтобы решить его, Владову, судьбу по своему усмотрению. И только ли одну Владову! Обрадованно узнав бывшего подопечного, тот будет долго обеими руками трясти его руку, заискивающе заглядывать в глаза, зазывать в гости, а в конце концов не выдержав, расплатится у него на плече. (Лишь до крови пообломав бока в сановных коридорах и съев с иными из них не один пуд соли, он с течением времени поймет, что их сила не в них самих, а в мистике той взошедшей на страхе власти, которую они, сидя на своих местах, представляют. Она отражается в них, наполняя их тем иллюзорным, но тем не менее впечатляющим содержанием, какое улетучивается из них, едва в них отпадает нужда. Иди, пали в белый свет как в копеечку!..)

Первый, с кем Влад столкнулся, выходя из обкома, был Епанешников. К Владову удивлению, красочный рассказ о только что случившейся аудиенции не вызвал у того ответного восторга.

— Да, Владислав Алексеич свет Самсонов, — насмешливо пожевал тот губами, — далеко пойдешь,

если тебя белая горячка не остановит. — И вдруг отвердел ликом и уже без обычного своего ерничанья спросил, будто ударил наотмашь: — А зачем?

14

Поклон тебе, Леня, за урок, хотя и не сразу он тогда отрезвел от твоего отпора, долго еще затем продирался сквозь обиду и раздражение на всех и вся, но вскоре опаматовался и, оглядываясь впоследствии назад, не раз мысленно благодарил тебя за науку, которая сгодилась ему и на чужбине, где уже не партийные бонзы советской провинции и не по должности, а вполне респектабельные европейские божки местной интеллектуальной мафии и по искреннему убеждению сулили русскому неопиту золотые горы с кисельными берегами впридачу за ту же, примерно, цену: промолчи, слукавь, не вмешивайся. Только, видно, не в коня корм, глаз у него так устроен, не к синице в руке, а к журавлю в небе тянется.

Поклон тебе еще раз, Леня Епанешников!

15

В день премьеры с утра все в театре ходило ходуном. Кныш, трезвый и принаряженный, с озабоченным видом курсировал в обком и обратно, загадочно поглядывая на всех и усмехаясь. Улучив свободную минуту, он затащил Влада в кабинет и пошел на него полковничьим животом:

— Слухай сюда, Алексеич, ты ишшо под стол пешком ходил, когда я с парашютом на немецкие штыки прыгал, как отец тебе говорю, ты меня хучь сегодня послухай: до вечера ни-ни, ни капли чтобы в рот и не через клизму в задницу. Все будут, вся го-

ловка, на тебя большущий глаз положен, ты теперь, как сапер: чуть в сторону и концы тебе, а если не дурак будешь, сразу — в дамки. Ясна дурьей твоей голове моя диспозиция?

И хотя эта самая «диспозиция» была Владу еще яснее, чем директору, клятвы ему хватило только до встречи с Ведищевым.

— А, именинник, — едва завидев его, заорал тот, — сегодня-то с тебя вдвойне причитается, вся пьеса на мне, хочу — казню, хочу — милую, айда к Сашку, начнем помолясь!

— Да ведь тебе играть!

— Запомни, трезвый я не работаю, трезвый я отдыхаю, хотя, честно тебе сказать, отдыхать мне некогда, себе дороже. — Отрезая ему пути для отступления, тот подталкивал и подталкивал его к выходу. — Понимаешь, — толковал ему актер по дороге, — в трезвой игре огня нет, вдохновения, так сказать, искры природы не чувствуется, сила духа оскудевает. Трезвый творец это бесплодная смоковница, евнух и даже хуже — пидарас вонючий. Помню, как-то принял я восемьсот без закуски перед выходом, вышел, слова, понимаешь, не помню, что играем, между прочим, тоже, но когда дали занавес, зал лежал, а главреж, сука, рот бы я его мотал, руки мне на сцену прибежал целовать, ну, сам понимаешь, я ему так поцеловал промеж рог, что его потом водой отливали, в общем, уволили меня тогда по сорок седьмой ге, без права работать в театре, только в этой тмутаракани и оклемался...

У дяди Саши все раскручивалось, как по заезженной пластинке: конечно же, в темном углу торчали аспидно черные глаза Абдулжалилова, затем появился Епанешников, как чёрт из-под стойки выскочил Пал Палыч, даже неизменные Гашоков с Охтовым наперевес со своими подстрочниками по очереди сменили друг друга у их столика.

Кончилось тем, что на обратной дороге в театр Ведищев во все горло изображал, как он будет сегодня вечером «класть зал» своим исполнением «На заре ты ее не буди», Пал Палыч нежным тенорком подпевал ему, а тянувшийся за ними следом Епанешников нудил у них за спиной:

— Жрецы херовые, не жрецы, а жеребцы, пить да баб харить, вот и все ваше призвание. Нажрались в день премьеры, пижоны вшивые, до вечера не дотянули, теперь на банкете вам даже лимонаду нельзя давать, вы от собственной мочи захмелеете. Боже мой, что за поколение, что за нравы, что за мужские правила, наконец!..

Кныш, выкатившийся им навстречу, даже дар речи потерял, только руками махал перед собой, как бы пытаясь отвести от себя кошмарное наваждение, а случившийся тут же Романовский презрительно вызвился к ним профилем, втянул в себя исходящие от них запахи и презрительно скрестил руки на груди:

— Так. — Сквозь его медальность отчетливо проглядывалось холодное бешенство. — Вы, Ведищев, завтра же увольняетесь без выходного пособия, теперь вам прямая дорога в сельский клуб билетером, больше вы ни на что не способны. — Он клюнул глазом в сторону директора. — До спектакля два часа, срочно тащите этого недоделанного Мочалова в баню, а вы, — это уже касалось Влада, — Шекспир районного масштаба, завтра со мной в обком, единственное, что я мог бы сейчас сделать, это нарвать вам уши.

И здесь Влад почувствовал, как поднимается в нем та темная всеподавляющая ярость, от которой у него всегда, сколько он себя помнил, темнело в глазах и жарко перехватывало дыхание. В такие мгновения он переставал владеть собой, и горе тому, кто тогда вставал у него на пути:

— Слушай ты, областной Станиславский...

Но тот, уже, видно, сообразивший, чем этот разговор может для него кончиться, мгновенно улетучился, бросив на ходу уже откуда-то из глубины фойе:

— Хорошо, поговорим в обкоме...

С этим самым Романом Николаевичем его еще сведет судьба, и не раз, хотя жизнь у них сложится по-разному, тот кончит театральную свою судьбу нелепо и жалко, чуть ли не попавшись на мелкой краже в майкопской драме, у них еще будут и неожиданные ссоры и куда более неожиданные сближения, но, тем не менее, этого человека он всегда будет вспоминать добрым словом: он все-таки получил от него больше, чем потерял.

Из бани Ведищева привезли более или менее на ногах. Кныш возился с ним не хуже хорошей няньки: закрыл его у себя в кабинете, поил чаем, достал для него в обкомовском буфете холодного нарзана, кормил бутербродами с икрой, бегал вокруг него и все причитал, причитал жалобно:

— Как же тебя, Миша, угораздило, ты же меня, лучшего своего друга, под монастырь подводишь? Сколько разов я тебе говорил, отыграл свое, хоть залейся, я сам по этой части мастер, но племьера же, начальство явится, куда годится, скажи? Непорядок это, Миша, а все начнут, тогда хоть театр этот занюханный разгоняй. Сыграешь сегодня, все тебе спишется, никуда я тебя не отпушу, кто мне передовые роли играть будет, Ромка что ли с его рожей? Я у начальства в доверии, не отдам на распыл, выручу, только ты мне сегодня выручи, не подкачай.

Тот блаженно мычал в ответ, потягивая чаек под обкомовские бутерброды, и не понять было, чему он больше радуется — даровой закуске или избавлению от завтрашнего рокового для него свидания с отделом кадров.

Но театральная Фортуна оказалась гораздо избретательнее директорского рвения. Где-то за полчаса

до начала, когда тревоги Кныша окончательно полеглись, на пороге кабинета, словно призрак в лунную ночь, вырос взмочаленный помреж Пыжков — тщедушный очкарик из недоучившихся студентов — и плачуще возопил:

— У Лялечкина геморрой в тяжелой форме! Он двигаться не может! Что делать, Дмитрий Степаныч!

Это было слишком даже для бывшего десантника. С завывающим ревом Александра Матросова, решившего закрыть собою амбразуру фашистского дота, он бросился к двери:

— Еморой, говоришь, в тяжелой хворме, говоришь, говоришь, двигаться не может! Я ему такую свечку в задницу запущу, что он у меня не двигаться — прыгать будет и на стометровку побежить, что тебе твой Куц! Он у меня, козел, раком играть будет, мать твою так, в отца, в Бога и в три погибели!

Их вместе вынесло из кабинета с такой ураганной стремительностью, что можно было подумать, будто это именно о них был написан знаменитый, но весьма печальный роман «Унесенные ветром».

— С меня этого сумасшедшего дома тоже хватит, — вставая, отнесся Влад к все еще блаженствующему в чайной нирване Ведищеву, — пойду прогуляюсь перед игрищем.

Театр фасадом выходил на городской пятачок, служивший местом вечерних гуляний, где, как на небесах, разрешались браки и случки, разводы и расставания, новые встречи и новые последствия таких встреч.

Плотный людской поток бесцельно, на первый взгляд, тек вокруг чахлого скверика, но опытные глаз и ухо сразу улавливали в этом живом монолите сложность его подспудной работы: что-то похожее на кружение муравейника, в котором все вместе кажется бессодержательным, а каждое движение в отдельности имеет для посвященного конкретные смысл и значение. Это были одновременно смотрины, выставка

мод, атлетические состязания, выборы мисс Черкесск, детективные поиски, театр, полет в открытом пространстве, замкнутое уединение, чистое искусство и даже, если хотите, тараканы бега. Сколько раненых самолюбий, несбывшихся надежд, несостоявшихся самоутверждений и растоптанных гордостей погребалось здесь каждый вечер под собственными обломками! Да минет меня чаша сия!

Влад по привычке втек в этот круговорот и мгновенно растворился в нем, включаясь в его магическую игру. Сегодня в ней он чувствовал себя если и не основным призером, то, во всяком случае, одним из них: над главной аллеей, по которой двигался поток, был перекинут рекламный транспарант: «Владислав Самсонов. Волчья тропа. Психологическая драма»...

Постой, постой, мой мальчик, удержи дыхание и набери побольше воздуха, чтобы встретить ее сейчас на чистом листе бумаги, как ты встретил ее тогда, там, на городском пятачке!..

Она увиделась ему в скрещении света и тени — игры вечерних фонарей и листвы деревьев, случайно выхватывающей из толпы первые попавшие в их фокус лица. На вид ей было не больше двадцати, хотя потом, когда руки их встретились, она сказала ему, что она — старая женщина и что ей уже целых двадцать три года.

Это маленькое и невольное кокетство было, если ему сейчас не изменяет вкус или память, единственной фальшивой нотой в ее поведении по отношению к нему за те немногие часы, какие они провели в этот — и, увы, последний — вечер вместе.

Для своего возраста она выглядела несколько полноватой, но в ее манере двигаться, говорить, искоса поглядывая на собеседника с необидной усмешечкой из-под полуопущенных век, сквозило что-то такое притягательное, от чего у Влада при всяком ее словесном взгляде гулко опадало сердце.

— Меня зовут Рая Лагучева, — все с тою же усмешечкой предупредила она его вопрос, — а вас я знаю, поэтому считайте, что мы уже знакомы.

От некоторой растерянности ее началом, он не нашел ничего лучшего, чем спросить ее об отце:

— Лагучев? Это не тот, что у нас заведует горчичкой?

И только прежняя утвердительная усмешечка была ему ответом.

Затем оказалось, что Рая с подругами как раз собралась на его премьеру, что стихи его, из тех, которые ей доводилось читать, ей в общем (это ее «в общем» его слегка укололо) нравятся, что она учится в московском университете на истфаке, а сюда лишь приезжает на каникулы и что если у него есть время и желание, они могли бы встретиться сразу после спектакля и поговорить обо всем подробнее.

Разумеется, Влад отвечал девушке в том же духе, только в обратном порядке, то есть, что времени и желания, чтобы встретиться с ней, у него хоть отбавляй, что стихи свои ему нравятся тоже лишь в общем (здесь он откровенно слукавил из одного только желания ей понравиться), что мог бы даже ради продолжения вечера с ней не пойти на собственную премьеру и что если она этого хочет (чего она, конечно же, не захотела, горячо запротестовав), то он к ее услугам. В конце концов они расстались только в фойе, откуда она отправилась в зал, а он, окрыленный, за кулисы, чтобы там в окружении сочувствующей труппы ждать своей авторской участи.

Но того, что творилось на сцене, Влад не мог себе вообразить даже в своих самых худших предположениях. Так и не протрезвевший окончательно Ведищев вместо авторского текста нес со сцены такую несусветную ахинею, и нес ее с таким ужасающим завыванием, что от стыда и обиды Владу каждую минуту хотелось плакать, выскочить на сцену, чтобы

бить мерзавца, пойти в буфет, напиться до бесчувствия или, на худой конец, провалиться сквозь землю.

Партнеры, впрочем, выглядели ничуть не лучше. Ляleckин с искаженным болью лицом, стараясь как можно меньше двигаться, путал все мизансцены и шепелявил так тихо, что половину его отсебятины вообще не было слышно в зале, причем при одном взгляде на него угадывалось, что такая геморриодальная развалина не то что атомной бомбы, а вообще ничего, кроме манной каши, изобрести не может. Героиня — Сторожева, — перед самым спектаклем расставшаяся с очередным любовником и как всегда демонически переживавшая очередной разрыв, вообще не соображала, на каком она свете находится, и лишь надрывно стонала в паузах между репликами, какие тоже не имели никакого отношения к каноническому тексту. Положение пытался как-то спасти чекист-аспирант Пал Палыч, но делал он это так беспомощно и бездарно, что вызывал у всех одну только жалость, а в это время — ОНА сидела в зале! О если б знал, что так бывает, когда пускался на дебют!

К его удивлению, стоявший рядом с ним помреж Пышков, удовлетворенно потирая руки, дышал ему в ухо запахом гнилых зубов:

— Алексеич, а? Что творят, черти полосатые? Мишка еще гримировался, лыка не вязал, а смотри, что творит! Что значит — талант, не пил бы он по-черному, давно бы в Москве гремел! А Людка, Людка, Алексеич, ведь сам своими руками перед выходом от йода молоком отпаивал, целый пузырек махнула, а будто ни в одном глазу! Богиня! Ермолова, как пить дать! А Пал Палыч, а Пал Палыч, а, Алексеич, моторный актер, в любом спектакле незаменим! И старик тоже, хоть с геморроем, а тянет, тянет, Алексеич? А ведь у него там в заднице целая груша висит, сам видал, когда возил к доктору. Васька, занавес, занавес, мать твою так!

Аплодисменты начались уже в первом акте и шли по нарастающей до самого конца, пока не обратились в настоящую овацию. Но по мере их нарастания Влад вдруг почувствовал, как в нем закипает опустошающая ярость, от которой тихо кружилась голова и холодели кончики пальцев. Ему тогда еще не дано было понять источника ее происхождения, но у него возникло такое ощущение, будто его мелко надули, заставив сделать какую-то непростительную гнусность, а теперь вот хотят заплатить за эту гнусность шумной, но пустой дешевкой.

Она — эта ярость — не оставляла его и на сцене перед аплодирующим залом, и потом на банкете, когда все наперебой лезли к нему чокаться или целоваться, включая самого Василия Никифоровича, который даже позволил себе фамильярно расслабиться перед ним:

— Эх, Владислав Алексеич, по правде говоря, я ведь тоже в молодости баловался, иные говорят, что и надежды подавал, но партийная работа это вам не фунт изюму, всего человека от человека требует, да...

А его первый протежер и нынешний ненавистник, заочник Литинститута, поэт-переводчик Седугин сам подошел к нему со стаканом лимонада:

— Давай, хоть этим чокнемся, — он страдал застарелой язвой, отчего изможденное лицо его всегда выражало брезгливое презрение к роду человеческому, — все-таки как-никак ты мой крестник.

И, подхваченный снедавшей его ненавистью, отошел, подсвечивая во все стороны своей язвенной улыбкой.

Эх, Седугин, Седугин, твоя ненависть разест тебя до того, что ты откажешься от услуг ненавистного тебе соседа, который захочет вызвать врача в минуту смертельного для тебя приступа, и ты сойдешь в могилу, не оставив по себе ни любви друзей, ни памяти врагов. И кроме Влада, по твоему мнению,

лютейшего твоего недруга, некому во всем городе будет сказать над открытой еще твоей могилой доброго о тебе слова. Если бы только узнал об этом, ты мог бы воскреснуть, чтобы опротестовать такое кошунство. Но он сказал, прощаясь с тобой: спи спокойно, дорогой друг! Значит, спи.

Влада, кстати, всегда поражала в некоторых людях их беспричинная ненависть к нему. Порою он ощущал ее без слов, почти физически: в случайной компании за столом, в кабинете какого-нибудь начальника, который, казалось, и видел-то его впервые в жизни, в поезде, в магазине, в театре, в самых, в общем, неожиданных местах. Это преследовало его с детства, но и дожив до седых волос, он так и не смог разобраться в ее природе и происхождении. Ну да и Бог с ней — с этой ненавистью, от нее еще никто не умирал, хотя жить без нее ему было бы много легче...

Но все это восстановилось в нем позже, задним числом, а тогда, на самом банкете, происходящее несло мимо него, не отзываясь в его душе или сердце ни одним отзвуком: всем своим естеством он рвался туда, где сейчас ожидало его вдруг возникшее у него в жизни существо, которое, может быть, сумеет найти так необходимые ему в этот вечер слова.

И она нашла для него эти слова. И еще очень много других слов, но тоже необходимых ему в этот вечер. И тени их, в общем-то, качались на пороге...

Они расстались только до завтра.

16

Когда Влад вспоминал о женщинах в своей жизни, о которых ему вообще хотелось вспоминать, он вновь обращался к тому сумрачному вечеру в доме под Гамбургом, где его гостеприимный хозяин, стареющий, но все еще сохранявший эластичность и красоту спорт-

смена, рассказывая гостю о себе, вспоминал о начале собственного миллиардного дела:

— До войны, мой дорогой друг, наша семья имела небольшую типографию, но, чтобы снова получить право на нее, я должен был пройти комиссию по денацификации. Слава Богу, у нас в семье не было человека, который бы когда-либо связывался с этой шайкой, мы сумели остаться в стороне от всеобщего безумия. Но война только что кончилась, и союзники требовали от немцев, желавших получить права на свои предприятия, большего — участия в Сопротивлении или хотя бы статуса гонимого. Поэтому когда я пришел к английскому коменданту за лицензией, он спросил меня:

— Вас преследовали при нацизме?

Я ответил, не задумываясь:

— Конечно.

— Кто?

— Женщины.

Англичанин оказался с чувством юмора, он расхохотался и немедленно выдал мне эту проклятую лицензию...

К счастью или к сожалению, но Влада женщины не преследовали никогда, во всяком случае те, кого, положив руку на сердце, можно было назвать женщинами.

17

Она не пришла ни завтра, ни послезавтра, ни, тем более, на третий день. Он отправлял ей умоляющие письма, она не отвечала. Он засылал к ней гонцов, они уходили ни с чем. Он пытался искать ее сам, но ему это не удавалось, хотя весь город можно было обойти из конца в конец и еще в один конец в течение

примерно двух часов. Она, что называется, исчезла, как сон, как утренний туман.

Казалось бы, о чем особенно тужить, провел несколько часов с молодой женщиной, которую видел в первый и в последний раз в жизни, мало ли их у него перебывало? Но чувство невозвратимой потери не оставляло его, несло в пространство перед собой с единственной целью во что бы то ни стало увидеть, услышать, прикоснуться еще один, хотя бы единственный раз, заворачивало по всем мыслимым и немыслимым местам, где бы он мог, по его предположениям, настичь ее, чтобы попытаться объяснить или объясниться. Но все оказалось тщетным: я звал тебя, но ты не обернулась, я звал тебя, но ты не снизошла.

И тогда впервые в жизни, хотя признаки этого намечались и раньше, — легкое дуновение некоей ауры или скорее сладостной немочи, как бы у бездны на краю, когда окружающее отодвигается за пределы физической осязаемости, а собственные тело и дух приобретают гигантские размеры и кажется — вот-вот из ушей брызнет кровь. Выдержать такое состояние достаточно длительный срок человеку не под силу, и человек пробует укротить себя самого любыми подсобными средствами. В России для этого другого средства, кроме водочного забытья, нет.

И ничего не стало вокруг. Листва митьковских тополей сомкнулась над ним и понесла его в своей зеленой колыбели через молочные реки и кисельные берега Сокольников:

— Влади-и-и-к!..

— Прощай, ма-а-ть!

— Куда ты, горе мое-е-е?

— За кудыкины горы, мать, за кудыкины горы, больше некуда мне.

— А где они, горе мое?

— Еще сам не знаю, мать, еще сам не ведаю.

— Вернешься ли, голова забубенная?

— Если голову не сложу, мать, если голову не сложу...

Первое, что Влад увидел, когда пришел в себя, было склоненное над ним насмешливое лицо Епанешникова:

— Очухался? Давно пора. Восьмой день гудишь. Тоже мне, Печорин херов! Первый раз живую черкешенку пощупал и сразу с копыт, а зачем она тебе, сам не знаешь. Ее полобкома с горькомом впридачу гоняло, там уже и берегов не видно, ее папашка, тварь номенклатурная, нарочно в Москву сплавил, к сынку министра станкостроения подложил, потому как здесь на нее охотников давно нету. Ну, ну, не лезь в бутылку, ты еще из нее не вылез, и слушай, когда тебе старшие говорят. Терпи, но слушай — пригодится на старости лет. Теперь по делу. Хозяйка твоя со страху настучала в обком, хотели было тебя уже в больницу, да мы с Майдановским на себя взяли, так что, если подведешь, табачок врозь. А теперь поднимайся, пойдем попаримся и ко мне — чай пить. У меня и переночуешь, а завтра посмотрим, утро вечера мудреней. По коням!..

Явь возвращалась к Владу сквозь свинцовую тяжесть головной боли. Город, через который они шли, выглядел чужим и громоздким, словно заброшенные театральные выгородки, всякий случайный взгляд или улыбка у них по пути дразнились злорадством и, казалось, предназначались лично ему — Владу.

Еще несколько дней плавал он в бредовом аду долгого похмелья, текучие видения калейдоскопически сменяли друг друга, кружили его по лабиринтам горячки, пока мир со всем своим содержимым и звучащим встал перед ним на все четыре ноги. Блажен, кто испытал.

Только после этого Епанешников потащил Влада в редакцию, где Майдановский встретил его так, будто

они виделись лишь вчера и с тех пор ничего особенно-го не случилось:

— А, на ловца и зверь! Здорово, Владик. С утра из союза писателей звонили — тебя ищут: надо Абдулжалилова в больницу отправлять, а он засел у матери в ауле и — ни в какую. Силой брать не хотят, чтобы в народе нездоровых настроений не разводить, а по добру он не хочет. Тебя спрашивает, с тобой, говорит, согласен. — Он впервые взглянул на Влада, и тот прочел в его усталых глазах откровенную укоризну. — Не знаю уж, на чем вы сошлись, но сам посмотришь, чем это кончается. — И опустил тяжелую голову к верстке. — Леня, поезжай с ним, а то они там вдвоем по новому заходу начнут. Берите машину и — айда. Пока.

Вскоре редакционный газик тянул их по безлесым плоскогорьям в сторону ногайской столицы — аула Икон-Халк. Вокруг, насколько хватало глаз и воображения, не проглядывалось ничего, на чем можно было бы задержать взгляд: одна лишь волнообразная цепь пологих бугров, кое-где в желтых разломах эрозии и сквозь них — к тусклому горизонту — крученая плеть грейдера. За весь путь, километров эдак тридцать с лишним, ни одна живая тварь, как Влад ни вглядывался, не перебежала им дорогу. Когда в пустыне я лежал.

— Понимаешь, — словоохотливо рассказывал ему по пути Епанешников, — занятный это тип — Абдулжалилов. Кем он только ни перебивал в области: вторым секретарем обкома комсомола, зав. военным отделом обкома партии, редактором газеты, помощником председателя облисполкома, секретарем союза писателей несколько раз. Трезвый — ты к нему не подступишься: педант, пунктуален до болезненности, тарабарщину номенклатурную знает на зубок, произносить ее умеет с этаким, я бы даже сказал, шиком. Без «товарища» ни шагу и всех на «вы». Про-сохнет — сам увидишь, ты еще с ним дерьма на-

глотаешься, он не из благородных, все забудет, как будто и не было. Но собьется с круга — сразу человеком запахнет, и ведь действительно не без таланта. К фокусам его здесь попривыкли, просохнет, снова в кабинет определят. У него это, говорят, еще до войны началось, он тогда с последней волной, уже в тридцать восьмом попал, когда в комсомоле работал. Неизвестно, какой ценой, но после Ежова сумел выскочить. Вот тогда первый раз и сорвался с винта. Пойми меня правильно, я лично к нему хорошо отношусь, только ты не заблуждайся, не строй иллюзий, он сломан, уже без хребта, а это значит, тварь ползучая, не более того...

Селение, которое вынеслось им навстречу из-за очередного бугра, совсем не походило на аул в классическом смысле этого слова: никаких тебе саклей, лепящихся к горе наподобие ласточкиных гнезд. Влад увидел скорее довольно унылого вида предгорную станицу, чем что-либо похожее на горское жильё: пыльное скопление однообразных хат под шифером и железом с несколькими каменными постройками в центре. Черкесск в миниатюре.

При всей невзрачности здешних построек дом матери ногайского классика оказался из самых неказистых: однокомнатный скворешник под старым, в ржавых потеках шифером, на пороге которого маячила старуха в платке и, держа над слезящимися глазами козырек ладони, всматривалась в них, словно с другого берега,

Она молча поклонилась им первая и молча же пропустила их мимо себя в дом. В ее окаменелости сквозило такое черное отчаяние, что, проходя рядом с ней, Влад отвернулся. «Господи, — мгновенно пронеслось в нем, — и моя бы вот так!»

В единственной комнате этого скудного жилья, в углу, на чем-то вроде топчана, с сомкнутыми глазами, сжавшись, будто мерзнувший ребенок, в комок, лежал

Абдулжалилов, не двигаясь и вообще не подавая признаков жизни. Это был уже не человек, а человеческая тень, источавшая животное зловоние и теплившаяся одной лишь горячечной тоской.

— Фазиль, — тихонько позвал Епанешников, — мы за тобой, тебя дома ждут. Фазиль!

После недолгого молчания тот разлепил гноящиеся глаза, остановился на Владе, губы его раздвинулись, обнажая провал желтозубого рта:

— А, это ты...

— Я за тобой, — как бы боясь спугнуть его хрупкое пробуждение, Влад говорил не двигаясь, — возвращаться пора.

— Хорошо, хорошо... Если ты говоришь...

Он был так по-детски жалок, этот вывернутый на чуждую ему изнанку и раздавленный чужой слабостью горец, что Влад не сдержал подступивших к горлу спазм, заплакал, но опять-таки не столько от сочувствия, сколько от бессильной ярости, хотя и здесь не понял, за что и на что.

«Какого чёрта, — только и отложилось в нем, — отчего все это?»

— Ладно, ладно, — снисходительно заворчал Епанешников, — будет сентименты разводить. Давай его загружать. У меня еще воскресная полоса на столе.

По дороге забившийся в угол Абдулжалилов напряженно молчал, и только поймав на себе чей-то взгляд, пытался улыбнуться в ответ — слабо и благодарно.

Они завезли ногайца к нему домой, где их так же молча, как и мать в ауле, приняла нестарая еще и довольно миловидная татарка, вызывающе не скрывавшая своего глубочайшего презрения и к ним, и к родному мужу, и, едва позволив гостям сложить его на продавленный диван в прихожей, с грохотом захлопнула за ними дверь. Старый муж, пьяный муж.

— Вот стерва, — в сердцах сплюнул, выходя во двор, Епанешников, — а стоит ему очухаться, она ему ноги на ночь моет, а если ему блажь в голову вдарит, то и юшку выпьет. Что за сволочная порода — человек, особенно — женщина...

В редакции Майдановский встретил его внезапной новостью:

— Сверху приказано взять тебя пока к нам, так сказать, на стажировку, с дальнейшими перспективами. Цитирую по памяти. Поздравляю с прибытием на нашу каторгу, дорогой товарищ. Иди, оформляйся к кадровику и к Лёне на культуру вместо мальчика. Адью.

С этого закрутилась его вторая газетная жизнь.

18

Как-то на сорок второй улице в Нью-Йорке в сквере на лавочке лежал точь-в-точь в абдулжалиловской позе черный того же, примерно, возраста. Он явно доходил, во всяком случае, выглядел на последнем пределе. Рядом с лавочкой, под его бессильно свисающей рукой, серел пакет с торчащим из него горлышком бутылки.

Мимо тек, разливался во все стороны, в том числе и в этот сквер, огромный многомиллионный город, для которого этого черного уже просто не существовало.

Цивилизация приняла этих пришельцев, вырвав их из естественной для них среды, но не дала им взамен ничего, кроме дешевого забвения.

Голос Гашокова в телефонной трубке на этот раз вибрировал с особой значительностью:

— Товарищ Самсонов? Здравствуйте. Гашоков беспокоит. В обкоме есть мнение включить вашу книгу стихов в план издательства на следующий год. Мне поручено...

Остальное до Влада доносилось, словно сквозь подушку, хотя тот что-то еще пытался нудить насчет доверия партии, воспитания растущих талантов и, конечно же, своих новых подстрочников. Но какое теперь это могло иметь значение? Он готов был сейчас не только перевести весь гашоковский бред от начала до конца, но и насочинять за того впятеро больше, лишь бы услышать еще раз подтверждение уже сказанного.

О, эта первая книга, любовь и проклятие всех начинающих! При всей обычной ее немощности она вбирает в себя столько душевных сил, страданий и сердечного горения, что в зрелом возрасте всего этого с лихвою достало бы на целое собрание сочинений с приложениями. Нет таких унижений (во всяком случае любому автору впоследствии так кажется), такого горя (об этом говорить не приходится!), такой жестокости (а это уж само собой), каких не вынес бы автор ради того, чтобы подержать в руках пахнущий типографией экземпляр собственного сочинения и впервые в жизни начертать на нем свой первый автограф. Безумству, так сказать, храбрых поем мы песню. Им, гагарам, недоступно.

Наметанный глаз Епанешникова мгновенно по лицу подчиненного определил важность полученного им сообщения:

— Чего там у тебя?

Влад не произнес — выдохнул:

— Включили.

— Поздравляю, — сразу догадался Епанешников, — Седугину обеспечено прободение. Такого у нас отродясь еще не бывало, чтобы русский автор получил приз в виде книжки стихов. Ты, мэтр, в этом смысле черкесский Колумб. — Он повернулся к двери. — Дания, Дани-и-ил!

Из соседней комнаты выпросталась лобастая голова Майдановского:

— Ну, чего стряслось?

— Вот, полюбуйся, — Епанешникова прямо-таки распирало торжествующее злорадство, — опять всем нам нос утер. Включили в издательский план, можешь себе представить, что будет с Седугиным? Бедняга гнется здесь десятый год, все пороги обил, все передние обползал, Фирсова завалил челобитными, из Литинститута рекомендацию имеет, и хоть бы что, как заколодило, нет бумаги, говорят. А вот для этого варяжского гостя, оказывается, есть, ну не чудеса ли, Данька? Видно, этот гусь явно родился в чесучевой паре. Это дело мы не можем оставить без последствий, закрывай, Дания, лавочку, все равно номер готов. Труби, труба!..

По случаю жаркого послеобеденного времени подвал был пуст и прохладен, словно заброшенный склеп. Догадливый дядя Саша, скользя по гостям оттаявшим взглядом, выставил сразу литровую марочной, присовокупив к ней уже от себя тарелку с сыром и зеленью:

— Кушайте, гости дорогие...

Пожалуй, впервые они пили здесь, не торопясь, не подгоняя друг друга тостами, мирно смакуя как запах вина, так и вкус закуски. Душный город солнечно заглядывал к ним через запыленные окна сверху, отчего трапеза ощущалась ими еще более внятно и благостно.

— Кончается лафа, ребята, — печально сетовал Майдановский, — и у меня для вас пренеприятное

известие: к нам едет новый редактор. — Несколько месяцев в газете царил разгульная атмосфера междувластия. — Наша разведка показывает такую раскладку: фамилия — Попутько, зовут — Андрей Лаврентьевич, по всему судя, из обрусевших хохлов, только что кончил вепеша в Москве. Итак, что мы имеем: первое — чужак, второе — хохол, третье — из вепеша. Подвожу итоги: дело дрянь.

— Может, все еще образуется, — подал голос Епанешников, — этих из вепеша, бывает, с полдороги сманивают.

— Ребята, этот доедет, — еще печальнее продолжил тот, — чует мое еврейское сердце.

Епанешников не выдержал характера, съязвил:

— Сколько раз оно тебя обманывало, Даня.

— На этот раз нет.

— Не скажи.

— У него здесь баба...

Воцарилось красноречивое молчание, и Бог знает, как долго бы оно длилось, если бы его не прервало громкое низвержение в эту винную преисподнюю разбойно пьяного Ведищева:

— Бандиты, — с порога возгласил он, наподобие стоглавого и сторукого чудища заполняя собою помещение, — пидарасы вонючие, лучшего друга обошли, не позвали. Чуть что, Ведищев спасай, Миша выручи, а как праздник, так по междусобойчикам разбегаются, где правда, кому верить! Знаю, знаю, — замахал он на них руками, хотя никто не собирался ему ничего сообщать, — Михаил Ведищев все знает, у Михаила Ведищева везде глаза и уши и еще кое-что. Я, как узнал от Верки от издательства, сразу к вам кинулся, а вас уже и след простыл, паскудники. Я вот по дороге сюда один на радостях четыре стакана принял, от обиды — без закуси. Нет правды на земле, сказал поэт, но нет ее и далее...

С нашествием Ведищева ни о каком задушевном застолье нечего было и думать. Началась обычная в таких случаях вакханалия, вызвавшая к жизни покорных ей духов в лице Поддубного и прочей компании. Последний, по обыкновению, появлялся как бы из пустоты, благоухая во все стороны запахом дешевого одеколона. Способность появляться именно таким образом являла его особую привилегию, персональное свойство, претензию на оригинальность, а, может быть, даже природный дар.

— Поздравляю, поздравляю, — сразу ввинтился он в разговор, — приятно, когда преуспевают порядочные люди, а то ведь кругом или держиморды, или мещане, слова осмысленного не услышишь. Поневоле, как Диоген из бочки, пойдешь с фонарем по городу искать, извините, человека. — Он пил наравне со всеми, но никогда не пьянел, только болотные глазки его стеклянели, да заострялся и без того остренький носик. — Кстати, Владислав Алексеич, давно хотел поговорить с вами о ваших стихах. У меня зреет идея вечеров вашей поэзии под девизом — «поэзия — в массы». Не правда ли, в этом что-то есть, коллега?

Но, перебив Ведищева в самый разгар его словоизвержений, Пал Палыч, тем самым незаметно для себя, зашел в заминированную зону, а когда заметил, было уже поздно.

— Захлопни капот, бездарь, — моментально взвился тот, — что ты понимаешь в большой поэзии! Поэзия это, — он взвел к потолку сумеречные от пьяного безумия глаза, — та же добыча, можно, сказать, золота или, может, какого другого благородного металла, горы приходится дерьма переворачивать, пока до жемчужного зерна доберешься. Вот знал я, к примеру, одного поэта из Сызрани или из Сарапула, не помню уж, но это и не важно. Нет, точно из Сарапула, Гуцин его фамилия, Вениамином звали, Веней попросту, мы с ним накоротке были, так этот

Веня, хотя вроде и Вася, впрочем, и это не важно, так вот он мог тыщу пятьсот принять без закуси и читать. И как читать, доложу я вам! А ты тут лезешь, Пашка, со своим мусором, ты бы лучше за женой своей смотрел, опять с моей спуталась...

Остановись, Ведищев, ты ужасно! Он выдумал тебя от начала до конца, он составил тебя, словно монстра, гомункулуса, робота, из целой кучи мелкого актерского хлама, набранного им в скитаниях по городам и весям страны перезревшего социализма в поисках преимущественно литературной поденщины. Сгинь, Ведищев, с глаз его, ибо ты фантом, а фантомы должны знать свое место, но с Пал Палычем мы еще разберемся...

Пьянка раскручивалась с быстротой сорванного с тормозов и пущенного под гору тяжеловесного состава, грозя вскоре похоронить под собой всех участников, что наверное и случилось бы, если бы в самый ее разгар в подвале не появился еще один посетитель.

В самом его появлении не было ничего сверхъестественного, хотя визиты новичков-одиночек воспринимались здесь как известного рода бестактность, граничащая с плохим тоном, но слишком уж вызывающе бросилась всем в глаза его трезвая начальственная вальяжность, чтобы посетитель этот мог остаться незамеченным или оставленным без внимания.

Он был высок, осанист, хорошо упитан, но без излишней грузности, и чем-то напоминал викинга из недавнего исторического фильма, только в отлично сшитом штучном костюме и при галстукe.

Посетитель с любопытством осмотрелся, хмыкнул многозначительно, насмешливыми глазами навкате выделил из общей сутолоки именно их компанию и барственно подплыл к ней, игнорируя всех остальных:

— Здравствуйте, товарищи, — посетитель буквально излучался снисходительным добродушием,

— я — ваш новый редактор, Попутько Андрей Лаврентьевич. Давайте знакомиться...

Так Влад встретился со своим новым шефом.

20

Давно канули в вечность те блаженные времена, когда он с замиранием сердца ждал выхода своей новой книги, когда казалось, что стоит ей выйти, как у погрязшего в неведении человечества наконец-то откроются глаза и оно, это человечество, начнет слезно благодарить автора за совет и науку; когда читатель представлялся ему не в виде некоей абстрактной величины мистического нечто, критической фикции, а вживе, во плоти и крови, вроде соседа по квартире или попутчика в общественном транспорте.

Теперь они захлестывают его — эти первые экземпляры собственных книг. Под самыми немислимыми обложками и на самых разных языках, но уже не приносят с собой в жизнь ничего, кроме досады и скуки. Мир вокруг давно оглох и ослеп, не желая читать и слушать витий и почище него. В любом захудалом супермаркете рядом с бойкой распродажей устаревшей моды бюстгальтеров беспорядочной грудой навалены книги, которых еще не касалась рука человека.

Книга давно перестала здесь быть делом избранных. Пишут все, от захудалых телевизионных обозревателей до консьержек, и будьте уверены, что чем хуже окажется очередное сочинение, тем больше шансов имеет оно на шумный успех.

К тому же, для него выход каждой новой книги — это еще и бомба с зажженным фитилем: десятки ядовитейших перьев готовы наброситься на нее не читая, только потому, что автор ее осмеливается нарушать

детские правила их огнеопасной игры в политические прятки.

Его теперешняя молитва: Господи, спаси меня от новой книги!

21

А уже на следующий день новый шеф вызвал его к себе.

— Я тут полистал ваше личное дело, — добродушие в нем явно преобладало над всеми другими качествами, — с товарищами в обкоме посоветовался, и есть мнение, что хватит вам ходить в детских штанишках отдела культуры, пора попробовать себя в партийном разрезе. Завтра в станице Предградской районная партконференция, отправляйтесь-ка туда вместе с Николаем Георгиевичем. И еще вот что, — деловито определил шеф, — меня не интересуют пустые бутылки моих подчиненных, меня интересует только их деловая отдача, остальное — ваше личное хозяйство, — и снова добродушно расслабился. — Знаете, как говорил Хаим из Шепетовки, когда хоронил тещу: сначала дело, потом — удовольствие. Идите-ка прямо к Николаю Георгиевичу, договаривайтесь о деталях, он человек опытный, у него есть чему поучиться.

Что правда, то правда, подумал про себя Влад, но пререкаться не стал, следуя на этот раз золотому правилу не спорить с начальством, тем более новым. Завпартотделом Николай Георгиевич Понамарев, или попросту Коля, был алкашом-одиночкой, предпочитая принципиально индивидуальную пьянку всем остальным. С младых ногтей пройдя хорошую военную школу, зав даже в питейном деле проявлял свою офицерскую косточку. Где бы, к примеру, ни заставало его черное беспамятство — в кабинете, в забегаловке или

под забором, — он никогда не забывал снять с себя сапоги и повесить на них портянки. Военная выучка сказывалась и в его статьях, походивших более на армейские рапорты, чем на газетное чтиво.

Когда Влад заглянул к нему, тот еще оказался в состоянии шевелить языком. И зашевелил:

— Значится, уже под меня копаешь, голубь, востер ты, брат, востер, я смотрю, осадить бы не мешало. — Лиловый его нос принялся усиленно багроветь. — Ты еще «папа» «мама» палочками выводил, когда я уже партотделом в корпусной газете заведовал. Бывало, приедешь в часть, а там из командного состава один ефрейтор, и тот косой. Берешь, конечно, все в свои руки. Полк, кричишь, слушай мою команду: «За Родину!», «За Сталина!» — Он вдруг рывком выбросил себя из кресла, чтобы, видимо, наглядно продемонстрировать новичку степень тогдашнего своего порыва, но слабое пьяное тело его не выдержало внезапной перегрузки и снова вязко потекло на место. — Ладно, завтра в шесть ноль-ноль у автобусной остановки. Отправка в шесть тридцать. Задача ясна?..

Утром на автобусной станции Влад нашел Понамарева опять-таки чуть теплым. Но и в затуманенном мозгу завпартотделом спасительный механизм расхожих стереотипов срабатывал безотказно:

— Хвалю, — он невидящим взглядом скользнул по циферблату над кассой, — точность — закон строевой службы. — Хотя Влад опоздал ровно на двадцать минут. — Значится, так. Садимся — на служебные, контроль беру на себя: ответственное партийно-государственное задание. В случае чего, поиграешь блокнотиком для острастки. Проверено — действует без осечки. Пятьдесят хрустов чистой экономии. Билеты под отчет нам обеспечит товарищ из районного комитета, который нас встретит. — Он вдруг, остервенясь, напрягся. — Я за пятьдесят хрустов полдня кропаю, у меня они не ворованные, чтобы этому жулью

за билет отдавать. За мной! — И уже кому-то впереди себя. — Посторонитесь, товарищ, мы — на задание...

В дороге он сладко похрапывал, просыпаясь лишь для того, чтобы покоситься в сторону Влада бессмысленным оком и членораздельно сложить:

— Запишите... — после чего, икнув, он снова сладко засыпал.

Что записать, Понамарев не уточнял, но судя по той почтительной тишине, которая сразу вслед за этим воцарялась в автобусе, магическое слово производило впечатление. Затем сзади заводилось одобрителное перешептывание:

— Строга-а-ай.

— Потачки не даст.

— Во всяком деле порядок должен быть.

— С нашим братом иначе никак...

На автостанции в Преградной они вывалились прямо в объятия «товарища из районного комитета партии»:

— Здоров, Никола, сколько лет, сколько зим! — «Товарища», приземистого карлу с лицом боксера-перестарка бил хмельной восторг. — С полгода, считай, к нам носа не показываешь, может, принимаем плохо? Виноваты — исправимся, гражданин начальник. И на старуху бывает прореха, хе-хе-хе. — Гости еще не успели опаматоваться с дороги, а он уже по-хозяйски заталкивал их в случившуюся тут же «Волгу». — На этот раз лицом в грязь не ударим, начальство распорядилось принять по первому классу, а наше дело солдатское: приказано — исполняй. — Он воссел рядом с шофером. — К тете Клаше! — И повернулся к гостям, отчего воротник его насквозь пропотевшей и густо обсыпанной перхотью гимнастерки «а ля Сталин» утонул в складках индюшачьей кожи. — Матерьялы я для вас подготовил, все в полном ажуре: доклад, прения, резолюция, выборы руководящих органов.

Работайте по-стахановски, отдыхайте еще лучше, я вам только птичьего молока не приготовил, но если захочется — достану, кур подою, хе-хе-хе.

— Может, сначала на конференцию; — заикнулся было несколько озадаченный Влад, — послушать, с людьми поговорить?

Между его спутниками последовало многозначительное переглядывание, после чего Понамарев примирительно ослабил прокуренными зубами:

— Молодой еще, только-только стажировку начал, поживет с наше, поварится в партийном котле, поумнеет. Верно говорю, Самсонов?

Они дружно рассмеялись, и, неожиданно для самого себя, Влад присоединился к ним, как бы включаясь этим в безвыходный загон их круговой поруки. Падать, так падать!

Из-за поворота дороги перед ними открылась уютная лощинка над рекой, посреди которой, наподобие карточных домиков на зеленом сукне, высилось несколько финских коттеджей, притененных шапками маячивших вокруг них деревьев.

— Приехали, — подмигнул в сторону спутников райкомовец. — Ты здесь у нас еще не был, Никола? — И, не ожидая ответа, пояснил: — Весной поставили, по указанию из области, для дорогих, так сказать, посетителей.

В одном из этих коттеджей гостей встретила средних лет женщина в белом халате и, скользнув по ним откровенно оценивающим взглядом, радушно поинтересовалась:

— В баньку или сначала кушать будете?

— Чего я там не видел, — как от зубной боли поморщился Понамарев, — в баньке этой?..

Там стол был яств. Такого стола в скудной деликатесах жизни своей Влад еще не видывал, да и впоследствии, во времена куда более обильные, видывать доводилось нечасто.

— Да, — восхищенно вздохнул Понамарев, жадно обозревая открывшееся ему застольное великолепие, — разблюдовка первый класс, есть разгуляться где на воле. Кони сытые бьют копытами, как в песне поется, встретим мы по-сталински врага!

Трудно сказать, чего тут только не было! Эскадра марочных бутылок плыла им навстречу в сопровождении тарелок и ваз, в которых всеми цветами радуги светилась, блистала, переливалась снедь в самых разнообразных количествах и видах: икра в трех цветах соседствовала здесь с лоснящейся собственным соком семгой, а та, в свою очередь, со всевозможными мясами и ветчинами, оттененными дарами земли — от сортовых помидоров и огурцов до персиков и винограда включительно. Пир победителей.

Но не прошло и часа, как весь этот дорогостоящий натюрморт обернулся мешаниной огрызков, окурков и битой посуды, среди которой два осоловевших от даровой жратвы и выпивки друга предавались сентиментальным воспоминаниям:

— А помнишь, Коля?

— Помню, Евсей, помню.

— Какая жизнь была, Коля, какая жизнь!

— Не говори, Евсейка, плакать хочется.

— А ты поплачь, Коля, поплачь, облегчает. Я, честным делом, люблю иной раз всплакнуть.

— Эх, Евсеюшка!..

— И не говори, дорогой...

Сквозь теплый туман к Владу еще долго пробились их всхлипы и междометия, пока хмельное забытие окончательно не сморило его под горестное причитание райкомовца:

— Коля, родимый, мы им доклады, выступления пишем, сволочам, они бы хоть читать нашу писанину научились по-человечески!..

Пробуждение Влада было внезапным, но тягостным: в голове гудели чугунные колокола. Над ним

сочувственно склонялось знакомое лицо женщины в халате:

— Велено в это время разбудить вас, а то к последнему автобусу опоздаете.

К удивлению Влада, Понамарев оказался на ногах, был быстр, собран, бодро излучал из себя энергию и деловитость.

— По коням, Самсонов. К ночи полоса должна быть в наборе, кровь из носу, или голова с плеч.

В дороге он внимательно с карандашом в руках прошелся по материалам конференции: что-то подчеркнул, сократил, вычеркнул, а прощаясь на автовокзале в Черкесске, дружески подмигнул спутнику:

— Порядок в танковых войсках. Иди, спи, в типографию я сам обернусь. Завтра читай свое произведение в номере.

— Как в типографию, — вновь удивился Влад, — ведь еще и рукописи нет?

Тот лишь снисходительно усмехнулся в ответ, отечески похлопав его по плечу:

— Эх ты, молодой еще, небитый, немятый, непуганый, учись у меня, старика, покуда я жив. Я, брат, когда аврал, прямо на ленту диктую, где ж ее теперь взять, рукопись-то? Пить надо было меньше. Иди, иди, спи.

И они разошлись по сторонам: Влад к себе, а Понамарев в типографию.

Скандал на следующий день разразился небывалый.

Где-то около полудня в отдел влетел взволнованный сверх всякой меры Майданский:

— Самсонов, к шефу, одна нога здесь, другая — там.

По одному тому, что ответсекретарь назвал его по фамилии, Влад почувствовал дуновение беды, поэтому по пути к редактору готовил себя по обыкновению к худшему, но случившееся оказалось и того хуже.

— Мне интересно знать, товарищ Понамарев, чем вы там в Преградной занимались с Самсоновым? — От редакторского добродушия не осталось и следа: красный и распаренный, словно после бани, он махал около носа стоявшего перед ним навывтяжку завпартотделом сложенной вчетверо газетой. — Вы меня весьма обяжете, если сообщите, хотя бы в порядке обмена информацией. А, вот и второй мыслитель! — мгновенно вскинулся он на вошедшего Влада. — Может, вы раскроете тайну этого мадридского двора и расскажете нам кое-какие подробности со вчерашней партконференции? Наверное, вы слышали там много нового: мнения отдельных товарищей, выступления с мест, настроения делегатов, а? — Он остановился и широко расставив ноги вытянулся перед Владом во весь свой могучий рост. — Чего молчите?

— Да я, собственно, — затянул было Влад, но тут же осекся под уничтожающим взглядом редактора, — чего уж там, Андрей Лаврентьич... Выпили малость.

Тот даже застонал от негодования:

— Выпили! Вы только послушайте его, они выпили! Да вы мне хоть залейтесь этой дрянью! Можете, если хотите, вместо воды употреблять, ноги мыть в ней, в этой гадости, но не до того же, чтобы печатать отчеты с конференции, которая не состоялась. — Его трясло. — Понимаете, не состоялась, — и почти в голос, — пе-ре-не-сли-и! Хватит с меня. Чтобы духу вашего завтра в газете не было! И не надейтесь на доброго дядю из обкома, никакой обком не заставит меня держать вас, я до Цека дойду! Не нужно мне в редакции растущих талантов в постоянной белой горячке! Обойдусь! Я вам, негодьям, такое в трудовую книжку на прощанье впечатаю, что вы меня по гроб не забудете и детям передадите. А сейчас — вон отсюда!..

Закрутилась шумная административная карусель, которая, пошвыряв Влада по приемным и кабинетам областных инстанций, остановилась в Союзе писателей — у Гашокова:

— Мне поручено, — с достоинством приступил он, но не выдержал тона, выдал мстительную свою злопамятность, заспешил, заторопился, захлебываясь собственной слюной, — информировать вас о невозможности дальнейшего вашего использования в нашей области по литературной специальности. — И вперился в него задроченными глазами, проверяя произведенное впечатление. — Идите на завод, в колхоз, на производство, поживите с народом.

Нет, Влад больше не хотел этого слышать. Мутная волна ярости обожгла ему горло, застучала в висках и обжигающе накрыла с головой:

— Теперь буду говорить я, понял, гнида, а ты сиди и слушай меня внимательно. Запомни сам и передай своим занюханым начальникам: я на всех на вас хер положил с большим прибором. Так и передай. Передай еще, что если вы все один раз сходите как следует по-большому, то от вас ничего не останется. Понял, червь могильный? Еще передай, что вы все мне настолько омерзительны, что я даже ненавижу вас не в состоянии, вы не люди, вы — моль. И еще персонально тебе на прощанье, Гашоков, запомни, что ты гнусный и наглый графоман и никакая сила не поможет тебе сделаться поэтом, хоть издай ты двадцать томов, твоими вшивыми виршами даже задницу никто не захочет вытирать. А теперь сиди и думай над тем, что я тебе сообщил, Гашоков. Обдумай — повесься...

И с грохотом захлопнул за собой дверь, одним махом отключая от себя потекший было следом за ним гашоковский визг.

Так закипает в человеке ярость, которая затем становится частью его души, источником силы, слухом сердца и цветом глаз. С годами она — эта ярость — отложит в нем и дар прозрения человеческой порчи, хотя едва ли кому-нибудь нужно много ума или прозорливости, чтобы прочесть на лице ближнего основные письмена его помыслов. Недаром же русские говорят: «Бог шельму метит», а французы добавляют: «После сорока лет каждый отвечает за свое лицо». Поэтому когда какой-либо косоглазый и заросший шерстью до самых ушей Шариков от литературы из всех сил пытается изображать из себя человека, потрясая окружающих рассказами о «колчаковских фронтах», распознать в нем его собачью натуру не составляет большого труда, да будь благословенна праведная ярость. И Христос гнал кнутом торгующих из Храма. Сказано же: хватаюсь я за саблю с надеждою в глазах.

Утром, побросав в чемодан нехитрые свои пожитки и рассчитавшись с хозяйкой, Влад уезжал из Черкесска. По дороге в пригород, где он рассчитывал воспользоваться попутной машиной, чтобы добраться до железнодорожной станции в Невинномысске, путь ему неожиданно заступил Поддубный:

— Уезжаете? — Впервые за месяцы их знакомства Влад видел Пал Палыча тихим и растерянным, и эта разительная перемена вдруг обнажила в нем совсем другого, неведомого до сих пор Владу человека, будто ряженого переодели. — Опять тощица зеленая начинается, хоть вешайся, я только-только отогрелся около вас от всего этого, — он кивнул куда-то

себе за спину, — кладбища, а теперь снова с ними. Один Ведищев чего стоит! Вы не обижайтесь, — отсутствующий взгляд его смущенно скользнул в сторону, — я ведь знал, что у вас с моей благоверной, так сказать, роман случился, ну, может, не роман, но все-таки. Так я не в претензии, Владислав Алексеич, уж лучше с порядочным человеком, чем со всякими там. — Он не договорил, махнул рукой, отвернулся. — Дайте я вас хоть обниму на дорогу, что ли. Не поминайте лихом Пал Палыча Поддубного.

Тот долго мял Влада легкими своими ладошками, потом оттолкнулся от него обеими руками, словно от падающего предмета, уже не оборачиваясь более, потянулся прочь.

И это тебе урок, Владислав Алексеич, и это, носи на здоровье!

За городом Влада подобрала первая же попутка. Когда старенькая полуторка переехала мост через Кубань, город впервые открылся ему из конца в конец во всю длину противоположного берега. Отсюда, из-за моста, это беспорядочное нагромождение белых хат, увенчанное бледно-голубым тортом Дома Советов, с голубой же маковкой церкви на самой ближней окраине и с зеленой стрелкой реки у своего подножья виделось даже красивым. Отныне там, среди этих хат, оставалась часть его жизни, чего уже нельзя было вычеркнуть из собственной судьбы.

Не раз он будет еще возвращаться сюда в поисках утраченного времени и всякий раз убеждаться, что утраченное не возвращается, что ничего невозможно унести с собой, кроме памяти, и что легче сохранять в себе боль этой памяти, чем пытаться воскресить перед глазами прошлое. Что было, то было, того уж не вернешь.

Пух кружевных облаков плыл над городом, небо просвечивало сквозь них наподобие холста, загрунтованного желтком и синькой, горизонты набухали воз-

никающими сумерками и все это спасительным куполом возносилось над землей, над тысячами таких же вот городков провинциальной России и над этим, лежащим сейчас на том берегу, — тоже. Будь же ты благословен во веки веков, со всем, что в тебе существует — плохим или хорошим — Черкесск! И еще: прости, прощай и помни обо мне.

Конец первой части

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КУРЬЕР

Ежемесячная литературная газета

Главный редактор Михаил МОРГУЛИС

В издании участвуют авторы всех волн эмиграции, всех литературных направлений. Единственным критерием оценки материалов для редакции служат слова Бориса Пастернака: «Талант — единственная новость, которая всегда нова». В ближайших номерах: И. Башевис-Зингер, В. Максимов, И. Бродский, В. Аксенов, М. Булгаков, Н. Коржавин, Л. Ржевский, В. Марамзин, И. Елагин, А. Антонович, С. Блох и многие другие.

Годовая подписка: для жителей США и Канады — 12 долл.,
для жителей Европы — 15 долл.,
для жителей России — бесплатно.

Цена отдельного номера — 1 доллар.

Заказы и письма направлять:

Literary Courier, 106 Rivington St.
New York, N.Y. 10002, USA

или

B. SHLAEN,
38, rue Martre, apt. 101, 92110 CLICHY, FRANCE

РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Представительство журнала

«КОНТИНЕНТ»

Свыше 1500 титулов на складе.

Требуйте каталоги

Subscription inquiries
should be addressed to



A. Neimanis • Buchvertrieb

8 München 40 Bauerstr. 28 • Germany

СТИХИ

* * *

Судите и да будете судимы!
Пути Господни неисповедимы.
Но если Бог послал тебе правеж
И смертная наглажена рубаха,
Не надо душу растлевать от страха,
А лучше сразу кинуться под нож.
Я не борец — прости меня, о Боже!
Я не герой — вы не герои тоже.
Я не искал судьбы с таким концом,
Чужая мука больше мне не в пору...
Опять звучат шаги по коридору,
Но лучше рот залить себе свинцом.
И я несу свой крест по Иудее,
И ни о чем на свете не жалею,
И пот слепит, и горло жажда ест,
И жгут мне спину оводы и плети...
Но мученики двух тысячелетий
Плечами подпирают этот крест.

* * *

Здесь жили так же, как во всех больницах:
Слонялись коридором, флиртовали
С медсестрами, стараясь заглянуть
В историю болезни, дулись в карты,
Ругали суп, храбрились на обходах,
Встречали жен, шуршали передачей —
Ведь это были люди, те же люди,
Пока еще живые.

И каждый знал, что у соседа рак,
И вон у тех, да и у всей палаты,
У всей палаты, но не у него.

Меня и ужасало, и смешило
Их бедное, бесстрашное неверье,
Святая их наивность... Я об этом
Часами думал на больничной койке,
Сочувствуя и недоумевая.

Ведь я-то знал, что у соседа рак,
И вон у тех, да и у всей палаты,
У всей палаты, но не у меня.

* * *

По отверстию в черепе ученые установили,
что епископ был убит из арбалета.

Из газет

Епископ был убит из арбалета,
Мы все давно предчувствовали это.
Когда он шел, молитвенник держа,
Седой и стройный, в огненной сутане,
Мы ясно понимали, прихожане,
Что он идет по лезвию ножа.
Мы ни на миг о том не забывали,
Когда ему мы руки целовали,
Ловили край одежды, а потом
Судачили, в крутой затылок глядя:
«Он с королем норвежским не поладил —
Теперь ему конец...»

Но дело в том,
Что мы его любили, так любили!
Вчера я плакал на его могиле,

Была долина скорбная тиха,
И шмель гудел, как будто плакал тоже,
И я в слезах твердил: «Великий Боже!
Он снял с меня проклятый груз греха,
Благословил распутного и злого,
Вернул мне мир прикосновеньем слова,
Он дал мне радость на остаток лет».
Я шел и повторял: «Великий Боже!»
Открыл чулан и бросился на ложе...

.....
И на стене качнулся арбалет.

* * *

Стреляла крепость. Было ей прожить
Дней пять иль шесть. Но комендант не верил.
Он на себя ее судьбу примерил.
И усмехнулся. И утратил нить.
А после пушку каждую проверил.

А я стоял у крепостного рва
И повторял последние слова
Деревьям, небу, мужеству, таланту,
Тому, что жил и что еще живу...
Вдруг тень упала рядом на траву —
Я за плечом увидел коменданта.

Мой верный друг, мой старый храбрый волк!
Нет, не укоры совести, не долг,
Другое что-то в мысли мне запало.
И я глядел из горя своего
На выправки военной щегольство,
А крепость все стреляла и стреляла.



Когда я вижу Борю Зеликсона,
Я забываю, что я сам персона.
Я вижу те мордовские края,
Где шел он в ад... И мне б немного ада!
Ну хорошо, не надо, так не надо —
На этом не настаиваю я.
Теперь зима: разминка, ветер, лыжи...
Мне нравится, что он веселый, рыжий,
Что у него печальная жена.
Нальем в стаканы водки или старки!
Бывают новогодние подарки,
Вы — наш подарок... Елка зажжена.
Еще нас ждет удача или слава,
Еще поет нам песни Окуджава.
Что из того, что прошлое в крови?
Нам хорошо — не сломлена отвага.
Поговорим о бурных днях ГУЛага,
О Пушкине, о дружбе, о любви.

ДРУСКИН Лев Савельевич — родился в Ленинграде в 1921 г. Автор семи сборников стихов, вышедших в московских и ленинградских издательствах, член Союза писателей. После обыска, произведенного Ленинградским КГБ в апреле 1980 г., восьмая книга, готовая к печати, была рассыпана, поэт был исключен из Союза писателей (за изъятый на обыске литературный дневник) и под нажимом КГБ вынужден был эмигрировать. Живет в Тюбингене (ФРГ).

СТИХИ

Марлена Рахлина

ИЗ ЦИКЛА «ПРОЗРАЧНЫЙ ОКТЯБРЬ»

* * *

Ведь что вытворяли! И кровь отворяли,
И смачно втыкали под ногти иглу...
Кого выдворяли, кого водворяли...
А мы всё сидим, как сидели, в углу.

Любезная жизнь! Ненаглядные чада!
Бесценные клетки! Родные гроши!
И нету искусства — и ладно, не надо.
И нету души — проживем без души.

И много нас, много, о Боже, как много.
Как долго, как сладостно наше житье!
И нет у нас Бога — не надо и Бога!
И нету любви — проживем без нее!

Пейзаж моей Родины неувядаем:
Багровое знамя, да пламя, да дым.
А мы всё сидим, всё сидим, всё гадаем,
Что завтра отнимут? А мы — отдадим!

БОРИСУ ЧИЧИБАБИНУ

О милый брат мой, каторжник и неуч!
О лучшее сокровище мое!
Ни кесари, ни бедствия, ни немощь
Твое не перемелют бытие.

Твои смешные странные замашки
Я не отдам на справедливый суд:
Ведь у тебя бумажки есть в кармашке...
Бумажки есть в кармашке — в этом суть.

Дворцы и тюрьмы, города и веси,
Все ихнее величье и почет —
Одна твоя бумажка перевесит,
Дух освежит, от духоты спасет.

Твоя казна — особенного рода:
За непорядок твой, за неуют,
За твой глоток шального кислорода
В стране моей свободу отдают.

Ах, всё на свете знаем и опишем:
Что плоть у нас слаба, а дух раним,
И чудо, что еще покуда дышим
На Родине мы воздухом родным,
Что в Божьей воле — Божие творенье,
Слова — и те не вечны, и т. п.

Пусть выживет мое стихотворенье,
Мое стихотворенье о тебе.

* * *

А прошлое, как старый дом.
Там было холодно и тесно,
Но все причинно и уместно,
Расставлено, хоть и с трудом.

Но близок новый переезд,
Вот-вот, с недели на неделю...
А скарб все ветше, груз тяжеле,
Все меньше на повозке мест.

Друг милый, потеснись слегка,
Ведь что упало, то пропало.
Теперь поедem, как попало,
Теперь дорога коротка,

Не плачь! Одна у нас беда,
Что все ломается, все бьется,
И вовсе в руки не дается,
И ускользает навсегда.

Не плачь! Мы легкою стопой
Пройдем пешком пути остаток,
Нагие с головы до пяток,
Зато... Ну, плачь... Ну, Бог с тобой...

* * *

«Ну что, брат Пушкин? — Так, брат, как-то всё...»
То вкривь, то вкось, то впрямь, да ненароком...
Вращается Фортуны колесо:
К кому — спиной она, к кому-то — боком,
К кому-нибудь — немеркнувшим лицом...
Да стыдно ждать, да ожидая спятишь

И, чтоб себя не числить подлецом,
Душе своей — душой своею платишь...
Так краток день, так ненадежен кров,
И бедный быт так жалок и дурашлив,
Не греет ног скудеющая кровь,
Не греет рук скупой очаг домашний,
И умноженье годовых колец
Отяжеляет ствол, отяжеляет...
А где-то там записан твой конец,
И есть, и открываться не желает.
И все живешь... Трепещет волосок —
Голубенькая жилочка сосуда,
И, Боже мой, как сладок жизни сон,
По капле извлеченный отовсюду...

А может, сами пишем мы ее,
Всю нашу жизнь, отделявая строчку
За строчкою, и каждому — свое,
И медлим ли, спешим ли ставить точку,
Но водит Бог старательным пером,
И тем, кого Он в самом деле любит,
Лишь в нужный час, сверкая топором,
Неумолимо голову отрубит.

РАХЛИНА Марлена Давидовна — родилась в 1925 г., живет в Харькове, где в 60-е годы вышли два сборника ее стихов: «Дом для людей» и «Маятник».

* * *

Время еще одному ноябрю.
Вдоль полотна — годовщины и страны.
В парке, забывшись, я долго смотрю
На равнодушные струи фонтана.

Что-то внутри так похоже на боль.
Здесь, где без ветра дыхание стынет,
Я продолжаю играть свою роль
В жизни, что вновь об отце и о сыне.

Как он расспрашивал путь, как искал,
Как уводил над бойницами башен,
Как он в дороге ему отвечал,
Как умолял пронести эту чашу.

Ветер на взморье, и нет ни души.
Помнишь мочалку, монету и пояс?
Как ты отец! закричал, Расскажи,
Папа! в тот миг, когда тронулся поезд.

Годы идут на виду у лица.
Боль постоянная, будто от раны.
В свой день рождения, сын без отца,
В парке я долго стою у фонтана.

Лондон, 1980

* * *

Памяти Давида Дара

Где лежит земля и остро дышит грудь,
очнуться
биеньем,
До конца пройдя необратный путь,
вернуться
в рождение.
Где извита ветвь и девичьи соски
так ровны
и волны
Сини, смертные черты и дрожь руки,
как рондо,
исполнить.
Эта осень в вертоградах, как мосты,
просторна,
и рано
Утром мальчик очищает от листвы
платформу
фонтана.

ДУБНОВ Евгений — родился в 1949 г. в Таллине, с 1960 г. жил в Риге. Учился в Московском университете на факультете психологии. В 1971 г. выехал в Израиль, где окончил факультеты психологии и английской литературы, а затем преподавал в университете английскую и американскую литературу. С 1975 г. живет в Лондоне, научный сотрудник Лондонского университета. Печатал стихи во многих зарубежных русских периодических изданиях, в 1978 г. выпустил книгу стихов «Рыжие монеты». Стихи печатались также в переводах на английский и иврит. Кроме стихов, публиковал рассказы, критические статьи и переводы английской поэзии и прозы.

ОСОБЫЙ ПОЕЗД

Шинели, шапки врассыпную...
Кругом милиция снует.
Сейчас на станцию ночную
особый поезд подойдет.

Он подойдет без объявления
на параллельный путь второй
и вырвет из оцепенья
степной вокзалишко ночной.

Уже он близится, похоже...
Привстал дежурный на носках,
собаки нервничают тоже,
все на коротких поводках,

грузовики за поворотом,
сержант зачем-то взял устав...
И наконец-то вот он, вот он,
неосвященный тот состав.

Пока идет он вдоль платформы,
громадный гость издалека,
решетки едут и плафоны...
Ни одного проводника!

Он не успел остановиться,
а уж при свете фонарей
мелькают за решеткой лица
живых — о Господи! — людей.

Почти под крышами вагонов
толпятся возле потолков

скопления глаз таких знакомых
и очертания голов.

Через коричневые клетки
я сразу, сразу узнаю
тамбовских, вятских и елецких
в глухом заброшенном краю.

Я с ними на путях России
сходилась судьбами не раз,
мы табачок один курили,
одной дорогой шли подчас.

Я всех их знаю поименно,
могу сказать наверняка,
что здесь Иваны и Семены,
мы были за руку рука.

Их всех страна не пожалела,
закон суровый покарал,
теперь их спрятало железо
и поезд кованный собрал.

Кто на решетку лезет тенью,
кто просто грубой пятерней,
и создается впечатление,
что там их, тьма их, Боже мой!

До самой будки станционной
вагоны, выстроившись, ждут...
А дальше женские вагоны,
в которых плачут и поют.

Повсюду сомкнутые веки,
зверьками мечутся зрачки,
об изумительном побеге
и не мечтается почти.

Но, словно бы беспокоясь —
свисток! И взмыли провода...
Двадцатый век! Особый поезд.
И не прошедшие года.

* * *

По всей округе свист и вой,
пурга гуляет...
Прожектор в зоне, как слепой,
не пробивает.
И занесенные посты
поникли вроде...
Десяток метров полосы
и — на свободе!

Часовой, а часовой,
ты живой иль не живой?

На полосе пощады нет
и нет защиты,
здесь по всему живому вслед
огонь открытый.
Фигуркой черной на снегу
ты, как перчатка...
И, задыхаясь на бегу,
летит овчарка...

Часовой, а часовой?
Ты владимирский, тверской?

Четвертый час летит метель,
посты продрогли...
И полушубок, и шинель
насквозь промокли.

И не дожидаться смены в шесть,
укрыться как бы...
И, если это все учесть,
сыграем в карты?
Часовой, а часовой?
Автомат заряжен твой?

БИЧИ

До свидания! Уезжаю!
Не реви, не свисай с плеча...
Не на деньги тебя меняю,
а на сладкую жизнь бича.

Внешне выглядит: баржи, грузы...
Матерщина до облаков.
Точно брачные рвут союзы,
рвутся тросы крановщиков.

Все, что тянется к Салехарду,
мы встречаем у пристаней,
все поставившие на карту,
позабывшие матерей.

Салехардское небо в тучах...
Килограммов семьдесят пять
мне бросает на плечи чукча
по фамилии еб твою мать.

Можно верить ему как другу,
вместе в ведомости стоим...
Нас спаяла бутылъ по кругу,
да на семьдесят тонн калым.

Этой ночью у нас зарплата...
Запираются на ключи
раздвижные ворота склада...
Где ночуете вы, бичи?

Может, в дымной конторке едкой,
может, в барже, на дне стальном?
Или с грязной портовой девкой
забываетесь сладким сном?

Мы наутро о том узнаем...
Навигация не прошла!
Вновь над Обью, над самым краем,
разворачивается стрела.

* * *

Не о мертвых телах, не о памяти их,
захлебнувшихся в водах сивашских в итоге...
Об оставшихся я сожалею в живых,
потому что не будет обратной дороги.

Потому что обратной дороги и нет...
Для орущих, вцепившихся в конский загривок,
для разутых творцов легендарных побед
не в лицо пулеметы, а только в затылок.

Не за умерших Федоров, Викторов, Валь,
что лежат на воде в перекопском болоте,
я поставлю свечу за умчавшихся вдаль,
потому что назад их уже не воротишь.

Им сейчас не до нас, уходящим в таран,
но когда мы потом обернемся обратно,

вместо ран пулевых, затянувшихся ран,
несмываемы выйдут на совести пятна.

Эти пятна не столько улики убийств
и не варфоломеевы даже потери,
не колючей опутанный проволокой Бийск,
а взошедшее на пьедестал лицемерье.

Не голодные тени больших городов,
не пустые прилавки, что перед глазами,
а румянчики сытых партийных голов
доказали, что вы промахались руками.

А дорогу назад обхватила трава...
Оглянувшись, уносятся конники дальше!
Неужели во имя идей воровства?
Неужели их шашки не чувствуют фальши?

Накричатся бойцы, занимая Джанкой,
я боюсь, до того они горлом охрипнут,
что за всю свою жизнь, до доски гробовой,
худосочные внуки их даже не пикнут.

Это что впереди — не Сапун ли гора?
Прорывайся долинами, конная лава!
Мы замолкнем навеки под крики «Ура!»,
мы во лжи зарастем за раскатами: «Слава!»

И у Черного моря наступит конец,
и вдогонку взлетающим вверх бескозыркам,
как одну за одной прирезают овец,
вас повыведут за руки вместе с Якиром.

И отпрыгнет рассвет от стволов боевых,
закружится на небе дорога обратно...
Об оставшихся я сожалею в живых!
Им опять и опять ничего не понятно.

Потому что мозги им повернуты вспять...
И настолько запутано ихнее дело,
что осталось поставить их метров на пять
и, чтоб все же дошло, навести парабеллум.

Я хочу, чтоб в лицо вам ответили: «Пли!»
И чтоб эта команда звучала по-русски...
Ничего, что уже не подняться с земли,
постарайтесь на локтях привстать, как в кутузке.

И, уставившись ввысь, в бесконечный предел,
на далекое, синее, просто на небо,
прочитайте по буковкам слово **р а с с т р е л**,
как в колонках газет об ушедших налево.

РУБИН Валерий — родился в 1938 г., учился в Московском институте тонкой химической технологии. Работал инженером. Сейчас живет в Люберцах, работает сторожем.

**УЧАСТНИКАМ И ПУБЛИКЕ КОНГРЕССА
«ПИСАТЕЛЬ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА»,
ПИСАТЕЛЯМ И ЧИТАТЕЛЯМ ВСЕХ СТРАН,
ГДЕ БЫЛА ИЗДАНА КНИГА АНАТОЛИЯ МАРЧЕНКО
«МОИ ПОКАЗАНИЯ»**

Анатолий Марченко, первым свидетельствовавший о после-сталинских лагерях, уже отбывший 15 лет в тюрьмах, лагерях и ссылках, ныне приговорен к 10 годам лагеря и 5 годам ссылки. Трудно надеяться, что его организм, истощенный прежним заключением, окажется столь же сильным, как его дух, и не надломится, выживет. Приговор Марченко — замаскированная, растянутая на годы смертная казнь.

Требуйте немедленного освобождения Анатолия Марченко. Адресуйте советским властям индивидуальные и коллективные письма, телеграммы, петиции. При встречах с советскими деятелями культуры напоминайте им о писателе, гниющем в лагере. Не успокаивайтесь, не уставайте. Пусть судьба Марченко будет раной совести каждого из нас.

Иосиф Бродский, Наталья Горбаневская, Василий Аксенов, Роман Фин; Йозеф Шкворецкий, Иржи Груша, Эдена Томинова, Юлиус Томин (Чехословакия); Арвед Вийрлайд (Эстония); Маргарет Этвуд, Джун Колвуд, Наим Каттан, Мишель Палонд, Тимоти Финдли (Канада); Бритт Аренандер (Швеция); Винсент Бакли (Австралия); Ганс-Кристоф Бух, Ганс-Магнус Энценбергер (ФРГ); Кэролайн Форш, Аллен Гинзберг, Сьюзан Зонтаг, Джошуа Рубенштейн (США); Надин Гордимер (Южная Африка); Эдуардо Галеано (Уругвай); Луиза Валенсуэла (Аргентина); Алан Силитоу, Майкл Скэммел (Англия); Воле Соинка (Нигерия).

Торонто, 3 октября 1981

Россия и действительность

Юрий Мальцев

ЧУДО ПРИРОДЫ

«Сударыня! По-моему, Россия есть
игра природы, не более».

Достоевский. Бесы.

Свое известное эссе о Кафке Вальтер Беньямин начинает с пересказа пушкинской дневниковой записи о князе Потемкине. Примечательно, что выдающийся эссеист, подбирая ключ к кафкианскому миру абсурда, обратился именно к русской жизни и к русским характеристам. Иррациональность русской истории, русского быта, русского человека часто нас ошеломляет, вызывает восторг, ненависть, смех сквозь слезы, слезы умиления и слезы отчаяния.

Пожалуй, история ни одной другой страны не дает такого простора для прямо противоположных толкований. В русской истории мы находим все, что угодно, причем это «все, что угодно» одновременно и параллельно. Если верно, что все исторические концепции характеризуют скорее авторов концепций, нежели историю, то для России это верно вдвойне. Берусь на пари в кратчайший срок подобрать необходимое количество фактов русской истории для подтверждения любой исторической концепции. Не значит ли это, что смысл истории метаисторичен? И что в переводе на язык рациональных понятий (концепций) это означает, что у нее нет смысла вообще, как нет его у растущего дерева, все шире и все причудливее раски-

дывающего шатер своих ветвей? Мы, конечно, можем, и даже должны, придавать ей смысл, но это всегда наш смысл, а не ее. И это, конечно, не означает, что история не несет в себе для нас уроков и предостережений. Хотя, как говорил Бернард Шоу, самый большой урок истории состоит в том, что история никогда никого и ничему еще не научила.

Мы сегодня с упорством маньяков всматриваемся в наше прошлое (от нас сокрытое мудрой партией) и ищем в нем ответа на наши сегодняшние вопросы. И всматриваясь в это прошлое, замечаем, что мы повторяем всё те же жесты, как наша национальная игрушка ванька-встанька. Словно Россия — это какое-то заколдованное место, где всякий, едва ступив, пускается в бесконечный и однообразный пляс. Устойчивость типов поразительная: тургеневский Кисляков, с его «полюби не меня, но идею!» — вполне большевик, а чеховские интеллигенты сегодня толпятся в курилках НИИ. И снова, как прежде, русские мальчишки до хрипоты, ночи напролет спорят о будущем России. При этом, само собой, настоящее — отвратительно и невозможно, будущее же — оно у нас всегда великое и прекрасное. И снова с какой-то карикатурной старательностью общественное движение наше повторяет прошлые схизмы. Как будто так уж навсегда мы обречены плыть меж Сциллой западничества и Харибдой славянофильства.

Но плохо, конечно, не то, что есть у нас сегодня снова западники и славянофилы, а то, что и те, и другие не на высоте ситуации. Оговорюсь сразу же, это не порок наших сегодняшних деятелей: и среди западников, и среди славянофилов есть много светлых голов и незаурядных личностей, — но дело в том, что сами наши российские проблемы предстают сегодня как неразрешимые. Точнее говоря, проблемы не то чтобы неразрешимы, а в высшей, небывалой до сих пор степени антиномичны. Едва мы начинаем с жаром

утверждать блеснувшую нам истину, как тут же начинает обрисовываться очевидность истины противоположной. И чем упорнее мы цепляемся за полюбившуюся истину, тем быстрее стукаемся лбом о тупиковую стенку. Эта антиномичность характерна почти для всех проблем сегодняшнего усложнившегося мира, но в свободной его половине этой грозной антиномичности противостоит мощная армия профессиональных исследователей, вооруженных новейшей технологией и новейшей методологией, объединенных продуманной организационной структурой. Мы же в одиночку, опираясь лишь на наши разрозненные знания и на нашу личную интуицию, пытаемся дать ответ на ошеломительные проблемы нашей великой страны, а это все равно, что пытаться построить реактивный самолет с помощью молота и наковальни. Все призывы ко взаимной терпимости и сотрудничеству, раздающиеся все чаще с разных сторон, мне кажется, будут повисать в воздухе до тех пор, пока мы, смирив свою гордыню, не признаем, что мы не знаем нашего прошлого, что мы не понимаем нашего настоящего и бесильны перед нашим будущим.

Но ведь это капитуляция! — скажут мне. В том-то и дело, что нет. С признания: «я знаю, что я ничего не знаю» — началось познание и самопознание человечества. Сознание неизбежной смерти и своего бессилия перед ней отличает человека от животного, придает его жизни совсем особое качество. Отсюда все взлеты человеческого духа. Самоуверенность всегда признак незрелости и ограниченности. Терпимость вообще редкое качество, и не очень-то ее потребуешь от людей (как и доброту, благородство и т. п.). Но чем шире информация у человека и чем шире его угол обзора, тем осторожнее он в своих заявлениях и, следовательно, терпимее. Нетерпимость — плод невежества.

К сожалению, отсутствие у нас обстоятельных социологических, философских, экономических и исторических исследований порождается не сознанием сложности и неразрешимости вопросов; а нашей русской леностью, или, мягче говоря, артистичностью, нашей непредрасположенностью к систематическому теоретическому мышлению. Оригинальная философская школа возникла у нас лишь в конце прошлого века, и сардоническое замечание Ремизова, что даже русскую грамматику написали за нас немцы, сохраняет по сей день весь свой эмблематический смысл. Очень характерно, что самое глубокое исследование нашего нынешнего общества появилось у нас в виде художественного произведения и самый серьезный анализ нашего недавнего прошлого — в виде «художественного исследования». И еще характернее то, что литература есть, а настоящей литературной критики нет.

При этой нашей особенности железный занавес оказался для нас убийственным. Сам русский язык наш сегодня несовременен: отсталый понятийный аппарат, негибкость — то, что с такой легкостью и изяществом высказывается сегодня в западной научной литературе и эссеистике, лишь с большим трудом, неадекватно, используя неуклюжие кальки, можно перевести на русский.

Только на таком полном безрыбье возможен оказался блеф западных коммунистов, рекламирующих Роя Медведева в качестве крупнейшего нашего историка. Если добавить: крупнейшего и единственного, — то мы будем недалеко от истины.

Есть еще в этом отталкивании от теоретизирования и программирования своего рода инстинктивная мудрость, как и в знаменитом русском «авось». Авось, все устроится само собой, жизненные силы сами найдут себе выход, не надо мельтешить. Такое отвращение к теоретизированию вполне понятно: после того как нам десятилетиями вдалбливали схемы, «научно»

объяснявшие ход истории и «научно» предсказывавшие будущее, чего ж еще ожидать. И, наверно, только у нас сегодня звучит едкой издевкой поговорка: «он знает, как надо». Но дело в том, что само собой на этот раз не обойдется. Катастрофа надвигается медленно, но неотвратно. И приближение ее все мы чувствуем.

Что касается анализа нашей ситуации, то кое-какие удачи все же имеются. Правда, фундаментальных работ еще не появилось, а есть лишь несколько неплохих книжек (очень немного, раз-два и обчелся) с отдельными острыми мыслями и меткими замечаниями, есть удачные журнальные статьи. Что же касается поисков выхода, то тут — лишь поверхностные программы, грешащие приблизительностью, абстрактностью и утопичностью. И грешат этим как славянофилы, так и западники.

На крайнем левом фланге западничества (или крайне правом, зависит оттого, с какой стороны смотреть: если с запада на восток, то левом, а если с востока на запад, то правом) разместились еще не вымершие окончательно и редкие у нас, как беловежские зубры, социалисты. Нужно отдать им должное: именно из их среды раздаются призывы к уточнению позиций, и именно они указывают на срочную необходимость серьезных теоретических разработок. Но удивительно, что именно их позиции наиболее уязвимы. У них-то как раз и нет не только убедительной программы, но даже серьезного анализа. Вместо анализа — голословное отрицание очевидного: марксизм не виноват в том, что произошло с Россией. «Классовая борьба», конечно же, не оттуда, и «историческая необходимость», именем которой действуют постигшие «научное учение» и освободившиеся от груза совести, тоже не оттуда. Скучно повторять здесь уже всем известные истины, тем более, что все доказательства отскакивают, как горох от стенки, потому что защит-

ники марксизма имеют в виду не реального Маркса, автора «Коммунистического манифеста» и других не менее замечательных произведений, а мифического Маркса, великого гуманиста и демократа, существующего лишь в их воображении. Не виноват — и всё.

А меж тем, все настолько взаимосвязано в этой жуткой доктрине и с такой логической неизбежностью одно вытекает из другого, что даже, казалось бы, совершенно второстепенные и случайные черты советской системы, когда к ним приглядишься, оказываются вовсе не случайными. Например, стиль советской демагогии. «Теория способна овладеть массами, если она апеллирует *«ad hominem»*, и она может апеллировать *«ad hominem»*, если она радикальна», — читаем мы у Маркса. Если абсолютная истина — идеалистическая выдумка, а человек — экономическое животное, руководствующееся не разумом и сердцем, а «интересами», то все именно так и должно быть.

В попытках спасти марксизм от ответственности наши неомарксисты стали даже утверждать в последнее время, что советская власть уже не в тенденции только, а в реальности опирается сегодня не на марксистскую идеологию, а на националистически-патриотическую. Должно быть, патриотизм заставляет советских руководителей держать в голоде свой народ и мешает им заменить обанкротившуюся колхозную систему («высшую форму собственности — социалистическую») частным предпринимательством. Должно быть, национализм заставляет их сажать в лагеря за критику марксизма, за чтение книг патриота Солженицына и т. д. КПСС только марксизмом может оправдать свое господство над обществом и жертвы народа. Тот факт, что сами они давно уже ни в какой марксизм не верят, дела не меняет. Компартия будет держаться за марксизм до тех пор, пока будет держаться за власть. Ничего другого ей не остается. А игра на патриотических чувствах русского народа

входит необходимым побочным элементом в ее демагогию. Грузин Сталин пил «за великий русский народ» не из националистических чувств.

Нет, безнадежное дело — рубить генеалогическое дерево. Хотелось бы оставить от него одну лишь благоухающую веточку, да не на чем ей укрепиться, повисает она в воздухе. И никуда не денешься: Карл Маркс — родной дедушка Леонида Брежнева.

Большинство наших социалистов, впрочем, уже отказалось от Маркса и признало его ответственность за все ужасы коммунизма. (Уж на что Рой Медведев правоверный, и то заявил, что предпочитает называть себя не марксистом, а социалистом, не все, мол, устраивает его в учении основоположника.) Они восприняли дух Бад-Годесберга и... пришли к ошеломляющему открытию — то, что мы имеем сегодня в России, это не социализм! Оправившись от изумления, мы спрашиваем: почему? Да потому что не об этом мечтали лучшие умы человечества (ничего себе довод!). Ну так что же такое социализм? Ответа будем ждать тщетно, ибо нельзя же назвать ответом благодушные и расплывчатые пожелания и утверждения настолько абстрактные, что с ними даже и спорить невозможно. Нельзя ведь серьезно спорить с человеком, утверждающим, что общество должно быть справедливым, что люди должны быть гуманными и что хорошо было бы организовать самоуправление производителей. А между тем крах «реального социализма» (и уже не только в России, а по всему миру — и в Азии, и в Африке, и в Америке), страдания и ужасы, которые он с собой принес, казалось бы, обязывают социалистов, прежде чем заявлять, что все это не социализм, убедительно доказать, что социалистические идеи могут привести к чему-то иному. То есть обязывают их конкретно показать: к чему, при каких условиях и каким именно образом.

Я говорю все это безо всякой предвзятости, наоборот, желая им добра. Додумывание до конца всех возможных гипотез — в наших общих интересах. А в этой терминологической путанице заключена огромная опасность для них самих и для других. Марксисты-ленинцы и «демократические социалисты» действуют под единым лозунгом социализма, совершенно уже выхолощенным, утратившим всякий реальный смысл и несущим в себе лишь эмоциональную нагрузку и демагогическую приманку для улавливания алчущих масс. Но в решающий момент верх возьмут именно марксисты, потому что по сравнению с ними социалисты-демократы выглядят действительно непоследовательными «ревизионистами» и болтунами. Они лишь помогут загнать народ все в ту же самую ловушку в погоне все за тем же оптическим обманом.

До какой степени слово социализм утратило всякий смысл, видно также из того, что некоторые социалисты, почувствовав невозможность коллективистской цивилизации (человеческой, а не муравьиной) без религиозной соборности, стали говорить о сочетании социализма с христианством, с тем самым христианством, против которого как раз и были направлены первые удары не только «научного» социализма Маркса, но и всякого социализма вообще, детища просветительства. Демократические социалисты стоят перед трудной дилеммой: либо, оставаясь на базе материализма, признать необходимость частной собственности, не только исторически, но и концептуально связанной с правами человека и независимостью личности, либо признать необходимость религии. И в том, и в другом случае социализм превращается в свою противоположность, и дальнейшее настаивание на этом термине становится лишь несерьезной игрой слов.

Куда как многочисленнее у нас, однако, западники либерально-демократического толка. Их отличает от

социалистов и славянофилов безмятежность. Первые мучатся крахом реального социализма, вторые — вырождением и гибелью русского народа. Либеральным демократам мучиться нечем — им все ясно. Нечего открывать снова Америку, все уже продумано и проверено на практике в передовых странах, нам остается лишь следовать их примеру: завести у себя свой собственный парламент, партии, профсоюзы, независимые суды и прочие приятные вещи. Не долго думая, предлагают нам в качестве программы ни более, ни менее, как швейцарскую конституцию! Чего там голову ломать, когда можно переписать.

Еще не приступив конкретно к разбору этих предложений, начинаем испытывать некоторое неудобство от сомнений общего характера. Значит, не признаётся за нами право и возможность иметь свою историю и свою судьбу? И это после того, как столько было говорено о «планете Россия», такой загадочной, такой непохожей? И не нами одними говорено, кстати, а чужими тоже. Все это по боку? И не странно ли слышать эти предложения в тот самый момент, когда западная демократия очутилась перед необходимостью радикального пересмотра своих институтов и принципов? Не только радикального, но и срочного, если не хочет погибнуть. И пересмотр этот начинается с самого слова «демократия», ибо никакая она не демократия — «власть народа», — а власть класса профессиональных политических деятелей, власть партий, с установками которых все менее склонны отождествлять свои устремления избиратели. Конфликт уполномоченных и уполномочивающих разрастается (и если даже в сфере политики он обретает такую остроту, легко представить себе, в какой тупик завело бы нас проповедуемое социалистами «самоуправление производителей», ведь в экономике вопрос профессиональной компетенции станет с еще большей остротой). Не странно ли слышать эти предложения (про-

должим наш риторический вопрос) в тот момент, когда общепринятые принципы правового государства привели к такому положению, что (кошунственно звучит!) правопорядок оказывается безнравственным? Разве не безнравственно, что убийцы-террористы, когда еще не остыли слезы жены и детей ими убитого — убитого подло, трусливо, в спину, — устроив в тюрьме скандал из-за того, что бифштекс подан холодным (а запивают его, кстати говоря, шампанским и заедают черной икрой), диктуют администрации свои условия (взяв для этого заложниками надзирателей), и правосудие принимает эти условия? Затем в зале суда они обрушивают ругань и угрозы на бледных от страха судей и в результате нередко оказываются на свободе, например, ввиду истечения срока предварительного заключения или из-за несоответствия доказательств обвинения правовым стандартам. Правопорядок, неспособный защитить невинных от насилия и шантажа, неспособный защитить честных от глумления и неспособный наказать преступников, — безнравственен. Этот правопорядок был рассчитан на другие времена и нравы, его делает нежизнеспособным новая цивилизация, дуновение которой все мощнее пробегает по лицу мира, и несется это дуновение из просторов родины чудесной, где этот самый порядок предполагается установить.

Все это наводит на печальную мысль, что западная демократия была лишь прекрасным и кратким сном человечества (небольшой части его, точнее), от которого оно снова возвращается к суровой действительности.

Но оставим эти общие рассуждения и перейдем к конкретным планам западников, а то, я уже чувствую, мне собираются предъявить цитату из Черчилля о том, что изо всех несовершенных и плохих форм правления демократия наименее плохая и т. д. Итак, конкретно. В новой свободной России будут проведены

свободные выборы, созданы политические партии... Стоп! Сразу же возникает небольшая заминка — не ясна одна маленькая деталь: откуда вдруг возьмется эта новая свободная Россия? Сама собой, без нас? Но ведь совершенно очевидно, что «свободная Россия» мыслима лишь как конец очень трудного и сложного пути, а не как исходная посылка. Как же можно так легкомысленно бросаться словами!

Да, может быть, на этом пути придется экстренно решать более неотложные вопросы, чем создание политических партий, — например, как спасти от лучевой болезни оставшееся еще кое-где чудом в глухомани население, сначала спасти, а потом уж строить с ним новую Россию, или, может быть, придется тушить грандиозные пожары межнациональной розни. Да чего только ни свалится на нашу голову, если мы будем сидеть и ждать чудесного появления новой свободной России, готовой торжественно принять из наших рук прекрасную швейцарскую конституцию.

Ладно, не пугайте, скажут мне, люди не такие уж дураки, и от крови все устали. Все произойдет мирненько и без катастроф. Ну, разгромят кое-где райкомы и сертификатные магазины, цекисты и гебисты попрячутся, войска перейдут на сторону народа. Власть пала, назначайте свободные выборы. Верится с трудом, но предположим. Я вот как раз недавно наблюдал свободные выборы здесь в одном небольшом поселке. Около трех тысяч жителей, два банка, три гостиницы, три церкви, три автозаправочных станции, два автосалона, почта с телеграфом и международным телефоном-автоматом, почти во всех домах, конечно, тоже телефоны, два газетных киоска, где продаются любые газеты и журналы, около двух десятков конкурирующих фирм (четыре из них имеют тут небольшие фабрики, у остальных мастерские и магазины), представительства и секции независимых обществ, ассоциаций, политических партий, имеется еще и своя

собственная местная партия, участвующая в административных выборах. Все пронизано крепкими инфраструктурами, сложно взаимодействующими и органично вписывающимися в целое, которое держится само собой, безо всякой внешней власти, своей собственной структурой, подобно кристаллу. Сравните этот кристалл с той кашеобразной массой, которую являет собой нынешняя российская жизнь, нуждающаяся в твердых бетонных стенках и перегородках, без которых все расплзется, разольется и выльется чёрт знает во что. Выборам в Думы и в Учредительное Собрание предшествовала многолетняя кристаллизация нашего общества по этому типу, сейчас мы вернулись к нулю, а процесс кристаллизации общества невозможен при существующей структуре тоталитарной власти.

И вот силюсь я представить себе в воображении такие выборы в какой-нибудь нашей Архиповке, временно переименованной в Ворошиловку или в Красный Маяк, где в покосившейся избе помещается сельпо с ассортиментом, состоящим из глинобитного хлеба, десятилетней свежести консервов и водки (впрочем нет, водку разбирают еще на подступах, ящиками прямо с грузовика), где улицы представляют собой причудливые ухабы, превращающиеся во время дождя в болото, где посреди этого болота возвышается доска почета, с которой глядят на нас угрюмые свиноподобные ряшки передовиков и где трепещет на ветру красное полотнище лозунга: «Решения партии — в жизнь!», висящего с незапамятных времен, так что много уже решений сменилось на противоположные, буквы повыцвели, материя ветшает, но лозунг не теряет своей актуальности и силы: где все, от председателя колхоза до сопливых мальчишек, беспробудно пьют, матерятся и воруют, где... Впрочем, остальное дорисуйте сами. И в таких Архиповках живет пол-России. Ну, да и города не лучше. И вот пытаюсь

я вообразить себе эти выборы, а воображение отказывает. Или рисует что-нибудь фарсовое: голоса, покупаемые за пол-литра и т. п.

Значит, у папуасов возможна демократия, возражат мне резонно, у эскимосов возможна, а у нас нет? Верно, все верно. Ну а если конкретно? Папуасы и эскимосы не знали тоталитаризма. Где у нас класс политиков-профессионалов, обладающих достаточной эрудицией, опытом и способностью изъясняться внятными для народа языком? Кто поведет новую Россию и куда? Да что там поведет! Кто вообще способен организовать такие выборы?

И так со всеми предложениями западников: издали — заманчиво, вблизи — несерьезно и утопично. Взять хотя бы бесспорный, казалось бы, тезис о правопорядке. Даже он начинает выглядеть утопичным, когда беремся его примерять не той стороной (это гениально проиллюстрировал Чехов в «Злоумышленнике»). Справедливо указывают на наше слаборазвитое правовое сознание как на одну из причин наших бед, но вместо того, чтобы как раз и учесть эту особенность, предполагают спасти Россию именно правом, Россию, в которой и правители, и подданные исходят из представления: «Закон что дышло, куда повернул, туда и вышло». Меняют местами производное и производящее. Забывают, что право — это лишь формализация определенных обычаев, норм и понятий общества, что право, в идеале имея тенденцию слиться с моралью, то есть стать излишним, существует именно как прагматическое признание разрыва между идеалом и действительностью и что в наше время, когда разрыв этот стал огромным, законность и справедливость все реже совпадают. Наивно смешивая законность со справедливостью, наши правозащитники видят в праве некую панацею, так что даже почитают высшей добродетелью соблюдение любых законов, в том числе и советских — брежневской Консти-

туции, увековечивающей однопартийную систему и контроль компартии над всеми сферами жизни, закона о принудительном труде, закона об антисоветских (то есть всяких независимых) организациях и т. д. Они до того зачарованы идеей закона, что в страстном солженицынском пафосе возмездия и справедливости не увидели ничего, кроме беззакония. Стукачей в лагере нельзя убивать, их надо судить. Где, каким судом? По каким законам, какой страны и какой эпохи? Да любой законник вам скажет, что информирование администрации о поступках и словах заключенных не несет в себе состава преступления. Во всем мире это практикуется. И с такими мерками нам советуют подходить к страшной ситуации сталинских лагерей. Как он, Солженицын, посмел восхищаться дикими чеченцами, а не законниками! А то в голову не приходит, что если бы все наши 200 миллионов были такими, как чеченцы, то эти самые сталинские лагеря были бы просто невозможны.

Ни одно общество еще не держалось на праве, а всегда на устоях более фундаментальных, по отношению к которым право является чем-то вспомогательным. Если бы все люди, например, считали для себя допустимым воровство и убийство, то никакая полиция в мире и никакое право не в силах были бы остановить всеобщий грабеж и взаимоистребление. И эту нашу-то, Господи, тяжеловесную Россию предлагают спасти, утвердив ее на такой хрупкой вещичке! Да где тот Солон, которому по силам такая задача?

Законники сформулировали (и надо сказать, довольно односторонне) принципы нашего движения за права человека (права ведь здесь неточное слово, имеются в виду не юридические, а скорее божественные права). На этих принципах решили построить программу. Только борьба за права человека, в том числе за экономические права, особенно близкие народу, может привести к мирному и постепенному переходу от

тоталитаризма к демократии, говорят нам. И на этом успокаиваются. Но тоталитаризм никогда еще не переходил мирно в демократию, и чтобы такой переход в самом деле стал возможностью, а не благим пожеланием, надо разработать стратегию и тактику этой борьбы за права, надо найти ее эффективные методы и формы. В том же виде, в каком эта борьба ведется сегодня, она может вестись еще лет триста, и все с тем же успехом. Она для режима — как легкое щекотанье носорожьего брюха. Он даже ловко использует ее, когда надо. О каком тоталитаризме вы кричите, говорят мне здесь коммунисты, когда жена Сахарова ездит лечиться в Сиену, а Медведев в своей московской квартире дает интервью западным корреспондентам. Попробуйте им объяснить.

Всё бесспорное издали, в пожеланиях наших западников, при ближайшем рассмотрении оказывается спорным. Антиномия показывает свое второе лицо, и все глубокомысленные программы оказываются наивным ребячеством. Слишком далеко ушла Россия за последние 60 лет от общечеловеческих мерок.

Вот, чего уж бесспорнее — желательность для нас достижения западного жизненного уровня и западного образа жизни. Рискну высказать возмутительную мысль: быть может, материальное изобилие лишит нас всех наших привлекательных качеств и превратит нас в нацию невыносимо пошлых мещан. Взгляните на нынешнюю советскую буржуазию — куда там западным буржуям прошлого века, столь беспощадно разоблаченным реалистической литературой. Советский буржуй утратил почти все человеческие признаки. И кто из нас не повторит вслед за Розановым: «Когда истинно русское станет торжествующим, я уйду от него. Ведь оно захрюкает. Но я безумно люблю его в теперешнем страдальчестве». Таков парадокс — христоподобные калики у нас очень быстро превращаются в самодовольных Скотининых.

Мы ступаем на неведомую почву, натываемся на неслыханные задачи. И Россия лежит перед нами как некий магический круг, который мы тщетно пытаемся измерить квадратными метрами. А она все ускользает и ускользает.

Ну, хорошо, скажут, с западниками ясно. Значит, по-вашему, вся надежда на славянофилов? Они-то уж пришли, должно быть, хоть к чему-то дельному? Странно, но их программы еще менее реалистичны, чем западнические. И основываются они, как ни странно, не на подлинном знании сегодняшней России и не на серьезной оценке ситуации, а на мифах. Один из них — миф о религиозности русского народа. Наиболее зоркие наблюдатели нашей революции, смотревшие на нее с совершенно разных позиций, столь непохожие друг на друга наблюдатели, как, например, Короленко и Розанов, указывают нам на несостоятельность этого мифа и считают, что эксцессы нашей революции в значительной мере объясняются именно отсутствием в народе глубоких религиозных (и, следовательно, нравственных) корней. В один день вдруг все слетело, как в баню сходили и смыли все с себя. Иначе, кстати, и не объяснить успех материалистической большевистской пропаганды. Ссылки на репрессии против церкви не только не опровергают этого вывода, а напротив, дают подтверждение. Где народ действительно религиозен, там арестами священников и поджогами церквей религии не искоренишь, а разве что, наоборот, укрепишь. Польша, Литва и Западная Украина дают нам пример. Когда наши собиратели икон пошли по русским деревням, они в хлевах и сараях открывали шедевры XVI-XVII в., использовавшиеся в качестве простых досок, и население смотрело на этих собирателей как на чудаков, откапывающих ненужную рухлядь. Это крестьяне, а о городских уж и говорить нечего.

Отвращение к антидуховности марксизма, сознание, что в самой основе советского террора лежит отрицание личности, и сознание, что обосновать ценность человеческой личности можно, лишь исходя из идеи божественности человека или, во всяком случае, его духовности, побуждает значительную часть нынешней советской интеллигенции обращаться к христианству. Из этого делают вывод, что спасет Россию религиозное возрождение. Но основные-то массы населения движутся в прямо противоположном направлении. Прав Померанц, когда говорит, что наша история развивается, к сожалению, не по Сахарову и не по Солженицыну, а по Венедикту Ерофееву. Славянофилы желаемое выдают за действительное и на нереальной предпосылке строят свою программу реального действия. Религиозное возрождение, если таковое действительно произойдет, возможно лишь как какой-то последующий этап народного оздоровления, а не как его начало. Надо сначала встать с четверенек и поднять голову, чтобы увидеть Бога.

Многих настораживают недоговорки славянофилов в вопросе конкретного социального строительства. Политическое устройство рассматривается ими как нечто второстепенное, над чем особенно и думать не стоит. Кое-кто так прямо заявляет: «Перед лицом уничтожения нации вопрос о правах человека представляется несущественным». Чудовищен здесь этот разрыв, это противопоставление прав и национальных интересов, предположение, что здоровая жизнь нации вполне мыслима без прав. В иные времена не было прав, но была свобода (воля). В наше время отсутствие первого означает и отсутствие второй. Если западники возлагают все надежды на право, то славянофилы, кидаясь в другую крайность, предполагают обойтись без права вообще.

К тому же, в одной из самых ранних неославянофильских программ ясно было сформулировано тре-

бование теократии. Более роковую ошибку трудно себе представить. Вместо того, чтобы исправить великий исторический грех православной церкви, от которого и ее слабость в прошлом, и ее нынешняя жалкая роль при советских правителях — грех слияния с мирской властью, — предполагают это слияние узаконить.

Отсюда и тревожные сомнения: а как же с атеистами быть (которых по скромным подсчетам сегодня 80%), как быть с нехристиами? Все здесь недоговорено, нечетко, несерьезно и утопично.

Мифом оказывается при ближайшем рассмотрении даже само выражение «русский народ», которым с такой беззаботностью оперируют славянофилы. Слово «народ» уже в прошлом веке мало соответствовало какой-либо реальности, сегодня же оно окончательно вытеснено в область поэзии, риторики и демагогии. Вот я живу сейчас в стране, которую по праву называют колыбелью европейской цивилизации. На каждом шагу следы великого прошлого, потрясающие памятники искусства, творения величайших гениев во всех отраслях культуры, дивные города-республики, примеры мудрости, благородства, святости. Кому бы уж, казалось, и восторгаться своим народом, как не им. Но услышать сегодня здесь слово «народ» можно лишь в ироническом контексте или в устах совсем уж тупого демагога. Мы же на поэзии пытаемся строить социальные программы. Путая мечты и действительность, прошлое и будущее, сказку и быль, поэзию и реальность, блуждаем в каком-то полусне, туманные грезы принимаем за опыт, красивую декламацию за мудрость и сладкозвучные заклинания называем программой действий.

Если заострить мысль до парадокса, то можно было бы утверждать, что нет сегодня никакого такого «русского народа». Есть огромное количество советских людей, очень разных, очень не похожих друг на друга, а главное, совершенно не похожих на то, что

славянофилы вкладывают в понятие «русский народ» (нешадно путаемое ими с понятием нации). И неизвестны нам ни количественные, ни качественные соотношения внутри этой огромной массы, ни векторы сил и тенденций. И при этом нашем незнании мы самоуверенно и безответственно оперируем магическим словосочетанием «русский народ».

Если мы хотим сохранить этот термин не как простое указание на некоторое количество людей, живущих в определенных государственных границах и говорящих на русском языке, если хотим наполнить этот термин конкретным смыслом, то мы прежде всего должны признать, что нам неизвестно, что такое сегодняшний русский народ. И менее других это знают наши славянофилы. Вместо того, чтобы серьезно заняться таким узнаванием, они погрузились в библиотечную пыль. Не говорю, что это не нужно. Нужно, да еще как, при нынешней нашей утрате исторической памяти, но одного этого мало.

Из верной посылки, что нация — это дух, нация — личность, славянофилы делают вывод, что личность эта вечна и неизменна и что, раз отыскавши ее в прошлом, можно спокойно моделировать на этой основе будущее. В прямом противоречии с тем, что я говорил выше о стойкости наших типов, но в полном согласии с тезисом об антиномичности рискну заявить, что лелеемый славянофилами образ нашей нации не соответствует сегодняшней действительности. То же, да не то. Похоже, да не совсем. И вот вместо того, чтобы серьезно изучать эту инобытийность во всей ее схожести-непохожести, наши славянофилы заняты академическими спорами и филологическими изысканиями.

О том, как одичали и опустились наши люди, говорено уже много. Нам, эмигрантам, это особенно бросается в глаза при сравнении. Первое время по приезде на Запад нас поражает, как чудо, элементар-

ная любезность и доброжелательность в отношении незнакомых людей на улице, в транспорте, в магазинах и т. д. Многие, кстати, уезжают сегодня из России, то есть решаются на все испытания и на риск, связанный с этим шагом, не по политическим мотивам, а просто потому, что не в силах больше жить в бытовой атмосфере нашего общества. Скотские нравы в сочетании с незстетичностью, более того, антиэстетичностью нашей жизни (вот бы над чем еще поразмыслить славянофилам, любящим повторять, что «красота спасет мир») делают существование в нашей стране невыносимым. А кое-кто даже хотел бы новую Россию основать где-нибудь в ином месте, как Новую Англию, заново построить ее с кучкой избранных, в ком живы еще дух и честь России. До того дошло.

Этой болезнью страдал уже Александр Блок. При его чуткости он начал страдать, когда «хамодержавие» (по определению Пильняка) и булгаковская «шариковщина» еще только набирали силу. И рвался уехать, да не успел. Когда я захожу в трамвай, говорил он, закрываю глаза, чтобы не видеть этих обезьян.

Скажут, это общий мировой процесс перехода к массовым обществам, а у нас усугубленный радикальной революцией, которая буквально осуществила мечту коммунистического Интернационала («кто был ничем, тот станет всем»). Ничтожество стало всем. И все же это торжествующее ничтожество — наше русское ничтожество, поднявшееся из наших народных недр, а поднимаются, как известно, как раз наиболее активные. Есть над чем тут подумать.

Но наряду со страшными скотскими чертами у людей наших появились и другие, которые никто еще внимательно не исследовал. Какая-то особая умудренность что ли (не найти точного слова). Современный западный человек, не хлебнувший нашего, выглядит в наших глазах ребенком. Какая-то невероятная удаля, тысячекратно возросшая способность «закружиться,

сказать 'чёрт поberi все!», способность на непредсказуемый ослепительный поступок (как злой, так и добрый). Особая острота ума и меткость глаза: возьмите наши новые поговорки, прибаутки, анекдоты — на многих печать гениальности.

Здесь, на этой почве, можно решиться на небывалые предприятия, отважиться на такое, на что, вероятно, ни один другой народ сегодня не способен. Но мы стоим в бездействии, оглушенные огромностью и сложностью задач. Заняты пустыми спорами, мелкими ссорами, вялым прожектерством.

При виде нашего сегодняшнего непотребства как не обратить взоров к прошлому, не залюбоваться им — красотой и поэтичностью старого русского быта, величием духа, размахом и ширью богатырской, нашей былой русской интеллигенцией наконец, этим чудным цветком, выросшим на нашей почве, совершенно ни на что не похожим. Но всматриваясь с умилением в это наше прошлое, мы, по вполне понятным психологическим законам, начинаем его идеализировать. А это в нынешней ситуации губительно. Если в прошлом все так прекрасно, то совершенно непонятно, почему в России победили силы зла и почему силы добра оказались такими бессильными. Славянофилы упорно уходят от ответа на этот вопрос. Хуже того, вместо того, чтобы искать ответ, выискивают оправдания. А меж тем, совершенно ясно, что если еще не все потеряно, если нам еще суждено какое-то будущее — ведь вот до чего дошло: мы сегодня единственная великая нация в мире, само существование которой как нации стоит под вопросом, беспримерный в истории случай самоубийства великого народа! — если можем мы еще воспрять, то лишь при условии самой жестокой беспощадности к самим себе, лишь при условии, что осознаём до конца все наши пороки и все наши грехи, приведшие к такой катастрофичес-

кой ситуации. Слабый винит других, сильный ищет причины неудач в самом себе.

Идеализируя прошлое, мы невольно, в силу самой природы идеала как манящей цели, делаем это прошлое моделью будущего. Надежда вернуть прошлое настолько абсурдна, что никто, разумеется, откровенно не признается в таких намерениях. Но как бы славянофилы ни отреклись от этого обвинения, их программы есть именно такая попытка.

Все худшие черты неославянофилов высокой степени концентрации достигают у так называемых «романтических патриотов». Именно им, а не всему славянофильству в целом свойственно все то отталкивающее, на что обычно указывают: узость, нетерпимость, самолюбование, высокомерие, низкий интеллектуальный уровень, дурной вкус, злобный раздраженный тон, оскорбления в адрес оппонентов и т. п. С какой злобой говорят они о тех, кто уехал, даже о лучших наших писателях. Ничего подобного не доводилось слышать ни Томасу Манну (даже когда он отказался вернуться в уже свободную Германию), ни Хемингуэю. А меж тем изолированность от мира патологически сказывается на нашем развитии. Взгляните на нашу печать, как свободную, так и несвободную, характернейшая ее черта — провинциализм. Как будто мы выныриваем на свет Божий из поросшего лопухами захолустья человечества. Дискутировать с романтическими патриотами невозможно. Они сразу становятся в позу пророков, коим открыты промысл Божий и глубина мироздания, и начинают поучать, изрекая высокопарные банальности.

В узости и нетерпимости, кстати говоря, с нашими романтическими патриотами соперничают еврейские националисты. И поскольку значительная часть нашей интеллигенции — евреи, об этом приходится тоже говорить. Яростные споры, разгорающиеся в среде евреев, выехавших из Советского Союза, рико-

шетом задевают и нас. Выискивают антисемитизм у Солженицына, выискивают антисемитизм даже там, где нормальному человеку вообще и в голову не может прийти, что речь идет о еврействе. Открыто щеголяют ненавистью к России, как чем-то в высшей степени похвальным. Глаголят об избранности еврейского народа и его величайшей исторической миссии. Кличкой «антисемит» ликвидируют всякого оппонента, когда под рукой не оказывается других аргументов. Антисемитами оказались даже Хейфец, Милославский, Севела и Горенштейн. По-видимому, нетерпимость, ненависть к чужим, самовосхваление и бесчестные приемы в споре свойственны всякому крайнему национализму. Национализм есть необходимейший компонент духовной жизни, ибо мировой дух проявляется лишь через личности-нации (в наше время, во всяком случае). Но любой национализм опасно тяготеет к изоляционизму и самовосхвалению, то есть к отпадению от мирового духа. В отношении к нациям сохраняет свою силу пастернаковское противопоставление индивидуализма-персонализма.

И все же именно от славянофилов исходит наиболее реалистическая из всех программ — «жить не по лжи». При всех ее недостатках именно она могла бы стать основой немедленных и каждодневных действий миллионов людей. Она, кстати, вовсе не исключает борьбы за права человека — наоборот, такая борьба могла бы стать необходимой и органичной частью этой более широкой программы. Но те, кто должен бы был начать, через кого этот порыв мог бы пойти в народ, встретили призыв этот с ненавистью. Наша образованщина не пожелала жертвовать сиюминутными удобствами ради таких химер, как обновление общества и спасение отчизны.

«Если и в этом мы струсим, то мы — ничтожны, безнадежны». Таков приговор нам одного из величайших людей нашего времени, ибо мы струсили. Духов-

ные богатства наши, о которых так любим говорить мы, оказываются зарытыми в духовной пустыне. Чудом и чудищем стоит перед нами наша Россия, чудесная и чудовищная, и мы цепенеем перед ней в ступоре. А сроки меж тем истекают, и уже грозные сполохи поднимаются на краю нашего неба.

ОБРАЩЕНИЕ В ЗАЩИТУ ИВАНА КОВАЛЕВА

26 августа 1981 года в Москве арестован член Московской группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР Иван Ковалев. 27-летний Иван Ковалев — известный правозащитник, автор многих документов Хельсинкской группы и собственных заявлений и статей, направленных на защиту прав человека в Советском Союзе. Ивану Ковалеву предъявлено традиционное для правозащитников обвинение в анти-советской агитации и пропаганде по ст. 70 УК РСФСР. По этой же статье 7 лет назад был приговорен его отец Сергей Ковалев, находящийся сейчас в Чистопольской тюрьме, а в апреле этого года — его жена Татьяна Осипова, также член Московской группы «Хельсинки». Она сейчас в женском политическом лагере строгого режима.

Правда, только правда и ничего кроме правды — принцип, воспитанный в Иване Ковалеве его отцом, принцип, от которого он никогда не отходил, ни в своих открытых заявлениях, ни в частных разговорах, о ком бы ни шла речь — о людях ему незнакомых или о его близких. Обвинять такого человека в клевете — это очевидная клевета на этого человека, это грубое нарушение правосудия. Советские власти прекрасно это знают и делают это намеренно.

Мы протестуем против ареста Ивана Ковалева, нашего друга и единомышленника.

Мы требуем его немедленного освобождения.

*Консультативный Совет
по защите прав человека в СССР*

Восточноевропейский диалог

Виктор Ворошильский

НА ЗАПАДЕ

Страницы из дневника

Январь 1981

Что такое этот отъезд — рассекает ли он наотмашь судьбу, расступятся ли теперь два берега существования, и на одном останутся вялость моя, тревога и нерешительность, а на другом — что будет на другом?

Жажда чужбины, тоска по чужбине — это тоска по собственной метаморфозе, по чужому и незнакомому внутри себя самого, желание быть вышибленным из монотонности все того же ритма крови в жилах, услышать в себе иной голос, тоска по новым глазам, ушам, гортани.

Январский рассвет, собственно ночь еще, когда мы выходим из дому, и скрип снега так резок и отчетлив, будто снега всей жизни под моими ногами соединились в шепоте, шуршании и пенье, а тьма такая интенсивная, так ясно очерченная, что прямо ослепляет своей яркостью.

Я все еще здесь, я здешний, очередь за газетами на вокзальной почте, служащая с приколотым к блузке значком «Солидарности», стук штемпеля, плакат на стене — большие красные буквы: «Рабочие требуют допустить фильм 'РАБОЧИЕ-80' на все экраны», но раз я вижу яснее, слышу громче, чем всегда, то, пожалуй, я уже не полностью здесь, ибо здесь мои чувства не обострены до такой степени, то не разгляжу, то не дослышу, рассеянно прохожу мимо следов и голосов

того, в чем живу, прощанье — оно-то и извлекает из меня такую силу ощущения и внимание ко всему, мимо чего я иду.

Поезд трогается, он почти пустой, в нашем купе мы одни до самой Познани, читаю в последнем номере «Политики» статью профессора Щепанского о том, что случилось и что еще может статься. Профессор пишет о демографической подкладке истории, я и сам об этом думал, немного иначе, в образах, в эмоциях, в лицах этих молодых кораблестроителей еще в августе, в Гданьске, потом в других лицах, часто знакомых, памятных младенчески, молочно пухлыми, теперь одни отрастили бороды, другие пририсовали себе под глазами синие тени, это сыновья и дочери моих друзей, товарищи моего сына и дочери, мои младшие друзья — педагоги, искусствоведы, врачи, я думал о том, что в них разгорелось, и пробовал высказать это на авторском вечере в О. (один из первых после долгих лет), в ответ на чей-то вопрос я сказал, что у каждого поколения свое приключение в истории, приключение моего поколения, четверть века тому назад, тоже получило название месяца, а что сегодняшнее — это уже приключение другого поколения, мое может этому способствовать, сопереживать, вдыхать это полной грудью, может волноваться, горячиться, радоваться, но хозяева этого фрагмента истории — они, рожденные после войны, энергичные и толковые тридцатилетние, так или вроде этого я говорил в О., и теперь обрадовался, найдя подтверждение своих ощущений в размышлениях ученого.

От Познани мы уже не одни в купе, напротив нас сидит и улыбается смуглая черноволосая девушка в джинсах, только поезд тронулся — стаскивает через голову свитер, снова натягивает и снова стаскивает, это не кокетство, а растерянность тела в чужом климате, девушка — бразильская студентка, она заводит с нами разговор на неуклюжем английском, наш ан-

глийский не лучше, но кое-как мы понимаем друг друга, девушка была десять дней в Польше, и ей очень понравилось, I love Poland, почему? это же очевидно, лучисто улыбается она, потому что тут социализм и у каждого есть что есть, вот мы и оказались уже по ту сторону, в огромном, пышащем зноем Сан-Пауло, в его кварталах, где другая, чем у нас, нищета, и другая надежда.

Входят пограничники и таможенники ГДР, один наклоняется и светит фонариком под сиденьями, другой приказывает поднять лица и по очереди внимательно нас разглядывает, за окном по-прежнему серо-белый, не смягченный свежей пушистостью январь, но он уже вспучивается какими-то трубами и цистернами, путаницей рельсов и нагромождением кирпичей, пространство укрощено, заключено в сетки, купола, заборы, город втягивает в себя поезд, хрипя и вздыхая, все еще тот же день, не так много часов прошло с выхода на улицу, на скрипучий снег, в темноту, я не ощущаю праздничности этого перемещения, внутренне замер, и поезд замер под стеклянным колоколом, словно желая приспособиться к моей неподвижности, и снова вздрогнул, и неохотно переползает следующую границу, и только на следующем вокзале, в том же городе, но в ином мире, когда от толпы на платформе отделяется щуплая фигура А. З., да он ли это? с пробивающейся в бороде сединой, а за ним Л. Ш. с лихими усами, оба размахивают цветами в изысканной упаковке, а за ними остальные, взволнованные, смеющиеся, те, кого я не видел годами (как время избородило их лица), или те, кого видел два месяца назад в Варшаве, только в это мгновение меня заливают волна необычайного, и я вдруг оказываюсь *в иных краях*, а значит, несомненно, и сам *иной*, и ошеломленно делаю первый шаг навстречу новому вокруг меня и во мне.

В Берлине я больше всего люблю колокола. Они доносятся до меня часто, не только в воскресенье, но каждый день и в разное время; в это погожее зимнее утро я тоже их слышу; звон плывет в вышине, начинаясь вдалеке и вблизи, звучным ключом, серебряной капеллой, охватывает меня, обнимает своей мелодией — унесенный его волною, я чувствую себя спокойным и легким.

Но сплю я тут по-разному, случаются и кошмары, не знаю, здешние ли, с этим городом меня не связывают воспоминания, не то что моего соседа Л., который молодым парнишкой приезжал сюда с поддельными документами за оружием, он помнит марши, и громкоговорители, и гудение огня между стен, и тишину, в которой портье едва заметным движением губ остерег его от засады; Л. не спеша повернулся и, словно чемодан, таща внезапную бездомность, вышел на улицу, клеймившую его плакатами. Этой крохотной гостиницы давно нет, сгорела во время осады, а Л. давно уж, десять с лишним лет назад, приехал сюда и остался, работает, все у него в порядке, только квартиру покупать не хочет, опять живет в гостинице.

Мой Берлин зауражен и легок, иногда и мне кажется, что я уже тут был, передвигаюсь по нему, ни разу не заблудившись, сначала вместе с Я., а в один прекрасный день Я. садится в вагон на вокзале Цооло-гишер Гартен, и с тех пор я хожу один по улицам, посыпанным угольной крошкой (снег, когда тает, превращается в черную кашу), пересекаю обледенелые площади и скверы, таблички предупреждают, что делаю я это на собственный страх и риск, восхищаюсь порядком, уже знаю, куда выкидывать цветные бутылки, а куда бесцветные, читаю надписи, иногда погружаюсь в гулкие ямы метро, снова вынырываю на поверхность, стою у двуязычного объявления, кто-то с оливковой кожей и миндальными глазами спрашивает у меня дорогу, за моей спиной из метро высы-

пается кучка светло- и темноволосых детей с тарахтящими ранцами, этот другой язык — догадываюсь я — турецкий, и тут пробегает кто-то в шубе, распахнутой на голой груди, слюна течет по седой щетине: «Убирайтесь, — кричит, — иностранцы! Сами уберем за собой дерьмо!» — и Берлин сразу перестает быть заурядным и легким.

Ходим мы и в кино, часто в маленькие кинотеатры в отдаленных районах, там еще показывают знаменитые фильмы, сошедшие с больших экранов, один и тот же человек продает билеты, шоколад и сидро, на минутку закрывает кассу и выпускает зрителей в зал, зал никогда не бывает полон, и, кроме нас двоих, все остальные — молодежь, старшие, видимо, не особенно ходят в кино, вечером смотрят телевизор и читают «Бильд-Цейтунг», а тем временем перед нами, прежде чем начнется тот фильм, что завлек нас в какой-то из этих кинотеатриков, что ни день меняющих программу, проходят на экране самые эффектные кадры всех фильмов будущей недели, и почти в каждом гибнут цивилизации, чудовищные машины крушат здания, фантастические персонажи, прибывшие из неизвестных миров, расправляются с жителями того единственного, который мы знаем и одаряем сыновней заботой, и, когда я в который уже раз гляжу на это, мне начинает казаться, что я лучше понимаю и те, как будто более реальные, образы катастроф и нашествий, изо дня в день преподносимые здешними средствами информации, понимаю даже некий род нетерпения из-за того, что пророчества Кассандр мешкают осуществляться. Запад, пожалуй, стал жертвой собственного воображения, сначала развеивал скуку цветным апокалипсисом, а потом апокалипсис устроился за семейным столом и принялся требовать всё новой пищи...

Только раз народу набилось больше обычного — и не одна лишь молодежь, но и взрослые, даже весьма пожилые, наполняют большой зал на углу Курфюр-

стендамм и Уландштрассе, где уже несколько недель показывают «Лили Марлен» Вернера Фассбиндера. Многие помнят со времен войны сентиментальную немецкую песенку, которую пели и по другую сторону фронта, о девушке, что в свете фонаря перед казармами встречается с солдатом. Певицу, которая сделала «Лили Марлен» знаменитой, звали Лале Андерсен, солдаты были влюблены в ее низкий, чувственный голос и благодарны за простое обещание, содержащееся в песне, а Лале, оказывается, жила двойной жизнью, встречалась в Швейцарии со своим другом-евреем, на родине же, как все не сошедшие со сцены артисты, была втянута в механизм официальной, затянутой в мундир культуры, эту-то анекдотическую историю, преувеличенную и мелодраматизированную, воспроизводит на экране замечательная актриса Ханна Шигулла, привлекательная, женственная, но что хочет ею сказать знаменитый, хотя и молодой (ему еще нет сорока) режиссер Фассбиндер? что не просты бывали немецкие судьбы при Гитлере, что существовала раздвоенность и под банальной и конформистской поверхностью иногда скрывались неожиданный выбор и сопротивление? или что эта всем открытая поверхность подавляла, распыляла, неизбежно перевешивала хрупкую правду собственной жизни? Пожилые молча глядят на экран, я никого из них не могу спросить, что он видит, кроме мундира, который когда-то, может быть, носил, что слышит, кроме песенки своей молодости. Но мой сосед Л. возвращается из кино и едко говорит: «Их это зачаровывает — и Фассбиндера в том числе! — весь этот реквизит эпохи, мундиры, шеренги, декорации, только Фассбиндер нуждается еще в шепотке перца — движение сопротивления и роман с евреем, а им это скорее мешает, кривятся: к чему этот еврей — а всем остальным заморожены...»

В одну из первых суббот в Берлине Инка везет нас на кладбище в Рулебен, только в субботу или воскре-

сенье это и возможно, остальные дни Инка работает допоздна, в этот день настоящая зима, мы выходим на последней остановке метро и идем по заснеженной аллее вдоль садовых участков, входим на кладбище, здесь пусто, бело и как в лесу: ели, березы, остролист с алыми шариками, — и одинаковые могилы, невысоко торчащие каменные плиты. Мы останавливаемся у самого наклонного, почти лежащего, засыпанного снегом камня, Инка начинает стряхивать снег, из-под снега появляется первое заглавное А, потом постепенно: Арнольд Слуцкий, польский поэт, и даты рождения и смерти, между ними, может быть, следовало быть еще одной дате, не могу ее восстановить, я был тогда на вокзале, но не кричал и не грозил кулаком, как наш общий товарищ К., помню только в окне трогającegoся поезда растеряную улыбку Арнольда и заплаканное лицо Инки, тогда они ехали в другую сторону, но хорошей стороны не было, и они несколько раз меняли кочевья, пока — чтобы ближе возвращаться — не оказались здесь, где в грозовой день у него разорвалось сердце; в некрологе, который мы с несколькими друзьями отнесли тогда в варшавскую газету, цензура переменяла «умер на чужбине» на «умер за границей» и вычеркнула слово «польский», оставив просто «поэт»; я вспоминаю это и до сих пор точно не знаю, зачем я сюда приехал, но, вероятно, и затем — думаю я теперь, — чтобы навестить нескольких живых и эту могилу под снегом; хоть бы все вокруг было чужое, не совсем чужим останется то место, где есть могила, на которую мне нужно пойти; и, когда мы так вдвоем стоим, снова раздается колокольный звон.

Февраль-март 1981

Разговоры, тревоги, новые знакомства, ловля слухов о том, что *там*, размышления о вечно своем, по-

пытки задуматься не о своем, об окружающем меня здесь, любопытство к нему, но приглушенное, сосуществование с ним, но половинчатое, пять лет хотел я и не мог выехать, и в конце концов выехал не вовремя, и всё иначе, чем должно было быть, когда я этого ждал, и в моем присутствии здесь больше усилия, чем освобождения.

Голоса, в том числе мой собственный голос, который от меня отделяется, мнения, известия, страхи, размышления, споры.

— Это может разрушить всю германско-германскую идиллию! — тревожится молодой профессор Берлинского Свободного университета после первых заявлений нового президента США. В слове «идиллия» слышны кавычки, даже легкая ирония, но в то же время привязанность к ней, к такой, какова она есть: к торговле, к возможности навещать восточногерманских родственников за установленную плату и с определенным риском оказаться задержанным в целях обмена на пойманного с этой стороны шпиона. «А Польша? — роняет кто-то. — То, что творится в Польше, не грозит вам подпортить идиллию?» Профессор улыбается со смущением. К Польше он благорасположен и хотел бы таковым остаться.

— Вот сценарий подавления Польши без открытой интервенции извне, — говорит гость, опоздавший на ужин и полчаса вертевшийся на стуле, не решаясь вступить в разговор. — Это из верного источника, всегда все оправдывалось. В один прекрасный день заберут десять тысяч человек — с заводов, из квартир, из помещений «Солидарности». Оперативные группы уже в состоянии готовности. И одновременно произойдет смена партийного руководства, чтобы на съезд КПСС приехала уже «надлежащая» делегация. — Он возбужденно излагает нам этот сценарий, а мы слушаем без единого слова, да и что сказать, надо начать отсчитывать, сколько времени — мы поглядываем на

календарь — осталось до съезда, до которого все *должно случиться*: две недели, три?

— Положение Польши представляется мне безвыходным, — говорит на другом ужине хозяин дома, этот разговор, как и другие, идет под аккомпанемент ножей и вилок, мы выпиваем, закусываем и рассматриваем сценарии, словно мы властны принять их или отвергнуть, — они просто *не могут* смириться с таким изменением общественной модели, которое наступило в результате создания свободных профсоюзов, так или иначе, а должны будут вмешаться. «Если это продлится, — включается в разговор кто-то другой, — это будет означать революцию масштаба 1917 года и начало конца империи, но именно поэтому я смотрю на это пессимистически, потому что можно ли поверить, что империя стерпит такую угрозу». И хозяин, и гость — мои друзья и сердечно сочувствуют тому, что произошло в Польше, но логика их мрачных прорицаний для меня — как тупой пилой по живому телу. Я повторяю надоевшие, сто раз приведенные аргументы — о единоличном крестьянстве, о сильной Церкви, обо всех завоеванных и терпимых польских отклонениях от социалистической нормы, — и при этом думаю: а что мы должны делать, Боже ты мой? Повернуть вспять все движения, сказать: «Не считается», распустить «Солидарность», пасть ниц перед Лукашевичем*: приди и царствуй?

— Я не согласен с зачеркивающей человеческое схемой Зиновьева, — говорит русский Н., — не согласен с ненавистью и презрением, я на стороне Солженицына, верю в человеческую совесть и способность к раскаянию. По мнению Зиновьева, в этой системе возникла особая, новая раса людей: их создает система, и они создают систему — замкнутый круг. Эти новые

* Бывший секретарь ЦК ПОРП, один из особенно ненавидимых народом руководителей 70-х годов. — Прим. пер.

люди никогда не руководствуются какими бы то ни было возвышенными чувствами и побуждениями, а лишь однозначным «можешь урвать — урви, лучше, чтоб ты у другого забрал, чем он у тебя», и т. д. Эти существа без остатка обусловлены «социально», какие-то нелюди, и с тем, что существует такой новый вид, — заканчивает Н., — я не согласен. — А все-таки, — возражаю я, — в этой системе возник новый вид человека. Меня это поразило в последние годы и в Польше, еще до того, как я прочел «Зияющие высоты», и я для себя назвал этот процесс выращивания нового вида советизацией, прежде чем это слово появилось в публицистическом обиходе. Польская литература тоже заметила произрастание *таких* на социалистическом болоте. По мнению Конвицкого, они сформировали в себе даже особые физические черты. Отчаяние «Малого Апокалипсиса» (многими критиками воспринимаемого как польская аналогия Зиновьеву) проистекает от ощущения, что ты окружен, подавлен, схвачен за горло этой новой расой. И вдруг события поставили под сомнение ее вездесущность в польском обществе (как, может быть, однажды поставят ее под сомнение и в советском), но она существует — только глянь, как зубами и когтями она защищает то, что ее породило и сохраняет в живых.

— Я видел Зиновьева по телевидению, — говорит мой французский друг, — вы знаете, как он ответил на вопрос, что сделает, если русские войдут в Польшу? Тогда, сказал он, я пойду воевать на стороне поляков.

— Замечание: некоторые утверждают, что Польша — больной человек Европы. Это неверно. Больной человек мира — вся система социалистических государств. Польская лихорадка — это борьба с болезнью. Лихорадящей Польше надо помочь, а не взывать о том, чтоб ее поскорее добили.

— Господин Ворошильский, — журналистка одной из западногерманских радиостанций включает

магнитофон. — Союз польских писателей на декабрьском съезде резко выступил против государственной цензуры и, выбрав председателем Яна Юзефа Щепанского, подчеркнул стремление стать независимым от коммунистической партии. Как объясните вы эту поразительную для нас отвагу общественной ангажированности писателей? Каково отношение писателя к обществу, в котором он живет? — Польские писатели, — отвечаю я, — не хотят быть свободными от общества, они хотят быть свободными в обществе. То, что мы сделали на последнем съезде, по существу ничем не отличается от того, что в это время делали люди других профессий на тысячах других собраниях, споря, работая, бастуя, основывая новые профсоюзы и т. п. Идут широчайшие поиски форм и гарантий подлинного общественного существования. Если говорить о литературной жизни, то мы хотели бы, чтобы кончилось ее раздвоение последних лет, чтобы мы могли действовать и легально, и свободно.

— А что вы считаете главной опасностью для писателей в изменившемся положении? — это из интервью другому радио. — В период сильнейшего подавления и несвободы, — отвечаю я, — мы каким-то образом стали особенно свободны. Наше возвращение в официальный круговорот угрожает утратой внутренней свободы, новым соблазном самоцензуры — этого я боюсь для себя и для других.

— Вы где-то сказали, — это опять та, первая журналистка, — что происходящее в Польше — приключение другого поколения, в котором ваше, конечно, принимает участие, но с некоторой сдержанностью, недоверием, усталостью. Господин Ворошильский, какие шансы видите вы для обновления в вашей стране — действительно ли неверие в его возможности больше, чем радость осуществления столь долго лелеянных мечтаний? — Нет, — отвечаю я, — это не так. Я хочу контролировать себя, не слишком подда-

ваться минутным настроениям и, разумеется, учитывать иной, более давний опыт. Но это не есть неверие — не следует так воспринимать мои замечания. Меня волнует и восхищает движение, во главе которого в Польше стоит молодое поколение, я счастлив, что дожил до этого и, несмотря на все опасности, верю в его шансы. Помогите нам, веря вместе с нами.

— «В социальном взрыве, который, как нефть в Карлине, забил фонтаном надежды, — в варшавском журнале «За свободу и народ», номер которого добрался до меня, гремит член Политбюро генерал Мочар, — мы будем участвовать вместе с... И нет силы, которая могла бы... А с другой стороны, пускай себе Михники, Модзелевские, Курони, Ворошильские, скрытые Сташевские выбьют из головы, что они могут иметь что-то общее с великим обновлением общественно-политической жизни, которое стоит перед нами как историческая задача. Я подчеркиваю, что этим и подобным им делать здесь нечего...»

— С чем мне на Западе сложно, — говорит худой паренек с длинными светлыми волосами, стянутыми резинкой в нечто, напоминающее косичку, — это с излишком всего, я еще не научился жить в мире постоянного предложения, превышающего возможности принятия и выбора, я не знаю, какой сыр купить, какую книгу прочитать, дома, как только доходил слух о какой-нибудь хорошей книге, я за ней охотился... — тот, что говорит, сидит на корточках у стенки, так же сидит еще человек двадцать, в основном юноши, но есть и девушки, всё это молодые поляки, в Берлине они несколько лет или несколько месяцев, а двое самых юных, нежно обнявшиеся парень и девушка, всего несколько дней. Я не знаю, кто из них постоянно живет на этом чердаке, спит на этих матрасах, хранит свои сокровища в кострубатых ящиках, сходит в уборную этажом ниже, а кто только пришел поболтать с земляками, не знаю также — потому что они отвеча-

ют уклончиво, а может, и сами не знают, — кто из них хочет подработать и вернуться в Польшу, а кто решил раствориться в этом отчасти более сложном, но и более красочном, более свободном мире, есть такие, кто издавна по нему тосковал, кому все давно стояло костью в горле, кто в двадцать лет уже потерял надежду: — Может, мне сорок стукнет, когда получу квартиру, — роняет один, — так ведь я до тех пор сдохну или сбешусь... Есть и такие, кто что-то делал в Польше, крутил валеk печатной машины, разносил литературу, ускользал от полицейских, и чуточку им совестно, что именно теперь они махнули на все рукой, почувствовали, что с них хватит, воспользовались случаем, *из этого все равно ничего не выйдет* — заглушают они свои угрызения совести, а потом спрашивают: может, у вас есть свежие польские газеты?

— Для нас оказались неожиданностью события в Польше, — говорит молодой, красивый брюнет, деятель организации, которую определяет как «налево от социал-демократической партии», — ибо марксизм учит нас, что рабочий класс не является революционной силой (гм, думаю я, в те далекие времена, когда и меня марксизм чему-то «учил», это выглядело как раз наоборот, ну, неважно, надо идти в ногу с прогрессом, я уже слышал, что революционная сила — это студенты, феминистки и сексуальные меньшинства), а под влиянием ваших событий, — он морщит лоб, — надо будет это еще раз проанализировать.

— Почему поляки антисемиты? — седой парижский врач смотрит на меня с горьким упреком, и, когда я пытаюсь подорвать категоричность его суждений: а почему вы полагаете, что знаете о польском антисемитизме больше, чем о чем-то другом, в Варшаве не бросали бомб в синагогу, как на улице Коперника в Париже, — он с сомнением мотает головой: а этот митинг, на котором на евреев нагрузили ответствен-

ность за преступления сталинского периода, и это новое объединение «Грюнвальд»?.. Я пытаюсь ему объяснить, кто такие люди, устроившие митинг 8 марта, на нем было человек двести, говорю, да и из тех половина шпики (обо всем этом я знаю из писем друзей). Среди поляков, продолжаю я, как и среди других наций, естественно, можно встретить антисемитов и ксенофобов. Но в таком огромном движении, как «Солидарность», никому до сих пор не пришло в голову спрашивать кого бы то ни было, какого он происхождения, — нет такой проблемы, ее искусственно конструируют *вне* общества и пытаются ему подбросить. Не знаю, убедил ли я своего собеседника, хотя я, наверно, уже приобрел навык, он не первый, кому я отвечаю на такой вопрос. И не впервые на моей памяти происходит что-то, что ставит этот вопрос в порядок дня. В 1968 г. писатель и историк Павел Ясеница публично напомнил — и вскоре страшно за это расплатился, — как часто в драматические моменты нашей истории являлась сила, которой было важно создать гнусный и противный чужому взгляду образ Польши, грабительски лишить ее дружелюбия других народов, благодаря использованию позорящего стереотипа парализовать возможные жесты симпатии, сочувствия, помощи...

— Польская Церковь была организатором погромов! — орет из зала атлетический Нибелунг с нечесаной рыжей бородой, дело происходит на митинге «Солидарность с 'Солидарностью'» в Большой аудитории Берлинского Свободного университета, зал полон парней и девушек, наряженных, словно это бал старьевщиков, они такие же, как во всех университетах Европы, в них нет ничего специфически немецкого, меня только удивляет, что их не интересует тема собрания, они заняты какими-то интригами между разными крайне левыми группировками, к которым, похоже, они все принадлежат, прерывают ораторов

после первых слов, чем грубее — тем громче овации, и теперь они аплодируют рыжебородому, польская поэтесса на трибуне на мгновение замолкает, а потом спокойно говорит: — А ваш дедушка побывал в Польше, наверно, затем, чтобы защитить жертвы погромов, — и из зала снова несутся аплодисменты, потому что на самом деле зал ни на чьей стороне, он всего лишь реагирует на остроту, агрессивность, обидность реплики, я тоже рад, что она ему насолила, да толку-то что?

— Это ошибка, — говорит молодая девушка из Бремена, высокая, смуглая, с умным взглядом, — мешать их всех в одну кучу: демонстрантов против атомной электростанции в Брокдорфе и тех, что занимают пустые квартиры, защитников природной среды и противников вооружения. Но то, что их всех рассматривают как врагов государства, в конце концов приведет к их объединению. Антиамериканизм? Да, это дело повсеместное. Достаточно американцам чего-то захотеть, и это вызывает немедленный отрицательный рефлекс. Они хотят, чтобы Германия дополнительно вооружалась, значит — нет, не согласны, и все их призывы об укреплении обороны в конечном результате ее ослабляют.

— Только кто-то самоослепленный может настаивать, — это говорит юрист-эксперт ХСС в бундестаге Виттман, — что хаотические демонстрации и оккупация домов никем систематически не направляются. Как прежде было целью террористов, так и теперь целью тех, кто занимает дома, является довести полицию и органы юстиции, то есть частицы государства, до полного бессилия.

— Они же коммунисты — люди из «Солидарности», — настаивает К. в ходе одного из тех долгих польских разговоров, когда наши иностранные гости уже ушли, а мы остались одни и никак не можем разойтись, — они верят, что что-то можно исправить,

все поровну и справедливо разделить, чтобы никому не было ущерба... — Вы считаете, что это характерно для коммунистов, — перебиваю я его, — а коммунисты у власти вовсе не считают, что все должны иметь всего поровну, они считают, что организованная группа должна всем владеть и всем управлять, а остальные — ничего не иметь и слушаться... — Допустим, — соглашается он, — но это относится к реальному коммунизму, а я говорю об идеальном, который тоже заводит в тупик... — Только реальный и существует... — Но пан К. прав, — подхватывает М. Б., — с самого августа я больше всего боюсь выравнивания по нижней границе, мои родители пережили 1917 год в России, мне это напоминает их рассказы, это род большевизма, когда у тех, кого свергли, хотят отнять виллы и высокие пенсии, почему бы не оставить их в покое, пусть бы владели своим, почему всегда кто-то должен дрожать и оправдываться из-за того, что что-то имеет... — Снова я: — Трудно требовать от людей, которых годами гноили, над которыми измывались, которые жили в нужде и унижении, чтобы они были ангелами. Возник привилегированный слой или класс, безнравственный, хищный, отбравший у мужиков засеянные поля, чтобы устроить для себя охотничьи заповедники, воздвигавший себе особняки за счет строительства больниц, покрикивавший на рабочих, что, мол, недостаточно надрываются, требовавший от других жертв и живший в роскоши, а к тому же не устававший голосить о патриотизме и социальной справедливости. Когда происходит переворот, возможно ли, чтобы ему не сопутствовала попытка возмездия, попытка отнять у *тех* — не столько даже имущество, сколько привилегии? — Боюсь, — упрямо повторяет М. Б., — боюсь развития эмоций и общественных начинаний в неверном направлении. — Я отвечаю, что тоже этого боюсь. Но *очень* боюсь чего-то совершенно иного.

Скоро одиннадцать, мы включаем радио, а там, из-за темного занавеса скрежета и шумов, из-за разделяющего нас тумана, из-за нашего незнания и удивления, из-за железного милицейского щита выходят коренастые, широкоплечие мужчины с кастетами — и другие мужчины, залитые кровью, падают на мостовую, и вспыхивает огонь чьего-то подожженного жилья, и бряцают гусеницы близких маневров, и некий высокий форум заявляет, что обезоружит контрреволюцию, и кто-то гладкий говорит, что эти люди сами себя изувечили, и нарастает глухой рокот: мы хотим спокойствия, но не дадим себя избивать, и в Быдгоще собираются делегаты, которые должны принять решение, *как* не поддаться, и не знаю, начался ли это какой-то из подготовленных страшных сценариев, но знаю, что не хотел бы быть одним из тех, кому придется поднять руку голосуя...

Апрель 1981

После парижской Пасхи я возвращаюсь в Берлин, внезапно распустившийся буйной зеленью, просвеченный солнцем со всех сторон, красивей, чем две недели тому назад, и, устыдившись собственной нелояльности по отношению к этому городу, который меня принял, а от меня ничего не требовал, только давал мне прожить несколько месяцев и спокойно заниматься чем-то своим, и который так терпеливо ждал меня, когда я долго не мог двинуться из дому, — краснея от стыда за свою нелояльность, я думаю: *Париж — это все-таки что-то другое*, и мне кажется, что я начал это думать не сейчас, но тогда, когда приземлился в аэропорту-молохе Руасси, когда меня всосало на эскалатор, в автобус, в поезд, в метро, когда, оглушенный, усталый, вспотевший, я пересаживался со своим мешком на «Гар дю Нор» и на «Барбес-Рошшуар», в толпе, в говоре, в разнообразии манер, одежд, черт

лица, рас, устремлений, интересов, ритмов, направлений, да, именно тогда я изменил гостеприимному Берлину с Парижем, который мною абсолютно не интересовался, и город, оставленный несколькими часами раньше, показался мне пустым, неподвижным, бесцветным, а Париж — как шестнадцать лет тому назад, когда я приехал сюда первый раз, и как девять лет тому назад, когда, начав писать о нем, я после минутного колебания поставил наверху заимствованное у Хемингуэя заглавие: «Праздник», и как пять лет тому назад, когда я был здесь в последний раз и имел все основания считать, что действительно в последний, — так вот и теперь, как всегда, Париж опять одарил меня непонятным счастьем своего существования и моего бытия в нем, возможности отщипнуть от него кусочек, потанцевать минутку на его балу...

Я танцую или только проталкиваюсь среди танцующих, неважно, или они проталкиваются мимо меня, окружают, замыкают и разрывают хоровод, выпускают, чтобы снова захватить, на улице, в метро, в его нескончаемых переходах и коридорах, под грохот там-тамов и небесную гармонию Баха, белые, смуглые, черные (М. Б. утверждает, что негры — краса парижской толпы), раскосые, в самых фантастических одеждах, с экзотическими прическами, выставяющие, демонстрирующие свою неодинаковость, самооценку, дерзость, право быть таким, каков ты по рождению, или по убеждению, или по сказочным представлениям о себе самом, суматошно куда-то спешащие и не спешащие никуда, спящие на платформах метро, на подстеленных газетах, не выпускающие из объятий недопитой бутылки вина, продающие и покупающие платья, сумки, восточные сладости, любящие друг друга на глазах у всех и гневно ссорящиеся, раздающие листовки, долой террор в Ираке, десять часов с анархистами, вот какого президента нам надо, тянущие высокую ноту на скрипке и задорно фальшивящие

на губной гармошке, мужчины, и женщины, и красочные представители третьего, и четвертого, и пятого пола, переодеванцы, нонконформисты, беглецы, миссионеры всех религий, дети и старики, дамы и девки, художники и фраера, полицейские и воры, все проталкиваются в этом хороводе, в выразительной пантомиме, что за театр, как точно розданы роли, невидимый помреж на бегу меняет статистов, уставшие падают за кулисами, с улыбкой на губах вбегают новые, оркестр играет без остановки, прохладительные напитки на месте, декорации сооружаются и разбираются на глазах у публики, сегодняшний спектакль — десять кандидатов в президенты, у каждого своя маска, философ, человек действия, народный трибун, свой парень, почтенная домохозяйка, девушка из бистро, но это слишком просто, матушке пририсовали усы и бороду, трибуну — челюсти вампира, к бюсту философа приклеили мордашку секс-бомбы, а за этими десятью — одиннадцатый плакат, Лили Марлен, берлинская знакомка, но и она здесь красочней, наэлектризованней, увидена ироничней и агрессивней, включена в этот ритм, в этот пляс, в этот театр, *театр?* — широко раскрывает глаза мой собеседник, ты глядишь на это извне, а на самом деле это жестокая, беспощадная борьба за существование, ладно, согласен, но и всякий театр, во всех смыслах, в которые я здесь не хочу вдаваться, есть борьба за существование и в то же время само существование, жизнь, а отсутствие театра, отказ от театра — жизнь неполная и выход из борьбы...

А в этом парижском, по которому я кружу, в котором на мгновение захватил роль, и для меня не всё ритм, жест и декорация — хоть я и незванный гость, а тоже знаю скрещения судеб, на одном из них я встречаю Б., на том самом месте, где мы встретились шестнадцать лет назад, у входа в Музей современного искусства, но тогда случайно, а сейчас полуусловив-

шись, Б. по-прежнему молода и красива, наверно, навсегда такой останется, но за эти годы она пережила такого, что хватит на целую книгу, и я эту книгу урывками читал, иногда появлялся на ее страницах, уже не помню, в какое из парижских пребываний по просьбе Б. я встретился с И., чтобы объяснить ему, он пил кофе без кофеина и не слушал, что я говорю, несколькими годами позже она проиграла процесс о правах на ребенка, иностранка, говорили в суде, все время ездит в ту страну, я гляжу сейчас на ее сына, к которому она приезжает, он большой, не спускает с матери влюбленного взора, еще несколько лет, и отец не сможет ему запретить... А на другом скрещении судеб я живу несколько дней, гляжу из высокого окна вниз, на романтическое кладбище Монмартр, хозяйничаю, как дома, ожидая, пока М. и Ж. вернутся из путешествия, они всегда уезжают вместе, давно прошли те времена, когда Ж. одна ждала М., не уверенная, дождется ли, поближе те, когда М. перед операцией сердца думал, что двое людей не должны так привязываться друг к другу, потому что когда один... но, слава Богу, вытащили его, и теперь они возвращаются из путешествия, загорелые, веселые, и я открываю им дверь их квартиры... И на совсем другом скрещении я встречаю другую Б., с которой у нас было столько общего, но не здесь, и обоим нам странно, что мы встречаемся именно в Париже, когда она неожиданно уезжала, мы не успели попрощаться, а здороваемся на полной движения площади, возле выхода из метро и помпезного памятника, в толпе толкающихся прохожих, это мой первый в этот раз вечер в Париже, и мы долго бродим по улицам и площадям, которые я изучил в те приезды или которым она выучилась за эти месяцы, показываем друг другу наш Париж, а потом едем в отдаленный район, Б. знает там один дешевый ресторанчик, а еще позже (но это уже другой вечер) прощаемся и не знаем, встретимся ли снова...

Театр, какой же это был бы театр, если бы при погашенных огнях, а то и при свете ramпы по нему не скользили призраки, персонажи вчерашних представлений, не успели мы оглянуться, как Господь Бог снял их с афиши, а декорации стоят, и по дому, стоящему в саду, вверх и вниз по скрипящей лестнице, ходит улыбающийся пан Зыгмунт, опекун и наперсник пришельцев, а добрая, стойкая Эльжбета сама здесь пришелица, присела в уголку, знает свое время, но тоже улыбается, а вот и ксендз Юзеф, он рад, когда мы зовем его попросту Юзем, в смирении своем он предпочитает чувствовать себя скорее спутником, чем проводником тех, кто его окружает, а сам и проводник, и спутник... А вот дух-пешеход неустанный, дух-прохожий, художник Марек, где ж его встретить, как не на улице, с палитрой и мольбертом, хоть в той жизни он не таскал их с собою, слишком тяжелы они были для его больного сердца, но теперь невесомы, и сам он невесом... И, наконец, самый старший призрак, самый первый, который посвящал меня в тайны этого города, столько лет тому назад, ах, это целая история, мы переписывались с паном Ежи, но никогда до тех пор не виделись, и, когда я написал в Берн, что я в Париже, он обещал приехать и заранее изобрел целый театральный ритуал (ну да, опять-таки театральный) для нашего знакомства. В определенный час я должен был войти в «Куполь», подойти к пожилому господину, читающему «Коррьере делла Серра», и произнести сложную фразу по-итальянски. Всю дорогу я ее отлично помнил, и вылетела она у меня из головы ровно тогда, когда я подходил к нему, спрятанному за раскрытой газетой. Он был страшно разочарован, но все-таки простил меня, и мы провели в Париже великий день моей жизни, и теперь, проходя мимо «Куполь», я вижу пана Ежи сквозь стеклянную стену, он сидит с «Коррьере делла Серра», читает о

террористах, самый прозрачный и летучий из призраков...

А когда приходит время уезжать, я впервые забываю — такого ни разу не было — бросить в Сену монетку, чтобы еще когда-нибудь сюда вернуться...

В ЗАЩИТУ АНАТОЛИЯ МАРЧЕНКО

ОБРАЩЕНИЕ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СССР

Анатолию Марченко 43 года. Впервые он попал в заключение в 19-летнем возрасте. С тех пор еще пять раз повторялся в его жизни этот страшный цикл: арест - суд - неволя. Начиная с первого ареста, Анатолий лишь 9 лет — урывками — был на свободе. В эти промежутки он, как и в лагере, работал — грузчиком, истопником и т. п., чтобы заработать на жизнь себе, а потом и своей семье. И в эти же короткие промежутки воли Марченко опубликовал две книги, несколько статей и многочисленные открытые письма — в защиту преследуемых за убеждения.

Он знал, что это грозит ему новым заточением. Он знал, как оно ужасно. Но это его не останавливало, потому что он органически неспособен оставаться безучастным наблюдателем проявлений несправедливости, жестокости и лжи.

И вот снова суд — за эти публичные выступления. И снова приговор, равный уже отбытому сроку: 10 лет лагеря и 5 лет ссылки.

Мы обращаемся к политическим и общественным деятелям, к писателям и рабочим, ко всем отзывчивым людям — сделайте все возможное для освобождения человека, обреченного на гибель в неволе за то, что бесстрашно говорил правду, за то, что думал больше о других, чем о себе.

8 октября 1981

Запад — Восток

Родольфо Квадрелли

ИТАЛИЯ ПЕРЕД ЛИЦОМ НИГИЛИЗМА

Мне кажется, что среди проблем, касающихся нигилизма, которые мы вынуждены сегодня обсуждать, можно или, скорее, даже нужно назвать и так называемую итальянскую проблему, то есть проблему культуры и статуса страны, само существование которой оказывается под вопросом. Я не хочу преувеличивать драматичность ситуации, и я знаю, что Италия обычно проявляет свою способность к сопротивлению как раз через свою кажущуюся слабость, не хочу я и особо выделять свою страну как якобы случай совершенно особенный и прибегать к распространенной сегодня самоуничижительной риторике, перемешанной с тайным самодовольством. Я считаю, однако, что Италия представляет собой страну более других безоружную перед лицом нигилизма.

Услышав это, могут подумать, что я отождествляю нигилизм с терроризмом и что я задаюсь вопросом, почему Италия не смогла эффективно противостоять терроризму. Но это лишь часть моей задачи: я хочу выяснить причины того, почему нигилизм в самом широком смысле, как кажется, берет верх в этой стране, не готовый ответить ему (но, быть может, готовый оказать сопротивление).

Под нигилизмом я понимаю всякое слово или всякое действие, сознательно или бессознательно стремящиеся опрокинуть культуру и историю для того, чтобы начать с нуля новое строительство или же просто

чтобы разрушить их. Разумеется, нужно делать различия между разными видами нигилизма.

После такого определения становится сразу же ясным первый очевидный факт: Италия — это страна, которая не дает себя опрокинуть. Или, скорее, это страна, которая уверена в невозможности опрокинуть культуру и которая как раз и уязвима более всех. Глубокая культурная стратификация, существующая в нашей стране, научила итальянцев думать, что цивилизация — это не тоненькая наружная пленка, которую можно легко порвать, а что она многослойна и что разрушить ее гораздо труднее, чем думают. Создается впечатление культурного богатства, которое порождает уверенность, проявляющуюся в виде скептицизма и недостатка веры. И это впечатление верно, при условии, что за скептицизмом умеют разглядеть по крайней мере возможность веры. И именно это многочисленные иностранные журналисты и комментаторы итальянских дел забывают делать, но об этом ниже.

Поражает огромная разница по сравнению, например, с Россией прошлого века, то есть страной, в которой слово нигилизм — и следует это хорошо помнить — приобрело тот новый смысл, который все мы ему теперь придаем, и особенно смысл, совпадающий со смыслом термина терроризм. В России радикальные идеи Белинского, Писарева, Чернышевского, Михайловского, которые сегодня поражают нас своей невероятной бедностью, смогли широко распространиться потому, что русская культура была по преимуществу мессианской и апокалипсической, что является самой простой формой религиозности; и Бердяев показал, что русский нигилизм, этот «аскетизм без Благодати», был светским вариантом апокалипсической веры раскольников и старообрядцев. На этой почве призывы к строительству путем разрушения звучали очень заманчиво, даже сам Толстой был этим заражен, и лишь Достоевский представляет собой великое

исключение. Ничего похожего мы не видим в Италии: наш позитивизм с его культом науки никогда не носил мессианского характера и был очень быстро и без труда разгромлен и осмеян. Этим Италия отличается не только от России, но также и от Франции и от Англии, и у нас такие фигуры, как Конт и Спенсер, просто немыслимы. И речь идет не только о культе науки, свойственном первым активным нигилистам, в частности русским, речь идет о всяких радикальных идеях, которые в Италии всегда, благодаря сильной культурной стратификации, подвергались особо строгой смягчающей корректировке. Итальянский вариант просветительства и романтизма дает тому яркое подтверждение. Бессознательный отголосок такого убеждения слышится сегодня в утверждении многих, будто итальянский терроризм сегодня управляется из-за границы: как истинные итальянцы, они не могут себе даже представить, чтобы мог существовать итальянский нигилизм-терроризм, целиком наш, отечественный, получающий из-за границы лишь необходимую помощь.

Тут я подхожу к сути этой моей статьи: перед лицом сегодняшнего нигилизма надежда на культурную стратификацию поверхностна и иллюзорна — нужна совсем иная опора. Нынешний вызов нигилизма, брошенный нашей стране и ее цивилизации, может казаться подобным тем, какие этой стране уже приходилось преодолевать много раз в ходе своей истории, и можно думать, что нынешний кризис в конце концов будет преодолен, как и все другие. Еще раз повторяю, что я не хочу преувеличивать драматичность ситуации, но хочу лишь указать, что специфичность сегодняшней опасности состоит в том, что она предстает как модерн, то есть современность. Речь идет не просто о варварском нашествии, которое, как можно надеяться, кончится тем, что более цивилизованный народ подчинит себе грубого захватчика и

можно будет провозгласить еще раз: *Graecia capta ferum victorem cepit*. Речь идет на этот раз о современности не только временной, но и концептуальной, состоящей в сознательном отделении от прошлого и от традиции, от всякой традиции. Все знают, что любая активная сила сегодня проходит и обязательно должна проходить через это сознание. Нигилизм тоже прошел через это, он тоже уже не наивен и потому особенно страшен.

Но прежде чем определить, в чем состоит слабость и в чем возможная сопротивляемость Италии, нужно сказать, что такое Италия и что такое итальянская культура. Это не отступление: это определение необходимо для того, чтобы объяснить, почему Италия кажется такой безоружной перед лицом нигилизма. Несколько лет назад (в 1973) я назвал Италию «страной униженной» в небольшой книжечке, собравшей воедино мои, по большей части безутешные, размышления о судьбе этой страны, которая, как мне тогда казалось и все еще кажется сейчас, унижена ошибочными оценками и не способна разрешить собственные проблемы именно из-за таких оценок. Их можно было бы резюмировать следующим образом: Италия — это не серьезная страна, потому что в ней никогда не было ни протестантской реформации, ни буржуазной революции, и ей недостает поэтому тех культурных структур, которые имеются в передовых северных странах. Ей свойственны та неизлечимая недостаточность, то отсутствие чувства Государства, та небрежность в отношении к общественным делам, которые объясняют столь позднее и мучительное объединение страны и наличие вековых и почти неразрешимых проблем (таких, как отношения Севера и Юга, эмиграция, мафия и т. д.). Здесь достаточно нескольких слов, потому что все уже было сказано и повторено много раз, более того, замечу вскользь, что итальянские журналисты почти единодушны в этом не ме-

нее, чем иностранные журналисты, находящиеся в Италии. Можно даже задаться вопросом, не является ли это единодушие обязательным, имея в виду, что журналистика, любая журналистика, какой угодно политической тенденции, всегда просветительская. Она стала таковой с самого своего рождения, три с половиной века назад, и думается, что она сохранит этот свой изначальный характер до тех пор, пока будет существовать. Даже самая отсталая журналистика — всегда «передовая». Но это не значит, что все эти ставшие избитыми повторения совершенно ложны, даже если очень противно видеть это ставшее обязательным очернительство (с примесью плохо скрытого тайного самодовольства), производимое для того, чтобы взобраться на пьедестал. Эти общие места оказываются фальшивыми благодаря той предпосылке, на которой они зиждятся: что обязательно надо быть «современными». Такая предпосылка мешает видеть подлинную сложность культуры, именно любой культуры, затемняя также и те реальные альтернативы, которые стоят перед страной. Существует тоталитаризм современности, я бы назвал его мягким тоталитаризмом, — в отличие от тоталитаризма политического, он поражает главным образом культуру, отмеченные богатством и разнообразием, и осмеивает их как раз за их разнообразие. Бюрократизация жизни, встречаемая с энтузиазмом полукulturой, унижает прежде всего те страны, которые могли бы ей противостоять. Если Италию можно в чем-то обвинять, так это в том, что она беспорядочно ассимилировала идеи современного рационализма, сведя свое собственное прошлое к живописной экзотике, вместо того чтобы сознательно искать иных путей. Этим объясняется, в частности, страшная недисциплинированность, которая среди бурной модернизации проявляется в таких размерах, что рискует свести на нет многие подлинные завоевания. Но это свидетельствует

также о том, что ассимиляция технических достижений и структурных моделей — это всегда ассимиляция культурная, и в Италии это не было понято. Не будучи страной бескультурной, Италия оказалась страной просто-напросто ослабленной двойным непониманием: ассимиляцией, не находящей должного ответа, и публицистикой, нацеливающей ее на «передовые» цели и в то же время издевающейся над ее неспособностью достичь их. Это непонимание, эта неосознанность и нечестность так тесно сплелись между собой, что мешают даже поставить вопрос о том, что же такое представляет собой Италия и что такое итальянская культура, каковы их возможности в будущем и каковы их прошлые недостатки.

Но все равно надо ставить перед собой такой вопрос и искать на него ответ. В Италии существует, или существовала до недавнего времени, дихотомия двух культур — культуры всех и культуры немногих. Первая — это католицизм, и важно также пояснить, какой именно католицизм, вторая — это гуманизм, который, начиная с XIX века (с таким важным предшественником, как Вико), становится историзмом. Слияние этих двух культур происходило очень редко и всегда при условии, что сильно видоизменялись как первый, так и второй: стоит в этой связи упомянуть о Данте и о Мандзони, об этих двух великих одиночках (может быть, следует присоединить к ним еще и Микельанджело, единственного духовного творца во всем нашем Возрождении). Но самый итальянский из всех наших поэтов и вовсе не одиночка — это Петрарка, и как раз его искусство позволяет нам увидеть пропасть, лежащую меж двумя культурами, и их глубокую взаимную чуждость. Итальянский католицизм, в том виде, в каком он формировался особенно во второй половине XVI века, — это религия по преимуществу пиэтета и морали, но не метафизика. Поэтому-то Данте и является парадоксом нашей литера-

туры, ибо, признанный величайшим нашим поэтом и классиком, он в то же время метафизик и потому одиночка. Такая религия пизетта и морали способна принять в себя и даже растворить в себе архаический гуманизм, то есть все то, чем человек *был*, но она не способна признать все те основания, которые позволяли человеку быть таковым, и поэтому она безоружна перед лицом новых открытий современных наук, она может лишь пытаться, и отчасти успешно, нейтрализовать их влияние на простонародье. До тех пор, разумеется, пока простонародье остается таковым. Сам Мандзони, сделавший эту религию своей и поставивший ее на место недостающей метафизики, в своих «Заметках о католической морали» писал: «Ах, что будет, если вдруг те, кого называют народом, однажды воспримут безбожную философию!» Именно это теперь и произошло: народ воспринял безбожную философию, католицизм пизетта и морали не устоял, обескультуривание, проводимое посредством вещей, но вещей, наполненных философией, стало столь неудержимым, что ассимиляция или нейтрализация оказались просто невозможными. Все это создало ту духовную пустыню, в которой только и могут расцветать революции, и особенно революции нигилистические. Когда распадаются естественные связи, создаваемые культурой, то, что остается в качестве «предметного» остатка, лишено смысла и кажется достойным разрушения, даже если нет при этом желания или возможности строить заново. Все то, что остается, начинает казаться — разумеется, тем, кто не способен охватить весь процесс, — лишь ненужной бессмыслицей, которую надо заменить чем-то другим. Нигилизм, присутствующий в предметности, насыщенной философией (разрушение известных ценностей во имя создания ценностей, плохо известных итальянцам), расчистил дорогу чистому разрушению и нигилизму в самой крайней его форме. Почему? Потому что ха-

рактерная черта разрушительства, когда оно воспринимается именно как таковое, то есть без позитивной замены, состоит в том, что оно никогда не совершается достаточно быстро: возникает настоящая революция растущих ожиданий, но в обратном смысле, в отрицательном смысле.

Если культура традиционная оказывала и оказывает сопротивление, главным образом, пассивное, то культура научная, как следовало ожидать, должна была бы ответить более ясным образом. И она действительно ответила. Но как? Она прежде всего провела различие меж двумя нигилизмами, не увидев того, что в процессе предметном заключено разрушение. Она во имя гуманизма-историзма дала оправдание реальности, которая под видом изменений, совершаемых в силу диалектического и конструктивного отрицания, казалось, нарушала кошмар иммобилизма и выдвигала на первый план человека. Стали говорить о «кризисе роста». Что же касается второго рода нигилизма, то, когда он стал проявляться в нашей стране в виде шумных протестов и насилий, она, не поняв его смысла, попыталась ассимилировать его под видом гуманизма, всячески расхваливая «брожения»: они всегда, мол, признак молодости и силы, которые движут Историю. (Возникла та самая ситуация, которая описана Достоевским в «Бесах»: либерализм или, точнее, радикализм расчищает дорогу нигилизму, и нигилист Петр Верховенский может сказать слабому, либеральствующему губернатору фон Лембке: «вы открываете нам дорогу и подготавливаете наш успех».) Затем, когда эти разрушительные манифестации принимали все более грозный характер и неизбежно вели к терроризму, она стала говорить, с большим опозданием к тому же, об *иррациональности*. Следует отметить, что термин «иррациональность» объясняет все и ничего, он слишком широк для того, чтобы определить собой специфику нигилизма-терроризма, и оказался

слишком узок для того, чтобы охарактеризовать это явление, когда характер его стал очевиден. Здесь проявляется основная апория нашей историко-гуманистической культуры (не свойственная, однако, ни Данте, ни Мандзони): убеждение, что зло имеет не метафизический характер, а только исторический, что по этой причине оно в конечном счете диалектически и динамически сотрудничает с добром и что гуманизм во всяком случае побеждает. А когда оказываются перед чем-то необъяснимым, всегда говорят об иррациональности. Эта апория непосредственно восходит к гуманизму XV века, а именно к его убеждению в том, что первородный грех, если и существует, вовсе не мешает человеку стать богом и что поэтому католическое понятие первородного греха можно если и не устранить совсем, то, во всяком случае, подправить. И в этом виден стиль. Это стиль, который издавна характеризует нашу культуру, за редкими уже названными исключениями, стиль, который старается представить этот наш земной мир, идеализируемый в классических традициях, как мир, несущий в себе самом достаточную гармонию — без аллегории, а не как отражение или загадку, и безо всякого соотношения с миром иным. И это также стиль любезности и нежности, очень приятных, когда они проявляются в манерах и правилах поведения, но совершенно недостаточных в качестве философских приемов.

Приведу пример. Есть один итальянский поэт, сумевший выразить все человеческое под видом католицизма, оставаясь в то же время глубоко чуждым всякой религиозности. Этот поэт — Ариосто. Его можно считать, в гораздо большей степени, нежели Борджиа и Казанова, всегда выставляемых многочисленными невеждами, типичным представителем Италии и даже фигурой, сумевшей совместить в себе гуманистическую культуру и культуру народную. Ариосто переносит время действия своей поэмы в от-

даленные времена, в эпоху скорее мифическую, нежели историческую, в эпоху борьбы Карла Великого против мусульман. Он был убежден, что целостность человеческого существования, то есть существование, овеянное «ореолом», невозможно передать, описывая его собственное время, что такое описание свелось бы к острым непристойностям, свойственным комедии и новеллистике шестнадцатого века. Целостность человеческого получает «ореол», потому что есть католицизм, и это надо всячески подчеркнуть. Но наш поэт использует католицизм только как щит, а не как призыв к активному действию. Он присваивает этому умерщвленному католицизму терпимость к человеческой природе, особенно к свободным половым связям, что противоречит религиозной морали и средневековому аскетизму.

Так вот, случайно ли, что Ариосто был любимым поэтом Бенедетто Кроче? Случайно ли, что поэт позднего Возрождения, периода, который многими рассматривается как период нашей зрелости, был любимым поэтом философа новой Италии, считавшего либерализм философией вершины времен? Тут важно не то, что определение «поэт гармонии» лишь до некоторой степени приложимо к Ариосто и что ему можно дать совсем иные интерпретации, важно то, что именно он избран и предпочтен другим. И именно Бенедетто Кроче, то есть диктатор культуры новой Италии, утверждал, что причина ошибок заключена в практической деятельности и в страстях человеческих. Это все равно, что сказать, что метафизического зла не существует, а существует лишь ошибка, объясняемая добрыми или злыми мотивами. Та Италия, чьим поэтом является Ариосто и чьим философом является Кроче, всегда склонна считать ничто... не существующим. И именно поэтому она более всех подвержена сносить его или, во всяком случае, сносить удары этого ничто, направленные на ее уничтожение. Наименее

манихейская во всей Европе культура становится, начиная с определенного момента, культурой самой блестящей и более других склонной к поверхностности; и мы вынуждены искать на стороне: у Шекспира, у Расина, у Паскаля — те конечные истины, которые она все более утрачивала.

В самом деле, гуманист, и особенно итальянский гуманист, университетский профессор или директор лицея, всегда гораздо слабее нигилиста, потому что в своей защите *ценностей* он вынужден защищать вещи, в которые сам не верит до конца, которые он готов скорее просто терпеть, с видом смирения или скептицизма. Нигилист же, напротив, вкладывает в разрушение большую страсть, потому что эта страсть, в отличие от гуманистических построений, недифференцирована и тотальна. Я думаю, что только в последнее время впервые в Италии стало возможным услышать фразы вроде знаменитой фразы Белинского: «Стоит уничтожить половину человечества для того, чтобы сделать счастливой другую его половину». Неподготовленные к такой ясности, мы, когда появились Красные Бригады, стали спрашивать себя: «Откуда они взялись?»

Неспособность называть вещи своими именами, усиливаемая нерешительностью и трусостью, которые сегодня гуманист демонстрирует, а также иллюзии насчет возможности исправления нигилиста вытекают из веры в Историю, понимаемую как диалектическое выражение *humanitas* и крочевской, да и не только крочевской, теории о природе ошибки. Но такая вера удерживается сегодня только по инерции. В самом деле, крочеанство потерпело поражение, выявив свою неспособность понять ту уничтожающую тенденцию, которая свойственна развитому индустриальному обществу; историзм, все более становящийся методологией и все менее философией, клонится к упадку; но особенно очевиден упадок религиозного духа,

который был характерен в Италии для народной культуры и который в Италии совпадал с католицизмом. И оказался нарушенным, наконец, тот странный симбиоз католицизма и крочеанства, который подчинял себе умы без видимого противоречия; теперь уже не имеет смысла тот своеобразный пакт о ненападении, который в первые послевоенные годы, как кажется, был заключен между традиционной религией и официальной философией.

Все это не могло дальше существовать, и этот непригодный инструмент, это кривое буржуазно-католическое зеркальце было разбито вдребезги ходом вещей и нигилизмом, который в них был заключен, но который оно не отражало. Но интереснее всего то, что последовало и на что следует обратить внимание, если мы хотим понять затяжной характер этого «кризиса», которому, как кажется, нет конца. Образовалось нечто вроде нейтральной полосы, ничьей земли, населенной людьми, которые уже ничему не удивляются и все терпят, которые уже ничего не видят, но на все претендуют. С другой стороны, не слышно, по крайней мере официально, голоса судьи, роль которого должны были бы взять на себя литераторы. Они в большинстве своем не знают, что такое итальянская культура, и потому ограничиваются поверхностным и снисходительным осмеянием всего, представляя как культурное богатство и плюрализм то, что на самом деле представляет собой лишь культурные заимствования и переводы.

Отсутствие чувства долга по отношению к своему прошлому и сознания своих реальных или хотя бы предположительных корней, привело к трагической пустоте в словах и нравах. Упадок нравов очевиден, он проявляется в том, что называют варварством, но что следовало бы называть нигилизмом, то есть варварством сознательным и современным. Гораздо меньше говорят об упадке слова, печатное слово стало

двусмысленным, полным личных намеков и предполагаемых культурных подтекстов, оно утратило свою универсальность и прочность. Литературная критика, например, превратилась в простую ярмарку тщеславия, где экстравагантность выражения стала нормой, где оценки всегда преувеличены и натянуты и где качества, по-человечески отрицательные, становятся литературно похвальными. «Жуткий», «жестокий», «бредовый», «опустошающий», «провокационный» — вот те похвальные эпитеты, которыми награждается нарушение правил, нарушение, в котором уже теряется смысл как правила, так и самого нарушения. Из-за отсутствия твердых критериев и общепризнанных надличных корней начинают маневрировать словом так двусмысленно, что оно уже способно прикрыть и облагородить какое угодно содержание по мотивам личным, коммерческим или политическим. Литературная коррупция сливается с коррупцией общественной и становится ее выразительницей.

Вследствие убеждения или заблуждения, что небытие (ничто) не существует, возникла в Италии также и риторика негативизма, то есть та нигилистическая тематика, в которой ничто и особенно его черты, «запрещенные» моралью, становятся излюбленными. Вера в традицию, я не говорю реально существующую, но хотя бы возможную, расценивается как дурной вкус и служит знаком социального самоустранения. Хилая вера историзма должна была уступить место более беспощадному анализу реальных ситуаций и особенно более требовательной проверке так называемых достижений либерализма и науки. Но из критики того, что я назвал бы поклонением идолу современности, критики, которая лишь частично была произведена, возникает то, что как раз и является наиболее современным и опасным: радикальный отказ от страдания и иллюзия, что можно творить добро без жертвы и без мученичества.

Совершенно ясно, что мы не можем по-прежнему оставаться гуманистами, и я убежден, что пятивековой маршрут подходит к концу. Но в тот момент, когда мы готовы отказаться от того, что нам кажется верным и даже, быть может, провиденциальным, мы замечаем, что отказ от духовных отцов столь же труден, как и отказ от кровного родства. Отказаться от гуманизма, а надо иметь в виду, что существуют разные виды гуманизма и не все они являются прославлением homo faber, — все равно что оторвать от себя кусок живого мяса. Я наблюдаю с некоторой долей зависти за теми, кому удастся это сделать без усилий, но возможно, что их плоть мертва и они могут спокойно предлагать ее тому, кто дает больше.

Цивилизация и гуманизм, который с ней идентифицируется, пришли к такой изношенности и стертости собственных верований (в то, например, что существует человеческая природа и что человек по сути своей отличен от животных), что нам остается лишь — ради спасения от нигилизма — умереть, чтобы жить, прыжок в темноту, чтоб снова стать на ноги, отказ ради обладания.

Я уже не раз называл такой поворот *иронией*, что буквально значит «фикция», «притворство», она, эта ирония, состоит в том, чтобы конструировать обманчивые цели и тем самым давать возможность целям подлинным предстать самим. Согласно этой иронии, не следует возвращаться назад, чтобы вспоминать и сохранять, но надо угадывать возможную традицию в будущем. Согласно этой иронии, станет как бы вынужденной необходимостью позволение вновь выйти на свет, пожалуй, с помощью таких великих одиночек, как Данте и Мандзони, всему тому, что наша общепринятая традиция забыла: что зло существует и что диалектика истории его не устраняет, что человек способен совершать зло добровольно и даже бескорыстно и что человек в своей шаткой и неопределенной доле

может иметь *видения* и вступать на путь познания и освобождения.

Способна ли будет Италия на такую иронию и не побоится ли она умереть для своей видимой и кажущейся традиции для того, чтобы смочь жить и вспомнить то, чем она является на самом деле или чем она могла бы быть? В этом случае она открыла бы истину, в которой я убежден, но которую ходячее мнение игнорирует: что она владеет реальной силой под видом слабости и способностью победить. Но, может быть, такая сила и такая слабость сегодня уже стали силой и слабостью всего мира, а Италия с ее обескураживающими противоречиями есть не что иное, как драматичный пример того.

ДЖУЗЕППЕ САРАГАТ — «КОНТИНЕНТУ»

В конце июня 1981 г. в Риме состоялась пресс-конференция по случаю выхода в свет первого номера «Континента» на итальянском языке, устроенная молодежной социал-демократической организацией. Почетный председатель социал-демократической партии Италии, бывший президент Итальянской республики Джузеппе Сарагат адресовал пресс-конференции следующую телеграмму:

Генеральному секретарю Итальянской социал-демократической молодежной организации Луиджи Симеони.

По случаю выхода в свет журнала «Континент» и связанной с этим пресс-конференции желаю выразить тебе глубокую благодарность за эту акцию в защиту демократических свобод и Прав Человека. Прошу тебя передать всем участникам пресс-конференции заверение в моей глубокой солидарности.

С братским приветом,

Джузеппе Сарагат

НОСОРОГИ ЗА РАБОТОЙ

ОТ РЕДАКЦИИ: Начиная с этого номера, мы вводим в раздел «Запад—Восток» рубрику под указанным выше названием. Таким образом, «Континент» намеревается открыть официальный список однорогих особей Запада, намеренно, из трусости или по врожденной глупости способствующих распространению тоталитарной дезинформации в современном мире. Кто следующий?

Святослав Караванский

САХАРОВ И СИ-БИ-ЭС

18-го июня 1981 г. по телесети Си-Би-Эс была передана передача «Защита Соединенных Штатов», Часть V, «Русские». Передача была составлена из интервью с рядом лиц, старавшихся убедить американцев в миролюбии СССР и надежности его как партнера в международных отношениях. Иными словами, черное изображалось белым и наоборот.

Кого же избрала режиссура (У. Кронкайт. — Прим. ред.) передачи для интервью?

Во-первых, это были представители советской бюрократической элиты:

Генерал М. Мильштейн — член Главного Разведывательного Управления Советской Армии.

А. Бовин — один из личных секретарей Брежнева,

В. Журкин — заместитель директора советского «исследовательского» Института США и Канады,

С. Лосев — генеральный директор ТАСС.

Затем в передаче участвовали московские корреспонденты западных газет:

Кевин Клоуз — корреспондент «Вашингтон Пост»,
Тони Остин — корреспондент «Нью-Йорк Таймс»,
Майкл Биньян — корреспондент лондонской «Таймс».

Принял участие в передаче и русский «диссидент» Рой Медведев. (Кавычки к его титулу добавлены членами Московской группы Хельсинки.)

Два месяца спустя, 16-го августа 1981 г., в воскресном приложении к газете «Вашингтон Пост» — «Парад» — было опубликовано обращение академика Сахарова, затронувшее те же вопросы, что и передача Си-Би-Эс.

Поскольку выводы в обоих случаях оказались разными, попробуем сопоставить их, начав с программы Си-Би-Эс.

Прежде всего, давайте выясним, возможно ли, чтобы члены советских партийных, пропагандистских и разведывательных органов были искренними, отвечая на вопросы корреспондентов «буржуазных» газет? Вряд ли нужно доказывать, что они будут маскировать планы и намерения Кремля, как это делает официальная советская пропаганда, — т. е., будут дезинформировать аудиторию. Так оно и случилось. В этом нетрудно убедиться, сравнив взгляды участников передачи со взглядами Сахарова.

БОВИН: *Мы никогда не нарушали даже неподписанных соглашений.*

Правда ли это? Бовин считает американцев прощачками, не знающими истории. Придется напомнить ему. Перед второй мировой войной СССР подписал пакты о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. Сдержал ли Союз свои обязательства в 1938 и 1939 гг., когда Германия напала на обе эти страны? Ничуть не бывало. Наоборот, СССР заключил договор о разделе Польши — союзницы Франции — с Гит-

лером. Советский Союз подписал до войны Пакт о ненападении с Японией и нарушил его, оккупировав Маньчжурию и Сахалин. Кремль не выполнил ни одной резолюции ООН, относящейся к СССР. Не соблюдает он и Международного Пакта о гражданских и политических правах, так же, как и недавно подписанного Хельсинкского соглашения. СССР применяет химическое оружие в Афганистане, нарушая международные обязательства.

САХАРОВ: Важнейшее условие международного доверия и безопасности — открытость общества, соблюдение в нем гражданских и политических прав человека: свободы информации, свободы убеждений, свободы религии, свободы выбора страны проживания (т. е. эмиграции и свободного возвращения), свободы зарубежных поездок, свободы выбора места проживания внутри страны.

ЖУРКИН: Мы категорически заявляем, что Советский Союз не оказывает помощи национально-освободительному движению в Сальвадоре.

Как и большинство заявлений советских лидеров, это неправда. Во время гражданской войны в Испании (1936-39 гг.) советские дипломаты утверждали, что СССР не посылает оружия и войска республиканцам. Это была ложь. В настоящее время у Советского Союза есть исполнители его агрессивных намерений во всех уголках земного шара. Одним из таких исполнителей является Куба. Присутствие кубинцев в Сальвадоре свидетельствует о советском вмешательстве в этой стране.

САХАРОВ: Использование терроризма правительствами, прямая или косвенная, через посредников, его поддержка — недопустимы.

Самое страшное в упомянутой передаче Си-Би-Эс было то, что корреспонденты свободной прессы старались поддержать дезинформацию советских демагогов. Послушаем теперь и их.

КЛОУЗ: *Но я не думаю, что это руководство — не только руководство Брежнева как таковое, но и побуждения, руководящие этой страной, — нацелено на экспансию.*

Пусть это заявление ляжет целиком на совесть м-ра Клоуза. Ибо сказать так — значит либо быть абсолютно наивным, либо быть заинтересованным в распространении дезинформации. Разве коммунистическая Москва не начала своего существования с оккупации Украины, Кавказа, Средней Азии и с попытки оккупации Польши (1920 г.)? Разве не она оккупировала Литву, Латвию, Эстонию, часть Финляндии, Польши, Румынии, затем — Венгрию, Чехословакию и, наконец, Афганистан?

САХАРОВ: *...партийная власть продолжает традиционную русскую геополитику, но уже во всем мире, используя гигантские возможности тоталитарного строя — унифицированную и тенденциозную, но умную и последовательную пропаганду внутри страны и во вне... Одна из целей советской внешней политики — дезорганизация и запугивание Запада, эксплуатация его технических и экономических возможностей под угрозой нацеленных ракет.*

БИНЬЯН: *У них возникли проблемы на южном фланге с Афганистаном.*

Советскую оккупацию Афганистана, последовавшую за подготовленным Кремлем переворотом, корреспондент свободной прессы называет «проблемами»! Отныне это не оккупация, не агрессия, а всего лишь «проблемы»! Такую осторожность в выражениях можно объяснить только страхом корреспондентов, что советские власти лишат их работы, облыжно обвинив в «распространении искаженных взглядов об СССР».

САХАРОВ: *Необходим решительный отказ — я опять обращаюсь и к США, и в особенности к СССР, так как возможности тоталитарного строя тут*

особенно велики — от всех форм подрывной деятельности, от использования инспирированной прессы, косвенного и прямого подкупа деятелей прессы, бизнеса и политики...

Сахаров решает советские «проблемы» очень просто: *«Необходим вывод советских войск из Афганистана,...»*

БИНЬЯН: *Как только русские видят рост левого революционного движения, или успех левых повстанцев, или скорое взятие власти левыми, они считают своей обязанностью вмешаться.*

Говоря об этом, следует иметь в виду, что Советы стояли у колыбели всех этих движений. Иными словами, вели и ведут подрывную деятельность во всем мире, а когда инспирированные ими движения становятся реальной силой, начинают поддерживать их открыто.

САХАРОВ: (Перечисляя факторы, приближающие военную катастрофу). *Это — ложная логика удержания власти, мешающая необходимым компромиссам и реформам, я говорю о партийной власти в СССР, но не только о ней. Это — экспансия, борьба за расширение сферы влияния, иногда из-за ошибочного понимания обеспечения безопасности (и СССР, и США), главное же — из-за фальшивого и опасного мессианства (СССР).*

ОСТИН: *Я думаю, мы можем полагаться на них (на Советы) в деле соблюдения соглашений. По-моему, они зарекомендовали себя здесь отлично. Как вы считаете?*

БИНЬЯН: *Согласен.*

КЛОУЗ: *Я также.*

Что это? Наивность или преднамеренная и роковая дезинформация?

САХАРОВ: *Правительства и общественность всех стран должны настаивать на безусловном выполнении в полном объеме гуманитарных обяза-*

тельств, принятых на себя СССР, в частности, в Пактах о правах ООН и в Хельсинкском Акте. Это необходимое условие доверия к подписи СССР.

Наконец, наступила очередь диссидентов. Я не знаю, какие политические взгляды Роя Медведева принесли ему славу диссидента, но его мнение о миролюбии Брежнева может повторить любой советский бюрократ как ортодоксальный советский взгляд.

РОЙ МЕДВЕДЕВ: *Как все старые люди, он (Брежнев) хочет, чтобы у них была спокойная, тихая жизнь. Они не хотят такого обилия кризисов в мире.*

В самом деле? Давайте проверим по Сахарову.

САХАРОВ: *...партийная власть продолжает традиционную русскую геополитику...*

Разве Сахаров исключает Брежнева из понятия «партийная власть»? Я глубоко сомневаюсь в этом. Но Рой Медведев сам опровергает собственное заявление в следующей фразе: *«Они не хотят посылать дивизии в Польшу, но сделают это, чтобы удержаться у власти».*

Иначе говоря, мысль такая: Брежнев и его приближенные очень миролюбивы, но ради спасения своей власти они не позволят полякам обрести свободу и несколько лучшие условия для жизни и труда. Брежнев не может дать им этих условий, ибо бюджеты СССР и его сателлитов обременены громадными военными расходами.

САХАРОВ: *Не следует принимать всерьез цифры военных расходов, приводимые советской пропагандой, — они всегда преуменьшены. К тому же особенности экономической системы позволяют свободно и неконтролируемо перераспределять ресурсы и создавать вооружение, как бы ничего за него не платя...*

КОРРЕСПОНДЕНТ СИ-БИ-ЭС ДАН РАТГЕР: *Станем ли мы сильнее, положившись на новые виды оружия?*

САХАРОВ: *Вместе с тем, несомненно, что глубокий прогресс в предотвращении ядерной угрозы возможен лишь в сочетании с поддержанием, а — при необходимости — восстановлением равновесия сил между Западом и социалистическим лагерем в области обычных вооружений, при условии осознания общественностью на Западе серьезной тоталитарной угрозы, большей психологической стабилизированности на его противостояние этой угрозе.*

Я надеюсь, что сравнение взглядов академика Сахарова со взглядами, внушаемыми Си-Би-Эс, поможет многим понять проблемы, стоящие перед свободным миром. Предоставим им самим сделать выводы.

РЕЗОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕН-КЛУБА В ЗАЩИТУ ПРИБАЛТИЙСКИХ КУЛЬТУР

24 сентября проходившая в Лионе Генеральная Ассамблея 45 международного конгресса ПЕН-Клубов приняла следующую резолюцию, предложенную ПЕН-Клубами Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии.

Одна из важнейших задач Международного ПЕН-Клуба — защищать культуры малых народов. Скандинавские ПЕН-Клубы озабочены известиями о тех трудностях, с которыми сталкиваются их коллеги в трех странах восточного побережья Балтийского моря, часто называемого морем мира. В течение последних лет мы получаем информацию об угрозе, нависшей над культурой в Эстонии, Латвии и Литве, в частности — об арестах представителей интеллигенции, которые борются, защищая отечественную культуру. Мы просим всех членов Международного ПЕН-Клуба присоединиться к нам в осуждении этой недружественной политики, противоречащей принципам всех международных культурных соглашений.

Генеральная Ассамблея уполномочила президента Международного ПЕН-Клуба шведского писателя Пера Вестберга вручить эту резолюцию послам СССР в Копенгагене, Осло, Стокгольме и Хельсинки.

Факты и свидетельства

Лев Консон

ЛАГЕРНЫЕ ИСТОРИИ

Только в кино да в литературе можно встретить такого красавца: светлые вьющиеся волосы (ему разрешали их носить), глаза голубые, брови черные, папах набекрень. Стройный, лихой, дерзкий. Трудно было не залюбоваться им, герой да и только. На работу ходил редко. Блатные уважали, да и начальство считалось с ним... Для всех он был Соловьем-разбойником, но я его знал иным. Он иногда приходил в наш барак и тихо рассказывал мне о Москве, о театре, о литературе. Мне он всегда был непонятен...

Бригаду гнали с работы. Навстречу гнали Печерский этап. Колонны поравнялись и стали перекликаться:

- Эй, Карзубый! А Валерка ссучился!
- Врешь, Иван Хохол с Нюркой живет!
- Шурика землянули?

Конвой пытался перекрычать, требуя, чтоб заключенные замолчали. Отчаянный лай вохровских псов включался в эту какофонию. И все же наша брала:

- А шнифт кто тебе выбил?
- Не дай Бог попутая на пересылке!
- Сам падлюга!
- Лепеху когда отдашь?
- Эй, Нос! А кто это в папaxe?
- Наш, голубых кровей! С Капченым хакает!
- Как фамилия, уж не Федоров?
- Федоров.

— Гад, я его с ходу уличил. Следовательно. Он мне в Таганке срок мотал...

Я никогда не видел лица белее этого, я никогда не знал, что лицо может быть белым таким. Молча колонна дошла до лагеря. Вечером, на лошади, его мертвое тело отвезли в лес.

Рыбонька любила жевать смолу. Никола-Свист жил с Рыбонькой. Жил да вот изменил. На работе Никола спал. Рыбонька топором отрубила ему голову. Взяла ее за ухо (волос-то не было) и принесла конвоирам. Говорит: «Заберите, а то подумаете, что в побеге он».

Она и на следующий день жевала смолу. Она все время жевала смолу.

Когда нас гоняли копать картошку, то мы скребли ее стеклом и ели сырую. Очистки в землю зарывали, а то били очень.

В поле с краю дороги росла капуста. Когда бригада бросилась к ней, то двоих убили из автомата.

Шли этапом. На ночь загнали в пересылку. У одного были золотые зубы, так ему в уборной лопатой их выбили и унесли куда-то.

У блатных были ножи. Их человек семь было. Конвой специально сажал их в вагон к новеньким, и блатные отбирали у них все, что имело для них хоть мало-мальскую ценность. Награбленное отдавали конвоирам, а те им за это приносили жратву, махорку, водку и на ночь пускали в женский вагон.

Карзубый жил на верхних нарах (как и положено по рангу). Хорошо было тем, кто жил под ним, на нижних. Кормили винегретом, а Карзубый морковку выплевывал на пол (это у них хорошим тоном считалось). Правда, вечером нащупать морковку было трудно (землянку освещала коптилка). Зато когда с верхних нар трассирующей пулей летел окурок, то множество теней накрывало его.

Принесли завтрак, а у Вовочки пропала ложка. Вовочка рассердился и стал требовать ложку у мужика, что жил под ним. Тот сказал, что ложку не брал. Вовочка кулаком сбил его на пол, встал сапогом на спину, а другим принялся вбивать голову в пол (сам же за нары держался, чтоб не упасть). Кровь хлынула из горла.

Мы с трудом дожевывали свой завтрак.

На нашей колонне был главным Шагай выше. Чем-то он провинился перед своими. Урожай гвоздем вырвал ему горло.

Урожай страшно нервничал, когда играл в карты. Как-то кошка выгребла из-под нар крысят. Урожай бросил карты, схватил крысенка и, перекусив, выплюнул.

Была женщина у нас, лет тридцати пяти. Некрасивая, косая. Ребенок был у нее. Белье приходила стирать. Урожай жил с ней и на людях был груб, но любил, наверное. Он самое вкусное не ел, а берег ее малышу. Как-то проигрался весь, а сапожки красные

не стал проигрывать. Только я знал, что он их отдаст ребенку.

Шли с работы. Морозило очень. Все спешили добраться до лагеря, чтоб согреться горячей баландой и растянуться на нарах. Шли, а тут мальчишка-украинец стал отставать. Конвой велел тащить. Мы и тащили, а он совсем сник, да и мы выбились из сил. Стемнело. Конвой злится, собаки лают, а он не встает. Обидно было из-за него мерзнуть, да так обидно, что кто-то закричал, кто-то ногой пнул лежащего, и все тут бросились бить, топтать. Силы-то откуда взялись... Потом срубили елку, привязали к ней мальчишку и волоком дотащили до лагеря. А тут, как на зло, привезли кинопередвижку, и баланду нам не дали до тех пор, пока не провертели всю «Большую жизнь». Это картина так называлась.

Долбенков, старый коммунист, долгие годы писал Сталину жалобы. Всё верил ему. Так и умер на нарах. Умер раньше Сталина.

Начальник лагеря собрал всех музыкантов в агитбригаду. Под грохот Фаустовского марша нас пинками и палками выгоняли на работу, а отказчиков волокли в изолятор. Под звуки марша «Аиды» нас, голодных и раздавленных, обыскивали у вахты.

В клубе-столовой на сцене ставили стол. За стол сажали штатного рекордиста (из стукачей, конечно), и тот на глазах у всех пожирал огромные, квадратные картофельные запеканки. Рядом стоял начальник КВЧ (культурно-воспитательная часть). Голодный оркестр за сценой выводил «Трубадура».

Начальник изолятора Ян-Луна и два его кореша решили утолить свою половую потребность. В изолятор посадили корейца-отказчика. Грозя ножом, они заставляли его ртом утолить их похоть. У Яна-Луны кореец откусил начисто.

Не было бумаги, а умирали часто. Тут любой лекпом в тупик станет, ведь акты писать не на чем. Воспоем же славу тому, кто первым догадался писать акты на финстружке. Главное, чтоб сучков не было.

Забавный случай. Насмешил дядя Паша. Сосед взял у него трубку покурить. Покурил и умер. Ребята потащили покойника в санчасть, а дядя Паша суетится, все трубку хочет забрать.

— У него моя трубка, отдайте трубку. Дайте я найду. Трубку мою отдайте.

Ребята дядю Пашу отталкивают, а он, чудак, все к покойнику лезет. Весь барак смеялся.

Родилась в Литве. Когда посадили родителей, то она в классе опрокинула бюст вождя. Так она стала политической. Изящная девчонка и пела хорошо. У нас сформировали агитбригаду, и девушку привезли к нам. А тут Чума и Шкода проигрались в карты. Чтоб их не зарезали, им нужно было срочно уезжать. Вот они и придумали: пришли в агитбригаду, затащили девушку в сушилку. Сопротивлялась, а у них нож был. Ее, истекающую кровью, изнасиловал Шкода, а Чума насиловал мертвую. Их увезли в центральный изолятор.

Начальник запретил выдавать новые бушлаты работающим на лесосплаве. Уж очень часто тонули.

Если конвоир собьет с тебя шапку и отшвырнет ее в сторону, не вздумай идти за ней! Будешь убит «при попытке к бегству».

Когда река начинает замерзать, очень трудно лезть в воду, скалывать лед и выкатывать бревна на берег. Видя, что нам трудно лезть в воду, конвой всегда помогал нам, загоняя прикладами. Сами мы бы не могли. Однажды наш начальник уехал, а на его место прислали другого. Пришли на работу, а конвой не решается при новом начальнике загонять нас прикладами. Мы же ни с места. Начальник стал просить нас, упрашивать. Потом он что-то сообразил и спрашивает, не хотим ли чего. Мы посоветовались между собой и нерешительно сказали, что хотим хлеба с сыром. Начальник дал конвоиру денег и велел принести из вохровского ларька сыр с хлебом. Принесли, разделили меж нами, и мы все съели... Съели, а в воду лезть не можем. Начальник стал стыдить: да как вам не стыдно, ведь мы договорились, не честно так, сыр-то съели и хлеб. Мы молчали, а он все стыдил. Потом он что-то закричал, выхватил пистолет и стал стрелять в воздух... Конвой бросился к нам, и мы оказались в воде...

Мы скалывали лед, выкатывали бревна...

На берегу сидел начальник. В руке начальника висел пистолет. Начальник плакал.

Хуан писал жене письмо. Пишет, что стал политическим, что получил 10 лет, чтоб не ждала его, а

выходила замуж. Жена ответила, что не имеет права он ей так писать, что любит, что будет ждать.

Я спросил с досадой: ты зачем жену обидел? Он ответил: я должен был так вот написать, а она должна была вот так ответить.

В камере, что напротив, сидела женщина. Кричала очень. Наверное, с ума сходила. Детей все вспоминала. Звала. Тяжело было слышать, особенно вечером. Уж охранники старались, рот ей закрывали, а все равно тяжело было слышать.

Гнали этап с бухты Ванина. Людей шатало (а ветра не было). Когда пустили в зону, то, спотыкаясь, падая, заковыляли к помойке (что около кухни). Серой массой шевелилась помойная куча. Глотали все, что глоталось. Комендант гнал от помойки, бил палкой, ногами, а они — взрослые люди — ползали, скулили, плакали и ели...

Тут-то и пришла на помощь смекалка — кухонные отбросы стали вывозить за зону.

Мы любили старика Власова. Шутя звали его Декабристом. Он еще при царе сидел в тюрьмах, на ка-торге был. А после революции была дискуссия о проф-союзах, и он занял не ту позицию. За это его никогда не выпускали. Всю свою жизнь жена ездила за ним.

Барак был переполнен, и нашему этапу пришлось разместиться на полу. К Лехе охрана пускала бабу. Он жил с ней на глазах всего барака. Чтоб ночью не ходить к параше, они мочились в котелок прямо на на-

рах. Когда котелок наполнялся, они содержимое выплескивали на пол. На нас то есть.

Очень высокий и очень худой, в рваной папахе и в рваной бурке, Иогансон выделялся среди зековской массы. Зная, что в прошлом он был командир, каждый охранник и каждый зек считал своим долгом (то есть лестным для себя) толкнуть, ударить его. Он очень тяжело переносил голод. После работы, вечером, он приходил ко мне и мы молчали. Ему страшно тяжело давался голод. Как-то он рассказал мне, что командовал кавалерийским корпусом. Потом война началась. Попал в окружение. Вырвался. Сформировал партизанский отряд. Действовали в Бессарабии. Однажды сон приснился: стоит он у края дороги. Бойцы мимо идут, лошадей ведут под узцы, на него не смотрят, глаза в землю потупили. Прошли, и тут три старушки подходят. Вдруг пламя их охватило, а в пламени крест... Позже отряд остановился у церквушки. Обедали у священника. Сон ему рассказал. Он сказал, что ждут меня большие страдания... Я не верил, война к концу шла.

Вы не слышали, Иогансон жив?

Мне давно хотелось рассказать этот эпизод, да трудно он у меня получается.

В 1950 году из многих лагерей согнали нас, политических, на строительство железной дороги Тайшет-Братск. Зимой мороз, летом мошка, и всегда голод, и всегда непосильная работа. Обычную охрану у нас заменили краснопогонниками и прямо за зоной выкопали большой котлован (может, для устрашения, может, еще для чего, а может, и правда перебить собирались, обстановка в мире была напряженная).

Был у нас Виталий Веслопонов, из Хабаровска этапом прибыл. Ничего примечательного, а вот учуяли что-то люди и потянулись к нему. Я думаю, потянулись еще и потому, что молчать он умел как-то особо выразительно. Нам казалось, что за этим молчанием скрывается то заветное, до чего сами мы додуматься не могли. Зимой нашу бригаду гоняли на разгрузку цемента. Разгружали совковыми лопатами прямо из вагонов в тачки. Напарником моим был Виталий. Помню, работали в ночную смену. Неожиданно свет погас. Конвоиры всполошились, забежали и заперли нас по вагонам.

Темно, холодно, сидим в цементе, молчим. Вдруг Виталий спрашивает, нет ли у меня на воле знакомого студента и не могу ли я дать его адрес. Я спросил, зачем ему это, и он, волнуясь, стал объяснять мне, что люди добры, что люди обмануты, что если сказать им правду, если открыть им глаза, то разве удержались бы эти лагеря, разве удержалась бы эта система! Он нашел выход. Он нашел возможность отправлять письма, минуя лагерную цензуру. Он уже кое-кому писал, он Твардовскому писал, он писал студентам филологического факультета. Пока еще все тихо, но он опять писать будет. Если ж и дальше ничто не изменится, то, видно, письма где-то пропадают, где-то перехватывают их. Тогда писать бесполезно.

Он все продумал, он все решил, он пойдет в побег. Он к празднику доберется до города. Он на праздничной площади скажет людям правду.

Нет, ты не знаешь людей, не говори так о них. Мне бы только до города добраться. Они не предадут меня.

Весной тело его долго лежало у вахты.

В городе было спокойно.

Посади змею в бамбук, она и там извиваться будет.

Китайская пословица

Да не подумайте, братцы, что в лагере страдали только невинные, страдали и виновные. Взятчик отбывал свой срок в хлебозерке, растратчик на складе. Блатные искупали свою вину, работая пожарниками, бригадирами, вахтерами, дневальными. Кто при немцах сотрудничал с фашистами, тот после в лагере сотрудничал с коммунистами. Комендант нашего лагеря Романовский страдал за то, что при немцах тоже был комендантом и тоже в лагере.

Страдали все.

Из газет я узнал, что объявлен конкурс на лучший рассказ, посвященный славному шестидесятилетию органов государственной безопасности. Этой-то славной дате я и посвящаю свой рассказ. Прошу уважаемое жюри обратить внимание на то, что рукою автора управляла не только корысть (деньги, правда, позарез нужны), но и чувство глубокой признательности к органам КГБ.

Неисповедимы пути Господни, и моей убогой голове не понять, зачем понадобилось нашей славной разведке красть из Западного Берлина участника французского Сопротивления, еврея по национальности, журналиста Гевюрца, и зачем понадобилось нашей не менее славной прокуратуре (интересно, а будет конкурс, посвященный прокуратуре?) осудить французского подданного на длительный срок заключения в сибирские лагеря... за сионизм.

Короче, Гевюрц нашел меня в бараке. Волнуясь, на ломанном русском языке он сказал, что в бригаде его жидом обзывают, что вчера бригадир лопатой ударил, а когда он пожаловался оперуполномоченно-

му, то все отшатнулись от него. Пожалуйста, скажите, как быть? Что дальше делать? Я сказал: не ломайте себе голову, Гевюрц, и если кто-либо вас опять ударит или оскорбит, то, ради Бога, никому не жалуйтесь. Бейте, Гевюрц. Кулаком бейте, бейте камнем, лопатой. Бейте всем, что под руку попадет, но бейте обязательно.

Через пару дней исцарапанный и счастливый Гевюрц нашел меня в бараке.

Если на Страшном суде Господь укажет мне на мои прегрешения, я тогда расскажу ему о Гевюрце.

С тех пор, как перевели нас на разгрузку угля, у меня совсем работа перестала клеиться. Средняя выработка моя равнялась 23-27%. Пайку давали самую тощую, но дело было в зоне, и голодать мне ребята не давали. Так продолжалось несколько месяцев, и все было бы хорошо, но тут начальник КВЧ (мы его звали Васей-сопливым) объявил нам о приближении дня рождения Сталина Иосифа Виссарионовича. Он сказал, что все, кто чувствует себя перевоспитавшимися, должны к этой знаменательной дате сделать подарок вождю. Если есть у кого деньги на лицевом счету, можно сделать денежный подарок, а у кого их нет, тот может доказать свою любовь высокой производительностью труда. Как на зло, ни денег, ни высокой производительности у меня не было. А еще Вася-сопливый сказал, что если кто оставит вождя без подарка, тот тем самым подтвердит свою озлобленность и наличие камня за пазухой против первого в мире социалистического государства. Во время своего выступления Вася то и дело поглядывал на меня, поэтому я счел своим долгом сказать, что если это он меня считает неперевоспитавшимся и неразоружившимся, то он глубоко заблуждается, что вот как раз к этой дате я взвесил все свои внутренние и внешние

резервы, а поэтому обязуюсь дать 170%. А слова я на ветер не бросаю. Вася-сопливый похвалил меня, каждый из нас написал торжественное обязательство, и, окрыленные, мы двинулись на работу.

Прошло немало лет, а мне до сих пор стыдно перед сопливым Васей. Дело в том, что вечером при подведении итогов выяснилось, что я опять дал свои 23%. Вася-сопливый очень обиделся и меня прямо с работы в наручниках отправили в изолятор. Семь суток отсидел я там. Изголодался так, что уж и кушать не хотел.

Был у нас вор. Он у начальника лагеря прямо на столе нагадил. Его за это прозвали Засерей. К нам, к политическим, он испытывал нежную привязанность. Короче, когда меня выпустили из изолятора, Засеря первый ждал меня у ворот с куском хлеба. С трудом проглотил я хлеб и сказал Засере, что очень хочу какой-нибудь зелени. А у нас прямо у вахты, в запретной зоне, охранники посадили несколько грядок луку и огурцов. Засеря повел меня туда. Перелезли мы через проволоку и стали рвать зелень прямо на глазах у ошалевшего вертухая. Потом вертухай очнулся, закричал, снял трубку и хотел звонить на центральную вахту. Беды б нам не избежать, но тут Засерю осенила блестящая мысль. Он прошипел вертухаю: звони, гад, звони, мы тоже молчать не будем, мы слышали, как ты ругал колхозы, и еще расскажем, как ты у нас за водку сапоги купил и ни водки, ни сапог не отдаешь. Звони же, гад, посмей только, пес. Но пес не стал звонить, пес повесил трубку, и мы, грызя огурцы, удалились с достоинством.

Был у нас профессор по холодной обработке металла. Кажется, Вагнер фамилия. Говорят, раньше по его учебникам студенты учились. Старый он был да и здоровьем слаб, вот и поставили его следить за поряд-

ком в уборной. Работа не трудная, тем более, что уборных-то и не было. Просто по обе стороны вдоль проволочного ограждения (что отделяло мужскую зону от женской) были вырыты канавы. Все как есть было на виду, но нашей канавой ведал Вагнер, а женской старая цыганка (простите, фамилию ее я забыл начисто).

Как-то к нам нагрянуло начальство. Осмотрели они запретную зону, карцер, вахту, ворота, лозунги прочитали и остались довольны. Начальника нашего похвалили. А ему так лестно стало, что не выдержал и похвалился, что-де у него при уборной профессор работает, а чтоб высокое начальство не усумнилось, послал за профессором дневального. Пришел старик, а начальник и спрашивает у него: ты, батя, правда, профессор? Батя ударил себя в грудь кулаком и сказал: Гражданин начальник, блядь буду, что я профессор. Начальство просто со смеху подыхало. Молодец батя!

Я не очень задумывался над смыслом жизни вообще и моей жизни в частности. Стыдно признаться, но талантливым завидовал, сам хотел быть ярким, пыжился, да вот не получалось. Если бы не изолятор, так и прожил бы, не узнав своего предназначения. Поблизости долгие месяцы одиночной камеры, чтобы убедиться, что и я не обойден Божьей милостью, что и в меня Господь заронил Свою искру.

Когда сидишь в следственном изоляторе, то очень важно держать связь с соседями. К сожалению, не все умеют перестукиваться. Вот поэтому нужно знать слабые места в стене. Желательно также, чтоб места эти были под нарами или прямо в углу за парашей (то есть по возможности были недоступны взору «волчка»). За два года изолятора я исковырял стены многих камер. Вот тут-то и воссияли способности, раньше

дремавшие во мне. Достаточно было мне взглянуть на стену, чтобы определить нужную точку. В этом деле во всем изоляторе (и может быть, не только в нашем!) не было мне равных.

Если кого-либо заинтересуют тонкости этого ремесла, то придется мне описать его подробно (возможно, в отдельной брошюре). Предупреждаю, что тут все не просто, процесс этот сродни процессу творческому, и речь здесь пойдет не только о проволоке, которой перевязывалась метла, но и о таких понятиях, как о вдохновении, прозрении, интуиции, голосе свыше, о дужке от парашаи.

Вы еще отверстие не проковыряли, а уже должны знать, чем его замазывать и закрывать будете. Сделать же это надо так, чтобы к проверке место это совершенно не выделялось. Проверялась же камера два раза в день. На первых порах не все было гладко, и на пути к совершенству мне не раз приходилось делать остановки в карцере. Все же, оглядываясь назад, хочу сказать, что все трудности и страхи ничего не стоили по сравнению с блаженством, которое испытывал я, стоя или лежа у готового отверстия. Легонько барабанишь в стену, прикладываешь ухо и слышишь голоса иных миров...

Рисковали каждую минуту и поэтому говорили самое нужное, самое-самое... Изолятор всегда переполнен, а тут еще привезли большую группу, обвиняли их в принадлежности к ордену «Креста белых лилий». Я в это время как раз сидел рядом с камерой смертников, в ней из этой группы сидел Щукин, потом Мелких, Златай. Златай просил рассказать о нем жене, родным, но я адреса не запомнил и просьбу не выполнил. Из Венгрии он. Глеба Слученкова я знал раньше. Чем-то женщины ему не угодили, и уж если он и говорил о них, то только гадости. Как посадили его в камеру смертников, так удивил он меня. Просил найти в Рязанской области в селе Шатском Александру Илла-

рионовну Шалаеву и сказать ей, что любил он ее всю жизнь и думал только о ней. Смертную казнь ему заменили, а расстреляли уже потом, в Дзезказгане, во время восстания. Я был в селе Шатском, она там учительницей работает, говорят, семья хорошая, муж, двое детей. Я не решился передать ей весть с того света. Пусть живет хорошо. Но до сих пор не уверен, что поступил правильно.

Потом в другую камеру меня перевели, женщина сидела рядом. Плакала очень, ребенок дома у нее. Мне жалко было, успокаивал, как мог, рассказывал, как нужно себя на следствии вести. Был в курсе ее дел. А потом стал волноваться, когда ее долго держали у следователя, злиться, когда дежурный хамил ей, ревновать, когда вертухай уводил ее в баню. Как-то вывели ее мыть полы в коридоре, она улучила момент и открыла «волчок» моей камеры. Так вот и увидела меня. А я ее не видел никогда. Потом она сказала, что благодарна мне, что спас я ее, что я хороший и что полюбила меня. Я сказал, что и я люблю ее. Мы многое сказали в те дни, и было нам мучительно хорошо. Потом увели ее куда-то. И было тяжело. Наташей ее звали.

О многих хотелось бы рассказать, но это как-нибудь потом, и о Леве Алексееве обязательно расскажу. Человек он дикий, дремучий, умный. Человек он чрезвычайно интересный. Он слово знал свое, оно ему помогало. Рассказать? В изоляторе всё передумаешь, всю прошлую жизнь переберешь, за будущую возьмешься. Всё как надо разложишь, смысл найдешь и поймешь, что даже самая захудалая мыслишка, когда-либо посетившая тебя, была нужна и к делу пригодилась. Мне вот с детства, как помню себя, картина одна покоя не дает. Я не знаю, где это было. И не знаю, было ли это вообще. Думаю, что не было в моей жизни места для этой картины, но ведь прошли десятилетия, а она стоит перед глазами, и каждая деталь

осталась на своем месте. Недалеко от леса стоит двухэтажный дом. В левой его половине на верхнем этаже большая низкая комната. Оконные квадраты лунного света четко врезаны в пол. Паутина. Запустение. В дальнем правом углу комнаты лестница ведет на чердак. Люк чердака открыт, а на чердаке тоже лунный свет. Он освещает лестницу, а по лестнице спускается худой сутулый старик. Волосы белые, а от луны они еще белей. Он громко смеется, и смех его странен.

Я рассказал это Баркансу Никодиму, и он мне потом сказал: «Ты никому не рассказывай про эту картину. У человека должна быть картина, человек должен иметь свою картину. Никому не говори о ней».

Отверстие было под нарами. Я лежал там и думал о словах Никодима. Было тихо. Я не знаю, сколько это длилось. Потом открылась кормушка, и я услышал: «А ну, вылезь! Сейчас в карцер пойдешь!» Под нарами было хорошо, но нужно было вылезать. А еще я подумал, что уж раз я попался и уж если приходится вылезать на глазах у дежурного «Уха», то хорошо бы это сделать хоть с каким-то подобием достоинства. Я вылез из-под нар на четвереньках, поднял голову и посмотрел в довольное лицо дежурного «Уха», потом поднял голову еще выше и громко, протяжно залаял.

КОНСОН Лев — родился в 1927 году в Москве, в семье рабочего. Уже в ранней юности определился учеником на завод «Красный металлист». В декабре 1943 года осужден за антисоветскую деятельность. В 1953 году освобожден из лагеря и отправлен в ссылку в Якутию. Спустя несколько лет вернулся в Москву, где работал на опытно-механическом заводе. В 1980 году эмигрировал в Израиль.

ИСТОКИ

Михаил Володарский

К 60-ЛЕТИЮ СОВЕТСКО-АФГАНСКОГО ДОГОВОРА

Столетие тому назад эмир Афганистана Абдулрахман-хан сравнил свою страну с плывущим посреди не озера лебедем, которому угрожают два пса: с юга — рыжий, а с севера — белый.

Говоря об угрозе с юга, эмир опирался на печальный опыт англо-афганских отношений последних 50 лет, в течение которых Англия дважды вторгалась в Афганистан, стремясь превратить его в колонию. Что же касается угрозы с севера, то здесь эмир «зрел сквозь целое столетие», ибо ни на предшествующем этапе, ни в последующие три с половиной десятилетия вплоть до Октябрьской революции Россия *реально* Афганистану не угрожала, а в 1907 г. официально признала его лежащим вне сферы ее интересов и влияния.

Угроза независимости Афганистана с севера возникла только после того, как власть в России захватили большевики с их навязчивой идеей мировой социальной революции. В отличие от лидеров II Интернационала, Ленин придавал большое значение распространению сферы воздействия идеи мировой революции на колонии и зависимые страны, видя в них важный резерв последней. А по мере того, как мечты о пролетарской революции в развитых капиталистических странах становились все более несбыточными, нажим большевиков на «третий мир» становился все более ощутимым.

Одной из точек приложения усилий Москвы уже в тот ранний период советской истории был и Афганистан, значение которого определялось еще и тем, что он мог быть использован как канал для проталкивания подрывных революционных идей в «цитадель британского империализма» — Индию.

Устанавливая контакты с Кабулом в первые послеоктябрьские годы, советское руководство использовало реальные просчеты Лондона, не сумевшего сразу осознать существо политической доктрины большевизма и еще меньше понимавшего происшедшие на Востоке сдвиги, заслугу за которые советская пропаганда на протяжении 60 с лишним лет неизменно и неправомерно приписывает только влиянию и воздействию Октябрьской революции.

Первые внешнеполитические шаги большевиков в отношении Афганистана облегчались также тем благоприятным для России политическим климатом, который сложился во всей Азии под влиянием Февральской революции. Свержение царизма заметно ослабило недоверие азиатской общественности к России. Этому способствовали не только общие заявления министров Временного правительства, но и конкретная позиция, в частности, его посланника в Тегеране Минорского, который считал неизбежным «либеральный поворот» не только в русской, но и в английской политике на Среднем Востоке как следствие «русских событий», заставляющих Россию «естественно принять на себя более активную и передовую роль» в делах стран региона¹. Это заявление, а также высказанное Минорским же мнение о необходимости вывода российских войск из Ирана² были положительно встречены иранской общественностью и получили отклик в соседнем Афганистане. Когда же до Кабула дошли вести о новой смене власти в Петрограде, о первых декретах и воззваниях большевиков и о том,

что в Брестском мирном договоре содержится статья, обязующая обе стороны «уважать политическую и экономическую независимость и территориальную неприкосновенность» Ирана и Афганистана³, то все это было воспринято там не более как свидетельство углубления и продолжения принятого Временным правительством внешнеполитического курса.

Действия же Англии на Среднем Востоке выглядели на этом фоне не столь впечатляюще. Оккупация всей территории Ирана после вывода оттуда русских войск, вступление английских войск в Среднюю Азию — все это было расценено в Кабуле как шаги, направленные к полному окружению Афганистана английскими владениями с целью окончательной ликвидации афганской независимости. Понятно, что в этой ситуации афганские националистические элементы (т. н. младоафганцы) обратили свои надежды на новую Россию, не понимая смысла тех перемен, которые принесла с собой большевистская революция. Таким образом, Москва довольно скоро и без труда приобрела в Афганистане весьма важные преимущества.

Волны той яростной пропагандистской кампании, которую большевики развернули против своего заклятого врага — британского империализма, вскоре достигли и Кабула и нашли там весьма благоприятный отклик. Здесь на протяжении ряда лет зрело недовольство внешнеполитическим курсом эмира Хабибуллы (1901—1919). Выразителем этого недовольства была партия младоафганцев, к которой примыкал и наследный принц Аманулла. 21 февраля 1919 г. эмир Хабибулла был убит при не выясненных до сих пор обстоятельствах, а через неделю, 28 февраля 1919 г., новый эмир Аманулла объявил все предшествующие англо-афганские соглашения, навязанные Афганистану и ограничивающие его суверенитет, аннулированными. Аманулла заявил, что «Афганистан отныне является

свободным и независимым государством, которое не признает над собой никакой чужеземной власти»⁴.

Теперь для Лондона наступил час серьезных решений: либо продолжать в новых условиях непопулярный курс, либо совершить крутой поворот и бросить большевикам смелый вызов. К сожалению, среди английских политиков первого эшелона власти в тот момент не нашлось никого, кто был бы готов осуществить этот поворот. Призыв лорда Челмсфорда к английскому правительству оказывать повсюду в Азии поддержку «духу национализма», который объективно враждебен большевизму, а не демократии⁵, остался гласом вопиющего в пустыне.

3 марта 1919 г. Аманулла обратился к Челмсфорду с посланием, в котором предлагал установить между двумя странами принципиально новые отношения. Челмсфорд запросил мнение кабинета в Лондоне, от себя присовокупив, что крайне необходимо пойти на уступки Афганистану. Ответ английского правительства был отрицательным. Между тем в Кабуле уже стало известно о том, что Москва официально признала полный суверенитет и независимость Афганского государства (27 марта 1919). В результате между двумя государствами завязалась оживленная дипломатическая переписка на самом высоком уровне.

7 апреля 1919 г. Аманулла обратился к Ленину с письмом, в котором указал, что Афганистан на протяжении всей своей новой истории «был лишен возможности поддерживать связи и сношения с другими государствами и народами» и что Ленин и его товарищи, которых Аманулла назвал «друзьями человечества», провозгласив «принцип свободы и равноправия стран и народов всего мира», создали новую реальность, вселяющую в афганский народ уверенность в успешном окончании его борьбы за независимость родины⁶. Письмо было вручено Ленину 21 мая 1919 г.

21 апреля Аманулла направил Ленину новое послание, в котором сообщил, что в Европу отправляется миссия генерала Мухаммеда Вали-хана; миссия совершит первую остановку в Москве, где глава миссии должен «вести личные переговоры и подготовить почву для установления необходимой дружбы между обоими государствами и обеспечения обоюдных интересов»⁷. Когда письма эмира попали в руки адресата, в Афганистане уже шла третья англо-афганская война, начатая английской стороной 3 мая, а официально объявленная 6 мая 1919 г.

Английское правительство не нашло более достойного и более соответствующего духу времени ответа на законное требование Афганистана признать его независимость. Война длилась месяц и закончилась, как и предыдущие две англо-афганские войны (1838—1842, 1878—1880), полной неудачей Англии. По предварительному договору, подписанному в Равалпинди 8 августа 1919 г., Англия, наконец, признала Афганистан полностью независимым государством. Но Афганистан, добившись осуществления многолетней мечты его народа о независимости, оказался перед лицом опасности, куда более грозной и смертельной, чем та, которая ему угрожала в течение предшествовавшего столетия. Ведь Англия, в конце концов, претендовала только на его внешнеполитический суверенитет, не посягая при этом ни на его внутреннюю самобытность, ни на его религиозные и национальные ценности. Большевики же, по логике вещей, не могли не вторгаться в святая святых внутренней национальной жизни страны, уж не говоря о ее внешней политике. Это с предельной четкостью вытекает из инструкции Наркоминдела РСФСР вновь назначенному представителю Советской России в Афганистане Ф. Ф. Раскольникову, датированной 3 июня 1921 г.: «Мы говорим афганскому правительству: у нас один строй, у вас другой; у нас одни идеалы, у вас другие.

Мы ни на минуту не думаем навязывать Вашему народу такой программы, которая ему чужда в *нынешней* стадии развития»⁸ (выделено мною. — М. В.). Спустя полстолетия кремлевские правители пришли к выводу, что их программа уже не «чужда» афганскому народу в «нынешней стадии развития» и приступили к ее внедрению в Афганистане с помощью огня и меча. Тогда же Афганистану давалась отсрочка, ибо в первую очередь эта программа должна была быть навязана ненамного ушедшим по своему развитию вперед народам Средней Азии, которые вплоть до начала 30-х годов яростно и упорно сопротивлялись политике советизации.

В планах Кремля Афганистан в те годы играл другую не менее важную роль, и ему отводилось не менее важное место в стратегии Коминтерна. Во-первых, он должен был стать «Суэцким каналом революции»⁹, ведущим к Индии, во-вторых, он должен был стать частью оборонительного барьера, который Москва создавала у своих южных границ для сдерживания Англии, в-третьих, Афганистан должен был взять на себя обязательство не оказывать помощи антисоветскому сопротивлению в Средней Азии¹⁰.

Между тем, 27 мая 1919 г. Ленин отвечал Аманулле: «Стремление афганского народа последовать русскому примеру будет лучшей гарантией крепости и независимости Афганского государства» и предлагал эмиру установить постоянные дипломатические отношения, благодаря которым «откроется возможность взаимной помощи против посягательства со стороны иностранных хищников на чужую свободу и чужое достоинство»¹¹.

Ответ Кабула, разумеется, был положительным. Афганистан не был прежде избалован подобным вниманием великой державы. К тому же, Аманулла не мог не оценить должным образом и того факта, что в его военных успехах определенная заслуга принадле-

жит и Советам, которые, развернув весной 1919 г. успешное наступление в Туркестане, заставили английское командование отказаться от открытия на севере (со стороны Кушки) еще одного фронта против афганской армии. К моменту окончания третьей англо-афганской войны (3 июня 1919 г.) красные войска установили полный контроль над Средней Азией и вышли к границе с Афганистаном, что значительно облегчило контакты между двумя странами. 4 июня 1919 г. в Ташкент прибыла первая афганская официальная миссия, направлявшаяся в Москву и дальше в Европу. 23 июня 1919 г. Совнарком РСФСР назначил Я. З. Сурица «чрезвычайным и полномочным представителем РСФСР в Центральной Азии», определив ему место пребывания в Кабуле¹². На Я. З. Сурица таким образом было возложено руководство отношениями РСФСР не только с Афганистаном. В советской специальной литературе функции Сурица и столь странный титул, присвоенный ему, никак не разъясняются. Между тем, в принятой в СССР терминологии термин «Центральная Азия» относится не столько к Афганистану, который включается в регион «Средний Восток», и иногда в регион «Южная Азия», сколько к территориям, лежащим от него северо-восточнее и восточнее. Речь идет о княжествах Северной Индии и провинциях Западного Китая (Кашгария, Джунгария и т. д.). Следовательно, круг обязанностей Сурица в географическом отношении был достаточно широк. Нетрудно догадаться, что речь шла о координировании подрывной деятельности на территориях, входивших в состав Британской Индии и Китайской республики.

Афганское посольство прибыло в Москву в начале октября 1919 г. Первая встреча посла М. Вали-хана с Лениным состоялась 14 октября, вторая и последняя — через полтора месяца. Во время бесед с послом Ленин особенно делал упор на том, что Афганистан является единственным независимым мусульманским

государством в Азии и в силу этого на его долю выпала «великая историческая задача объединить вокруг себя поработанные мусульманские народы и вести их на путь свободы и независимости»¹³.

Ленин явно играл на чувствах панисламизма, которым Аманулла, в отличие от своего деда и отца, был явно подвержен. Цель подобных спекуляций состояла в том, чтобы вовлечь Афганистан в антианглийские акции Москвы в мусульманском мире. Результатом переговоров явилось учреждение в Москве постоянной афганской дипломатической миссии. 14 декабря 1919 г. в Кабул прибыл первый советский посол Я. З. Суриц, немедленно развернувший оживленную деятельность, о характере которой можно судить по статье М. Горького «В. И. Ленин», опубликованной в журнале «Коммунистический Интернационал»: «Из глухих деревень Индии, — писал М. Горький, — проходя сотни верст по горным тропинкам и лесам, тайком, рискуя жизнью, пробираются в Кабул, в русскую миссию индусы, замученные вековым гнетом английских чиновников»¹⁴... Не стоит большого труда представить себе, какие там велись с ними беседы, какие кое-кому давались инструкции...

Но и это ничему не учило английских политиков! Английские представители в Кабуле в эти месяцы не сделали ни одной попытки вступить в серьезный диалог с Амануллой и его главным советником — главой партии младоафганцев Мухаммедом Тарзи, занимавшим пост министра иностранных дел Афганистана. Напротив, англичане шли охотно на контакты с консервативными деятелями типа дяди эмира принца Насруллы, влияние которых в Кабуле было ничтожно. Они демонстративно игнорировали эмира, сознательно ранили его самолюбие, называя его политическим младенцем и т. п. Осенью 1919 г. английские власти в Индии приняли решение закрыть горные проходы из Индии в Афганистан, что было равносильно объявле-

нию экономической блокады и еще больше толкнуло Аманулла в объятия большевиков.

В то же время вне поля зрения английской дипломатии остались объективные расхождения между Аманулла и Москвой по самым принципиальным вопросам: его откровенное сочувствие борьбе народов Средней Азии против насильно навязываемого им советского режима, панисламистские настроения эмира и его мечты о Среднеазиатской федерации под его эгидой и т. д. Вместо вдумчивого и реалистического анализа ситуации и соответствующих шагов Англия продолжала твердолобую линию игнорирования интересов и чаяний Афганистана. Стоит ли удивляться, что возобновившиеся 17 апреля 1920 г. англо-афганские переговоры о заключении постоянного договора вскоре зашли в тупик? Афганская сторона убедилась, что англичане вовсе не принимают всерьез свое признание независимости Афганистана по прелиминарному договору 8 августа 1919 г.

В этой обстановке Аманулле ничего не оставалось иного, как обратиться в Москву с просьбой о всесторонней помощи и предложением заключить торговый и военный договоры (8 мая 1920).

Переговоры по этому поводу, которые вели М. Тарзи и Я. З. Суриц, продвигались довольно быстро, и 13 сентября 1920 г. стороны парафировали первоначальный текст договора. Советско-афганские переговоры вызвали в Лондоне тревогу, и в Кабул была отправлена миссия во главе с «чрезвычайным уполномоченным Великобритании» сэром Генри Добсом, который уже в первой беседе с Тарзи 7 января 1921 г. сильно разочаровал его: английский дипломат не нашел ничего лучшего, чем предложить Тарзи отказаться от подписания советско-афганского договора и удалить из Кабула советскую миссию, за что он обещал Афганистану военную и финансовую помощь и возобновление ежегодных субсидий лично эмиру. По-

мимо этого была обещана беспошлинная транзитная торговля через Индию, но взамен Кабул должен был согласиться вести переговоры с другими государствами только через посредство британского правительства.

Ответ Кабула был более чем демонстративным: 28 февраля 1921 г. в Москве был подписан советско-афганский договор. Однако в правительственных кругах Афганистана еще некоторое время шла острая борьба вокруг проблем, тесно связанных с этим договором. М. Тарзи, бывший сторонником советско-афганского сближения, к концу 1920 г. стал тревожиться по причине слишком явного крена афганской политики в сторону большевиков и настаивать на проведении более сбалансированной политики. Тревоги Тарзи были тесным образом связаны с отношением Кабула к событиям в Средней Азии, где процесс советизации шел полным ходом. В конце концов, афганское руководство встало в резкую оппозицию ко всему, что творили московские эмиссары во всей Средней Азии и особенно в Бухаре, где в сентябре 1920 г. произошла подготовленная и проведенная по указанию из Ташкента «народная революция». Аманулла и Тарзи усмотрели в этом не только акт вероломства большевиков по отношению к народам национальных окраин бывшей Российской империи, но и прямую угрозу своей собственной независимости. Несмотря на продолжавшуюся не по вине Афганистана конфронтацию с Лондоном, афганское руководство приняло ряд мер предосторожности. В армию свергнутого эмира с молчаливого согласия Кабула вступило немало афганских граждан, в том числе солдат и офицеров, которые героически сражались против красных войск. Посол Афганистана в Бухаре Абдул Хади-хан открыто осудил действия большевиков против Бухары, за что был арестован просоветским правительством, пришедшим там к власти в результате «революции».

Кабул признал марионеточную Бухарскую народную советскую республику только в январе 1921 г. под беспримерным давлением Москвы и при полном безучастии Лондона. Явные следы оппозиции Афганистана действиям Советов в Бухаре несет на себе и советско-афганский договор, статья 8 которого гласит: «Стороны соглашаются на действительную независимость и свободу Бухары и Хивы, какая форма правления там ни существовала бы согласно желанию их народов». Первая часть этой формулы явно отражает позицию Афганистана, кровно заинтересованного в «действительной независимости и свободе Бухары и Хивы», вторая часть отражает интересы Москвы, обладавшей уже достаточным опытом фальсификации «желания народов». Видя вероломство большевиков, Аманулла и после подписания договора продолжал оказывать поддержку свергнутому эмиру Сеиду Алимхану. В начале марта 1921 г. он нашел убежище на территории Афганистана вместе с остатками своей армии и был принят, явно в пику Москве, как почетный гость, на что новые бухарские власти выразили Кабулу резкий протест. Вот эту реальную ситуацию Лондон начисто игнорировал и упустил, таким образом, верный шанс улучшить отношения с Кабулом.

Отражением недовольства Афганистана советизацией Средней Азии явился отказ афганского правительства ратифицировать афгано-советский договор в предусмотренный срок. К этому времени провозглашенные советами лозунги заметно потускнели в глазах свободолюбивых афганцев, и восторг уступил место трезвому анализу и осторожности. Афганцев стало всерьез тревожить непереносимое желание советской стороны открыть свои консульства не только в Герате, Мазари-Шерифе и Меймене, расположенных вблизи советско-афганской границы, но и в Кандагаре и Газни, расположенных вблизи афгано-индийской границы. Остряки на кабульском базаре задавали про-

хожим вопрос: а не стоит ли Афганистану потребовать права на открытие своих консульств где-нибудь в Чите или Владивостоке? Английская миссия в Кабуле тоже заявила по этому поводу резкий протест, и М. Тарзи не мог не признать, что тревоги англичан более чем обоснованы. Он уведомил Сурица о том, что открытие советских консульств в указанных двух городах наталкивается на сопротивление многих членов правительства, и Суриц по трезвому размышлению был вынужден отступить. 28 июня 1921 г. он уведомил Тарзи, что готов «сейчас же по ратификации нашего договора» сообщить своему правительству «о всех трудностях, связанных с открытием консульств в Кандагаре и Газни», и выражал при этом надежду, что советское правительство *пока* этих консульств не откроет¹⁵.

Это было не что иное, как откровенное надувательство (применим для характеристики действий «дипломата ленинской школы» любимое словечко Ленина же), и афганское правительство с отвращением и возмущением отвергло этот недостойный торг. В самом деле, вы нам «сейчас же» ратификацию «нашего договора», а мы вам надежду на то, что Москва «пока этих консульств не откроет». Переписка по указанному вопросу совпала с прибытием в Кабул нового советского посла Ф. Ф. Раскольников, того самого, который руководил первым советским вооруженным вторжением в Иран в мае 1920 г. В конце июля Раскольников дважды встречался с М. Тарзи и повторил предложение Сурица. Афганское правительство продолжало настаивать на отказе советского правительства от открытия консульств в Кандагаре и Газни как предварительном условии передачи договора на обсуждение афганского парламента — джирги. Тогда вдруг в Кабуле стали распространяться «провокационные слухи о намерении Советского правительства изменить свою политику по отношению к Афганистану»¹⁶.

Раскольников немедленно поспешил «разоблачить» эти слухи в выражениях, не оставляющих сомнения в том, кто является источником последних: он заявил, что, следуя директивам своего правительства, он будет чужд «каким бы то ни было действиям, направленным против стоящего у власти Правительства независимого Афганистана», и что разнообразие форм правления «не может служить препятствием тесному сближению государств, имеющих общие цели в мировой политике»¹⁷. Именно во всем этом у афганского правительства было теперь более чем достаточно оснований серьезно сомневаться.

Аманулла и Тарзи были к этому времени прекрасно осведомлены о том, что Москва держит за пазухой камень: на протяжении почти года на территории Туркестанской Советской республики и Бухарской Народной Советской республики полным ходом шло формирование враждебных Аманулле всевозможных организаций и групп, «программные установки которых были близки идеям марксизма-ленинизма»¹⁸. В конце 1920 г. несколько таких групп создали в Бухаре «Центральный комитет младоафганских революционеров», в программном документе которого провозглашались откровенно антимонархические цели. В нем говорилось: «Цель комитета заключается в том, чтобы свергнуть существующий капиталистический строй, согласно желанию народа установить Республиканское Правительство и, таким образом, освободить афганский народ от деспотизма эмира и беков»¹⁹.

Приводящий все эти сведения профессор МГПИ им. Ленина А. Н. Хейфец²⁰, очевидно, сознает, что деятельность таких крайне враждебных режиму Амануллы групп на территории советских республик была вопиющим нарушением одного из главных пунктов уже парафированного советско-афганского договора и ничем иным, как актом вероломства со стороны Кремля по отношению к дружественному государству, поэтому Хейфец попытался с помощью неуклюжей уловки создать впечатление, будто эти группы возникли еще при жизни эмира Хабибуллы, которого в советской литературе, как известно, ругают на все лады. После цитирования программных

документов указанных «близких к идеям марксизма-ленинизма» групп и изложения содержания сводки событий за 7-14 ноября 1920 г., направленной в Москву «полпредом» РСФСР в БНСР В. В. Куйбышевым, автор делает вдруг ловкий ход. «Между тем, — пишет он, — произошли важные события. В ночь на 21 февраля 1919 года близ Джелалабада при невыясненных обстоятельствах был убит эмир Хабибулла-хан»²¹.

Аманулла все это знал и вполне сознавал, что большевикам ничего не стоит придумать повод для вторжения в Афганистан где-нибудь в районе Герата или Мазари-Шерифа и привезти в своем обозе марионеточное правительство, которое провозгласит на афганской территории советскую власть и обратится к ним с просьбой о помощи. Заявления и опровержения Раскольников он воспринял как очень серьезное предостережение: ведь именно Раскольников в мае 1920 г. посадил марионетку Кучек-хана в кресло председателя «Совнаркома» Гилянской советской республики.

Стоит ли удивляться, что уже 7 августа 1921 г. было созвано достаточно представительное собрание, которое после четырехдневных дебатов постановило ратифицировать советско-афганский договор. 13 августа договор был ратифицирован, однако вручение Раскольниковым верительных грамот было отложено до получения из Москвы официального отказа от открытия консульств в Кандагаре и Газни. Соответствующие заверения были получены только в начале ноября, но возник спор: Раскольников настаивал на том, чтобы вручение верительных грамот состоялось до официального вручения афганскому правительству ответа Москвы, афганская сторона хотела получить ответ Москвы немедленно и до вручения верительных грамот — очевидно, Аманулла совсем перестал доверять своим советским «друзьям». Раскольникову удалось настоять на своем.

17 ноября состоялось вручение верительных грамот, а 21 ноября Раскольников направил Тарзи письмо, в котором сообщал, что Совнарком РСФСР «вслед-

ствие затруднений, испытываемых дружественным Правительством Афганистана, консульств в Кандагаре и Газни не откроет»²². Это открыло путь к подписанию, наконец, англо-афганского договора, текст которого был уже согласован. 22 ноября этот договор, признающий Афганистан окончательно и безоговорочно независимым государством и предусматривающий обмен посланниками между Англией и Афганистаном, был подписан. 23 ноября в Дели было опубликовано официальное правительственное сообщение, что договор с Афганистаном был подписан «после получения удовлетворительно составленных заверений от афганского правительства, что русские консульства не будут допущены в области Джелалабада, Газни и Кандагара»²³.

Прочитав это сообщение англо-индийских властей, Раскольников немедленно сделал запрос афганскому правительству по этому поводу, напомнив при этом, что согласие советской стороны не открывать означенные консульства вовсе не следует рассматривать как принципиальное согласие на изменение формулировки соответствующей статьи советско-афганского договора. Раскольников просил разъяснений и отметил, что если сообщение англо-индийского правительства соответствует действительности, то напрашивается вывод: правительство Афганистана в одностороннем порядке аннулировало статью договора²⁴. Ответа на свой первый запрос от 5 декабря 1921 г. Раскольников не получил, не последовало никакой реакции и после того, как он 22 декабря направил в Министерство иностранных дел Афганистана второй запрос. Вопрос остался открытым, но советские консульства в указанных городах так и не были открыты.

Итак, благодаря ряду благоприятствующих факторов советская дипломатия добилась определенных успехов в Афганистане, однако добиться осуществления своих главных целей ей на этом раннем этапе не

удалось. Афганистан так и не стал «Суэцким каналом» мировой революции; его территория на протяжении более чем десятилетия после подписания договора продолжала оставаться убежищем для сил народного сопротивления в Средней Азии. Но, бросая ретроспективный взгляд на советско-афганские отношения всех прошедших лет, мы не можем не сказать, что именно в эти годы Москва приобрела здесь те необходимые позиции, которые позволили ей исподволь готовить условия для установления просоветского режима.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Архив внешней политики России (АВПР), ф. Канцелярия, 1917 г., д. 52, л. 137.
2. Центральный государственный военно-исторический архив (ЦГВИА), ф. 336, оп. 2, д. 14, л. 15-16.
3. Документы внешней политики СССР (ДВП СССР). Т. I. М., Госполитиздат, 1957, д. 40, стр. 72.
4. Papers Regarding Hostilities with Afghanistan. 1919. London, 1919, p. 4-5.
5. Documents on British Foreign Policy. First Series. London, 1963, Vol. XIII, p. 706.
6. ДВП СССР, т. II, стр. 175.
7. Материалы по национально-колониальным проблемам (МНКП). 1934, № 7(22), стр. 72-73.
8. Архив Министерства иностранных дел СССР (АМИД СССР), ф. 04, оп. 6, папка 43, д. 594, лл. 3-4.
9. К. Трояновский. Восток и революция. Петроград, 1918, стр. 9.
10. Этим самым он должен был фактически помогать Советам в приближении того мига, когда они смогли бы начать советизацию самого Афганистана, ибо один из раннесоветских стратегов «мировой революции» С. М. Диманштейн так определял динамику и очередность этого процесса: советизация мусульман Средней Азии и с их помощью советизация их братьев в Афганистане, Иране и Индии. (С. М. Диманштейн. Наши противоречия и Восток. — «Жизнь национальностей», 1919, № 36, стр. 1).
11. ДВП СССР, т. II, стр. 174.
12. Л. Б. Теплинский. Советско-афганские отношения. 1919—1960 гг. Краткий очерк. М., Соцэкгиз, 1961, стр. 20.
13. МНКП, 1934, № 7(22), стр. 72.

14. «Коммунистический Интернационал», 1920, № 12, стр. 1933.
15. АМИД СССР, ф. 70, оп. 4, д. 8, пап. I, лл. 3, 6.
16. А. Н. Хейфец. Советская дипломатия и народы Востока. 1921—1927 гг. М., 1968, стр. 76.
17. ДВП СССР, т. IV, док. 166.
18. А. Н. Хейфец. Узы добрососедства и братства нерасторжимы (К 60-летию советско-афганского договора). — «Азия и Африка сегодня», 1981, № 2, стр. 18.
19. Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, ф. 61, оп. 1, ед. хран. 28, л. 24 (Цит. по А. Н. Хейфец. Цит. соч., стр. 18).
20. Любопытно отметить, что приведенные нами ранее документы и факты о деятельности антимонархических организаций на советской территории прежде в Советском Союзе не публиковались. Это служит достаточно убедительным доказательством, что советское руководство и его «компетентные органы» прекрасно отдавали себе отчет в том, насколько неприглядной выглядит «ленинская политика добрососедства» в отношении Афганистана. Теперь, когда Афганистан поставлен под советский контроль, публикация подобных фактов, с точки зрения Кремля, уже не может принести вреда.
21. А. Н. Хейфец. Цит. соч., стр. 19.
22. АМИД СССР, ф. 70, оп. 4, д. 8, папка 1, л. 4.
23. Цит. по А. Н. Хейфец. Советская дипломатия и народы Востока, стр. 79.
24. Там же.

ОБРАЩЕНИЕ

Дорогие друзья!

Русский Свободный Университет имени А. Сахарова, зарегистрированный в Германии как общественно-полезная организация, существует уже три года.

Около 250 часов лекций, около 150 часов групповых занятий, больше 100 бесед в вечерние часы — и более 200 слушателей — вот итог этих трех лет. В числе слушателей — люди самых разных возрастов, профессий, интересов и судеб, самых различных национальностей: французы, немцы, американцы, японцы, голландцы, итальянцы, шведы, бельгийцы, англичане.

Университет старается дать своим слушателям максимальное количество знаний о России и Советском Союзе, и поэтому в качестве преподавателей, лекторов, гостей мы пытаемся привлечь лучшие силы, существующие ныне в эмиграции.

К сожалению, это не всегда возможно, ибо Университет не имеет не только постоянного бюджета, но и какой бы то ни было разовой финансовой помощи, поэтому оплата преподавателям дороги и работы в самом Университете остается для нас пока сложнейшей проблемой.

В связи с этим мы обращаемся к вам, друзья, — ко всем, кому дорого дело популяризации, распространения объективных знаний о России и СССР, с просьбой о помощи.

Русский Свободный Университет, носящий имя А. Сахарова, — это наше общее дело. Дело всех, кто не может и не хочет забыть, кто не мыслит себя вне русских проблем, вне русского слова, вне будущего России.

Заранее благодарим всех, кто откликнется на наше обращение!

Правление РСУ им. А. Сахарова

Dresdner Bank AG. Köln, Kto-Nr. 3 644 625 01 (BLZ 370 800 40)
Postscheckkonto Köln Nr. 2994 61-502 (BLZ 370 100 50)

Религия и философия

Николай Бердяев и Лев Шестов

ПЕРЕПИСКА И ВОСПОМИНАНИЯ

Публикация Наталии Барановой-Шестовой

1. Знакомство и ранние встречи

В своей книге «Самопознание» Бердяев не раз вспоминает о Шестове. Он пишет о том, как они познакомились:

В это время, перед ссылкой¹ я познакомился с человеком, который остался моим другом на всю жизнь, которого я считаю одним из самых замечательных и лучших людей, каких мне приходилось встречать в жизни. Я говорю о Льве Шестове, который также был киевлянин. В то время появились его первые книги и меня особенно заинтересовала его книга о Нитше и Достоевском. Мы всегда спорили, у нас были разные мирозерцания, но в шестовской проблематике было что-то близкое мне. Это было не только интересное умственное общение, но и общение экзистенциальное, искание смысла жизни. Общение было интенсивно и в Париже до самой его смерти. («Самопознание», стр. 133).

Последователь и друг Шестова, Бенжамен Фондан, часто навещал Шестова и беседовал с ним. Часть бесед он записал и собрал в книгу «Rencontres avec Léon Chestov»². Шестов и Фондан не раз говорили о Бердяеве. В одной из записей Фондан передает рассказ Шестова о том, как он с Бердяевым и другими литераторами встречал Новый год (вероятно, 1903-й). Шестов рассказывает:

Отрывки из книги, подготовляемой Н. Барановой-Шестовой: «Жизнь Шестова по письмам и воспоминаниям современников».

В эти годы, выпивши немного, я становился задирой. Мои друзья знали эту слабость и всегда находили способ меня подпоить. В этот вечер Бердяев сидел рядом со мной. Я дразнил его невероятно, вызывая взрывы общего хохота. Но когда мой хмель прошел, я сообразил, что Бердяев вероятно обижен. Я извинился перед ним и предложил выпить на брудершафт. Кроме того, я просил его, для доказательства, что он простил, зайти ко мне на следующий день. Он пришел. Так началась наша дружба. Никогда мы не были согласны. Мы всегда сражались, кричали, он всегда упрекал меня в шестовизации авторов, о которых я говорю. Он утверждал, что ни Достоевский, ни Толстой, ни Киркегард никогда не говорили того, что я заставляю их говорить. И каждый раз я ему отвечал, что он оказывает мне слишком большую честь и, если это действительно я изобрел то, что утверждаю, то я должен был бы раздуться от тщеславия...

Привожу еще запись Фондана, в которой он передает размышления Шестова о Бердяеве:

Жаль, что он так сдавлен немецкой философией. Только потому, что я не изучал философии в Университете, я сохранил свободу духа. Мне всегда ставят в упрек, что я цитирую тексты, которые никто не цитирует, и нахожу заброшенные тексты. Возможно, если бы я проходил курс философии, я цитировал бы только разрешенные тексты. Вот почему все цитаты я привожу в оригинале — латинском или греческом. Чтобы не сказали, что я их «шестовизирую» (Фондан, стр. 37, 38).

В январе 1905 г. вышла книга Шестова «Апофеоз беспочвенности». Вскоре после выхода книги появилась статья Бердяева о Шестове «Трагедия и обыденность» в журнале «Вопросы жизни» (1905, май) и отчет о книге в журнале «Мир Божий» (1905, июль). Статья «Трагедия и обыденность» — наиболее интересная из всех, написанных до этого времени о Шестове. Впоследствии она была включена в книгу Бердяева «*Sub specie aeternitatis*» (Пб., 1907, стр. 247-275). Привожу отдельные отрывки из этой статьи:

Все это введение, а теперь перехожу к Л. Шестову, о котором давно уже нужно писать. Я считаю глубокой несправедливостью игнорирование работ Шестова, и объясняю это только тем, что темы Шестова и способ их разработки для большой дороги истории

не нужны, это подземные ручейки, заметные и нужные лишь для немногих. Устроившийся в своем мирозерцании «позитивист» или «идеалист», скрепивший себя с универсальной жизнью, только пожимает плечами и недоумевает, зачем это Шестов поднимает ненужную тревогу. Вот эта глубокая ненужность писаний Шестова, невозможность сделать из них какое-нибудь общее употребление и делает их в моих глазах особенно ценными и значительными. Шестов очень талантливый писатель, очень оригинальный, и мы, непристроившиеся, вечно ищущие, полные тревоги, понимающие, что такое трагедия, должны посчитаться с вопросами, которые так остро поднял этот искренний и своеобразный человек. Шестова я считаю крупной величиной в нашей литературе, очень замечательным симптомом двойственности современной культуры. (...) Только что вышла книга Шестова «Апофеоз беспочвенности», но я думаю писать вообще о Шестове и даже главным образом о его предшествующей книге «Достоевский и Нитше», которую я считаю лучшей его работой. (...)

В заключение скажу: нужно читать Шестова и считаться с ним. Шестов — предостережение для всей нашей культуры и не так легко справиться с ним самыми возвышенными, но обыденными «идеями». Нужно принять трагический опыт, о котором он нам рассказывает, пережить его. Пройти мимо пропасти уже нельзя и до этого опасного перехода все лишается ценности. При игнорировании и замалчивании того, о чем давно уже предупреждает так называемое декаденство, при «идеалистическом» бравировании — грозит взрыв из подполья. Скажем Шестову свое «да», примем его, но пойдем дальше в горы, чтобы творить. (стр. 250, 275).

2. Переписка 1922—1930

В 1922 г. советское правительство выслало за границу свыше 160 представителей интеллигенции — ученых, писателей, журналистов, общественных деятелей. Основная группа была выслана из Москвы и Петрограда в Берлин. В эту группу входили философы Н. А. Бердяев, Б. П. Вышеславцев, И. А. Ильин, С. Л. Франк, Л. П. Карсавин и др. В книге «Самопознание» Бердяев рассказывает о выезде из России и о жизни этой группы в Берлине:

Группа высланных выехала из России в сентябре 1922 г. Мы ехали через Петербург и из Петербурга морем в Штеттин и оттуда в Берлин. Выслаемых было около 25 человек, с семьями это составляло приблизительно 75 человек (...)

Присутствие в группе высланных людей науки — профессоров, дало возможность основать в Берлине Русский Научный Институт. Я активно участвовал в создании этого Института, был деканом отделения Института. Читал курс по истории русской мысли, при очень большой аудитории, и по этике. Немецкое правительство очень интересовалось этим начинанием и очень помогло его осуществлению. Вообще нужно сказать, что немцы очень носились с высланными, устраивали в нашу честь собрания, обеды, на которых присутствовали министры. Правительство тогда состояло из католического центра и социал-демократов... Гораздо большее значение, и при этом надолго, имело для меня образование в Берлине русской религиозно-философской академии. Это уже была моя личная инициатива. По приезде за границу у меня явилась мысль создать что-то вроде продолжения московской Вольной Академии Духовной Культуры и религиозно-философских обществ. Для религиозно-философской академии было достаточно сил среди русских за границей, главным образом среди высланных. Наименование «академия» было слишком громким и не соответствующим моему вкусу. Я никогда не считал религиозно-философской академии академией. Но другого наименования мы не придумали. Религиозно-философская академия могла образоваться благодаря активной помощи американского Союза Христианских Молодых Людей (Y.M.C.A.).

...Деятельность религиозно-философской академии открылась моим публичным докладом³ на тему о религиозном смысле русской революции, на котором были высказаны некоторые мысли, чуждые эмиграции... Кроме лекций, религиозно-философская академия устраивала каждый месяц публичные доклады с прениями... Интересно отметить, что тогда, в Берлине, еще не чувствовалось абсолютного разрыва между русским зарубежьем и Советской Россией. Я этим дорожил. Были возможны литературные собрания, на которых присутствовали писатели эмигрантские и писатели советские. Тогда еще существовала третья категория — высланных. В Париже уже почувствовался большой разрыв. («Самопознание», стр. 268-273)

Приехав в Берлин, Бердяев просил Шестова навести справки о возможности устроиться в Париже. Шестов написал ему об этом два письма:

Не писал тебе до сих пор, т. к. не о чем писать было. Все ждал случая, когда удастся увидеть кого-нибудь из здешних влиятельных французов. И только вчера [11. 11. 1922] удалось. Нас (преподающих в Сорбонне) пригласил проф. Воуег⁴ на обед и, после обеда, я завел с ним разговор о вас, высланных из Советской России. Рассказал ему о вашем положении — и, к величайшей радости, вызвал в нем большое к вам всем сочувствие. В разговоре меня очень поддерживал Карташев⁵, потом Кульман⁶, П(?) и др. Воуег считает, что есть все основания надеяться, что французское правительство ассигнует нужные суммы для того, чтобы сосланных философов (Лосского, Карсавина, Ильина, Франка и тебя) пригласить для чтения лекций при Сорбонне. Вопрос, значит, в том, что вы все должны возбудить (даже неофициально — а в частном письме ко мне или Карташеву) об этом ходатайство. По мнению Карташева (в этих делах больше, чем я, компетентного), хорошо было бы, если бы те из вас, которым идея Воуег придется по вкусу, прислали бы свои краткие *curriculum vitae* с обозначением работ. Подумай, расскажи остальным и, не откладывая (т. к. теперь разрабатывается в палате бюджет), напиши мне. Между прочим, я не уверен в том, что суммы, которые ассигнует фр. правительство, будут достаточны для того, чтобы вы с семьями жили в Париже. Но можно будет, я думаю, устроить, чтобы «главы» семьи приезжали на месяца три одни в Париж для чтения лекций. Тогда оставшихся сумм хватит на остальное время для него и семьи в Германии. Пишу тебе по старому адресу — надеюсь, письмо перешлют, если ты переехал. Других новостей пока нет. Разве то, что здесь с января будет выходить по-русски «трехмесячник литературы» [Окно] — журнал без всякой политики, в котором можно будет свободно сотрудничать. Издатель — Цейтлин, значит, вероятно, редактировать или во всяком случае близко стоять к редакции будут Мережковские. Что у вас? Как ты и другие устроились? Кто еще приехал из России? (Париж, 12. 11. 1922)

Наконец, получил твое письмо. Как раз, когда торопиться нужно было, вышло, что мое письмо вернулось обратно! И сейчас новая задержка: мне нельзя разговаривать с Воуег только о твоём деле. Нужно иметь сведения и об остальных: Лосском, Карсавине, Франке, Лапшине, Ильине — чтобы Воуег уже мог сразу выяснить вопрос о том, в какой мере можно оказать поддержку русским уче-

ным. А между тем ты об остальных ничего не пишешь. Почему? Нужно ли это истолковать в том смысле, что Ильин и Франк поедут в Прагу и отказываются от Парижа? И что петербуржцы — Лосский и др. — тоже отказываются? Когда я писал тебе первое письмо, я уже просил тебя сообщить все данные по поводу находящихся в Берлине русских философов. Без этого ничего нельзя начинать. Так что постарайся по возможности скорее переговорить с Лосским и другими. Пусть те, кто хочет в Париж, сделают, как ты сделал, т. е. сообщат нужные данные о себе. Я надеюсь, что удастся устроить так, чтобы вы все, живя в Германии, считались преподавателями при Сорбонне и приезжали сюда только на время. Тогда это будет для всех вас очень выгодно. Но, удастся ли это и, вообще, удастся ли вся затея Воуег, конечно, наверное сказать не могу. Но, т. к. Воуег очень (?) вам, то — попробовать нужно. Только необходимо сразу обо всех хлопотать — и очень торопиться. Очень рад за вас, что вам удалось уже приступить к работе. Несомненно для русской эмиграции вы своими лекциями и курсами будете очень кстати: все ждут, все ищут духовной поддержки. (Париж, 1. 12. 1922)

Можно предположить, что в начале 1923 г. Бердяев решил не продолжать хлопотать о переезде в Париж, так как ему удалось устроиться в Берлине, как видно из вышесказанного.

В конце 1923 г. жизнь в Берлине стала очень трудной, и русские эмигранты начали его покидать. В конце 1923 или в начале 1924 г. Бердяев попросил Шестова помочь ему и его друзьям переехать в Париж. По этому поводу Бердяев переписывался с Шестовым (год на письмах не указан, но нет сомнения, что они относятся к началу 1924 г.). В этих письмах Бердяев и Шестов тоже обмениваются мыслями о книге Шестова «*La nuit de Gethsémani*» («Гефсиманская ночь»). Привожу три письма Бердяева и два письма Шестова, сохранившиеся из их переписки того времени:

Давно уже хочу тебе написать. Но я все время был в разъездах. Совсем недавно вернулся из Рима, где провел две недели и читал по-французски для итальянцев доклад «Русская религиозная идея». Путешествие и пребывание в Риме были, конечно, отличные. Устроил это Институт Восточной Европы. До этого ездил в Прагу, где была христианская студенческая конференция⁷. До этого был у моря. Так

что спокойно и длительно в Берлине до этого сезона еще не жил. На этих днях начал уже лекции в Научном Институте и религ.-фило-софской академии. Нужно сказать, что в этом году в Берлине без-мерно хуже и труднее, чем в прошлом году. Будущее совсем не-определенно. Пока мы еще держимся. Я еще чувствую себя связан-ным с Академией и Институтотом. Я ведь их организовывал. Но не-возможно ручаться, что русские учреждения смогут длительно дер-жаться в Берлине. Могут наступить всякого рода катастрофические события. Денежный вопрос приобретает все более и более фанта-стический характер. Много молодежи уехало из Берлина и это дает себя чувствовать в нашей деятельности. В Берлине спокойнее, чем это может казаться со стороны, немцы очень спокойный и очень терпеливый народ. Но все-таки может наступить момент, когда от-сюда нужно будет уезжать. И необходимо подготовить возмож-ность отступления. Когда мы говорим о том, что, может быть, придется уезжать из Берлина, то чаще всего приходит в голову мысль о Париже. Но это очень трудно. Ведь нас четыре человека. Здесь мы пока элементарно обеспечены, хотя жизнь все время доро-жает в валюте. Как ты думаешь, есть ли какая-либо надежда, в слу-чае крушения наших начинаний здесь и неизбежности переезда устро-иться как-нибудь в Париже? Хотелось бы это выяснить, чтобы не быть застигнутым врасплох. Сам я смотрю на это довольно песси-мистически. А. В. Карташев, которого я видел в Праге, говорил мне, что есть предположение об образовании чего-то вроде русского философского Института в Париже, где можно было бы получить некоторую материальную базу. Что ты об этом слышал? Ты меня спрашивал, что я хотел бы перевести на французский язык, и пред-ложил свою помощь в этом направлении. Я думаю, что имело бы смысл перевести на французский язык книгу «Мирозозерцание До-стоевского» или «Смысл Истории». Из статей подошли бы «Рус-ская религиозная идея», которая есть уже на французском языке и которую у меня просит французский католический доминиканский журнал «(?.) Сепесiana», которая уже переведена на английский язык, и статью «Демократия, социализм и теократия». Книгу о Достоевском взялся переводить очень хороший переводчик на не-мецкий язык Греггер. Думаешь ли ты, что можно было бы найти из-дателя и переводчика или напечатать в каком-либо французском журнале? Я бы это хотел независимо от того, придется ли пере-ехать во Францию. На итальянский язык кое-что мое переведено и напечатано, совершенно без моей инициативы. Перевод твоей книги о Паскале⁸ сделан превосходно. Я не только с большим интересом

прочел твою книгу, но и написал о ней небольшую статью для «Софии»⁹. Книга очень интересная, очень хорошо написанная, но вызывает во мне живой протест. Ты упорно не желаешь знать, что безумие Паскаля, как и апостола Павла, было безумием во Христе. Благодаря ты превратил в тьму и ужас. Опыт ап. Павла, Бл. Августина, Паскаля, Лютера не имел ни малейшего смысла вне христианства, вне бесконечно серьезного принятия христианских реальностей. Шлецер, твой переводчик, единомышленник, написал в «Соврем. Записки» рецензию о моей книге о Достоевском¹⁰. Заметь, что то, что он говорит обо мне и против меня, он мог бы сказать против всякого верующего человека, всякого христианина. Он не принимает самого факта веры. Религия представляется ему статичной и бездвижной. Я думаю, что статично и бездвижно неверие и скептицизм. Я вижу «выход» (против чего ты больше всего восстаешь), потому что я верующий христианин и до конца всерьез беру свою веру. «Выход» и есть движение, безвыходность же есть кружение. Достоевский тоже был верующий православный и это нельзя опровергнуть никакими софизмами. В конце концов есть только одна вещь, которой стоит заниматься в жизни — искать «выхода», и движение есть лишь в том, кто его находит. И ты, и Шлецер, и все люди вашего духа восстаете против всякого, кто признает положительный смысл жизни. Но ведь признавать положительный смысл жизни и есть признак всякой религии. И напрасно вы думаете, что состояние верующего не трагично, а трагично лишь состояние неверующего. Как раз наоборот. Верующий большим рискует. Верующий рискует проиграть вечную жизнь, а неверующий рискует только проиграть несколько десятилетий, что не так уж трагично и страшно. Обо всем этом хотел бы поговорить, в письме трудно объяснить.

Вот еще что хотел бы выяснить. Если нужно будет ехать во Францию, то не следует ли заранее озаботиться о визах для нас. Думаю, что визы мог бы устроить для нас Е. Ю. Пети. Он это очень любезно устроил для Зайцевых. Буду тебе благодарен, если ты мне напишешь о возможных предположениях. (Бердяев, Берлин, вероятно, начало 1924 г.)

Ты не допускаешь, что Бог философов не есть Бог Библии. Ты скорее, как Фихте, повторяешь, что смысл христианства в первом стихе четвертого Евангелия. Этим разногласием объясняются все наши несогласия. Ты обоготворяешь идеи, а я не выношу обоготворения идеи. (Шестов, Париж, [март? 1924].)

Я все принимаю, что Ты пишешь о своих переживаниях. Я даже до Твоего письма не раз говорил разным людям, с которыми приходилось беседовать, что Твой «оптимизм» или Твое «благодущие», в котором принципиально Тебя упрекают, есть только Твой в н е ш н и й лик. В книгах Ты действительно соблазнительно догматичен, но опыт Твой много сложнее, чем книги. И о п ы т а Твоего я не отрицаю и отрицать не хочу. Я спорю с Тобой, когда Ты опыт, при посредстве готовых предпосылок разума, превращаешь в «Истину». Ты заявляешь, что о христианском опыте не могут судить стоящие вне христианства, и всякий другой опыт Ты относишь к области «психологии». Это очень характерно для Тебя. В этом я вижу тот «этический идеализм», от которого Ты на словах отрещиваешься. Так, как Ты говоришь, говорят и католики. Вот эта погоня *quand même* за привилегией правоты, это желание свой опыт признавать превыше всего, унаследован от древней этики и воспринят христианством всех исповеданий и воинствующей философией всех оттенков. И ведь главное — эта привилегия совершенно мнимая, как несущественна и та *Sancta Superbia*, которая породила стремление к обладанию этой привилегией. И еще существенно: ведь пелагианство, которого Ты, конечно, не приемлешь, оно-то жило и питалось исключительно этими выдуманными привилегиями. А древнее пелагианство в наше время называется этическим идеализмом и пропитало собой не только философию, но и религиозную догматику. Только опыт смерти или равнозначущий ей опыт трагического переживания, который открывает человеку глаза на суетность всяких земных привилегий, не исключая и моральных. Тебе это кажется «тьмой», но мне кажется наоборот ужасом та «правота», которой люди поклоняются, как поклонялись идолам. Ведь идола можно сделать не только из дерева, но и из идеи. «Единство» истины — один из таких идолов. Кажется, и говорят так все, что «единство» положит конец «вражде» и начнет эру «любви», на самом деле наоборот: ничто не приносит миру столько вражды, и самой ожесточенной, сколько идея единства.

Еще многое можно бы сказать, но письмо писать долго нельзя. Разве напомнить тебе слова Паскаля, взятые мной эпитафией к «Гефсиманской ночи»¹¹. Ты как будто и не заметил их. Отчего? (Шестов, Париж, [март? 1924].)

Приходится нам очень серьезно задуматься над вопросом о переезде из Берлина. Мы остались здесь, потому что Берлин был самым дешевым городом в Европе и в нем было сосредоточено наи-

большее количество русской молодежи. Теперь все изменилось, Берлин стал самым дорогим городом в Европе и русским центром стал Париж. Мы материально не можем больше здесь существовать. Доходы не только не увеличиваются, но уменьшаются. Положение Научного Института почти безнадежное, и я сомневаюсь, чтобы до осени он мог продолжать свое существование. Рел.-фил. Академия имеет жалкий бюджет и совсем нас не обеспечивает. Американцы склонны давать меньше денег, а не больше. Русские издательства совсем прекратили свою деятельность в Берлине. Чувствую, что Берлинский период нашей жизни кончается, и прежде всего приходит в голову мысль, что нужно переезжать в Париж. Может быть, удастся частично или полностью перевести рел.-фил. Академию в Париж. Но это нас не обеспечит. И в этом случае необходимо искать других заработков. Что ты думаешь о возможности получить что-нибудь от французского правительства, хотя бы для небольшой философской группы высланных, в связи со Славянским Институтом или Сорбонной? И как, по-твоему, мне следует действовать для выяснения этого вопроса? Не было ли бы полезно мне написать Софье Григорьевне или самому Евгению Юльевичу Пти [Пети]? Я не знаю парижских соотношений и не знаю, через кого наиболее тактично действовать? Да и есть очень большая неловкость в том, чтобы за самого себя хлопотать. Вот я и прошу твоего совета и помощи. Есть ли какие-нибудь перспективы литературных заработков в Париже? Буду тебе очень благодарен, если ты мне напишешь. Каков по твоим сведениям скромный месячный бюджет в Париже для семьи из четырех человек. Б. П. Вышеславцев пытался уже выяснить возможность устройства в Париже. Но я не знаю, нашел ли он правильно пути. Теперь уже наступает для нас крайняя необходимость все это выяснить. Не знаю еще, кто из нашей компании хотел бы переехать в Париж. Но я лично охотнее всего переехал бы в Париж и наши дамы тоже этого хотели бы.

Наша переписка с тобой в связи с твоей книжкой о Паскале¹² прервалась. Я вообще очень плохой корреспондент, да и мешает мне писать письма страшная перегруженность работой.

Меня очень волнует тема нашей переписки. Ты глубоко неправ, друг мой, когда говоришь, что я верю в Бога Фихте и Гегеля. В этом нет никакого сходства с моей внутренней жизнью и судьбой. Я даже склонен думать, что Фихте и Гегель в Бога не верили и молиться не могли. Фихте я вообще не люблю и считаю его философом непонятной гордыни. Гегеля я ценю, как очень сильного мыслителя, но в моей духовной жизни он никогда не играл никакой роли.

Я бы хотел дать Тебе когда-нибудь понять и почувствовать, что меня менее всего можно обвинять в благополучии и оптимизме. Если бы Ты на одно мгновение ощутил, как истерзана моя душа не сомнениями и скептицизмом, действительно чуждым моей природе, а моей религиозной жизнью, то Ты перестал бы судить обо мне по идеологическим схемам. Я всегда писал в очень догматической и резко утвердительной форме и никогда не обнаруживал прямо драмы моей души и противоречий моего духовного опыта, потому что я очень замкнут и, вероятно, слишком горд по своему характеру.

Если бы я умел до конца преодолеть свою скрытность, то я заставил бы Тебя почувствовать, как трудна, как трагична жизнь внутри христианства, для некоторых по крайней мере. Иногда от смертельной усталости я дохожу до зависти к Фихте и Гегелю, которых я религиозно презираю, иногда даже до зависти к позитивистам, как ни дико и ни чудовищно это сказать. Моя трагедия не есть трагедия *н е в е р и я*. Это трагедия *в е р ы*. Бывают минуты, когда так представляется судьба человеческая: земная жизнь от рождения до смерти в большей части есть мука и страдание, а после смерти представляет всякие адские муки, так как себя считаешь более заслуживающим именно такой участи. Сознанием своим я отрицаю вечные адские муки и совесть моя противится этой страшной идее. В сознании своем я оригенист. Тип Оригена мне ближе Тертулиана. Но в опыте моем мне очень ведомо и близко то, что я отвергаю в своем христианском сознании. И дело совсем не в том, что у меня есть ветхозаветный страх перед Богом (я думаю, что для Тебя Бог всегда ветхозаветный Бог. Ты как будто забываешь, что Бог Авраама, Исаака и Иакова также Бог, который окончательно открыл Себя в Сыне и лишь через Сына можно узнать Его близость), дело в том, что у меня страх перед своей греховностью. Фихте и Гегель, вероятно, совсем не чувствовали этого страха. Извне люди совсем не понимают трудностей и тех страданий, которые существуют внутри христианства, внутри Церкви. Есть много проблематичного внутри христианства для тех, которые *в е р н ы* ему и не сомневаются в нем. Я думаю, что о христианском опыте совсем не могут судить те, которые не в нем, которые его не испытали. Это мое главное возражение против Тебя. Ты роковым образом обречен на непонимание Паскаля, поскольку Ты сам не находишься внутри христианского опыта. Никакой ум, никакой талант, никакая душевная изощренность тут не поможет. Ты слишком умно, слишком тонко, слишком психологично пишешь о Паска-

ле. Для Тебя раскрывается Паскаль лишь со стороны психологического, а не религиозного опыта. Верующий есть для Тебя лишь психологический эксперимент. Но Твои собственные исследования носят благородный характер, за ними чувствуется переживаемая Той драмой драма и мучительное искание правды. Те же, на кого Ты влияешь, не имеют благородства первичного опыта. Им нравится, что Ты оправдываешь двойную бухгалтерию: сочетание непросветленной и неодухотворенной обыденности в жизни и ни к чему не обязывающей трагичности в литературе, в мыслях, в творчестве, в оторванных от жизни переживаниях. Это мне более всего неприятно. Трагична вся полнота и целостность нашей жизни, трагична и вся история, а не какой-то отдельный уголок душевного опыта. Я теперь работаю над книгой «Проблематика христианского сознания»¹³, которую хочу писать иначе, чем до сих пор писал. Она будет посвящена лишь проблематическому в христианстве.

Странная моя участь: левые считают меня правым, правые считают левым, ортодоксы считают еретиком, еретики считают ортодоксом, и всегда я чувствую свой образ искаженным. Теперь какие-то газетные болваны прославили реакционером, в то время, как преобладающая реакция, которая у меня сейчас есть, это реакция против все нарастающего среди русских за границей мракобесия. Я задыхаюсь от этого мракобесия. И мне одинаково противно мракобесие большевистское и мракобесие правое. Задыхаюсь и от той злобы, которой все проникнуто. Говорят, что у Вас в Париже особенно много злобы. (Бердяев, Берлин, 11. 4. [1924].)

Ты мне все-таки не дал совета, какими путями лучше действовать, чтобы выяснить возможность устройства в Париже. Софье Григорьевне я напишу. Но что можно было бы еще сделать на расстоянии? Очень трудно и неприятно непосредственно хлопотать о себе у французов. Вопрос следовало бы поднять для небольшой группы русских философов разом. Вопрос о переезде в Париж мне нужно было бы решить в принципе к началу июня, хотя самый переезд мог бы состояться осенью. Но как можно решить этот вопрос, не имея определенных перспектив. Очень рад буду увидеть тебя в середине мая в Берлине. Но очень хотел бы поскорее выяснить, в каком направлении следует действовать. Лучше всего было бы, конечно, мне самому приехать в Париж для переговоров. Но я не имею возможности сделать для этого необходимые затраты и мог бы поехать лишь в том случае, если бы поездка в Париж каким-либо образом была мне оплачена. Если ты с твоей стороны мо-

жешь мне дать какое-либо указание, то напиши. (Бердяев, Берлин, 30. 4. [1924].)

В это время Шестов получил нужные сведения о философах, желающих поехать в Париж, и переслал их Софье Григорьевне Пети:

Посылаю Вам собственноручно написанные Бердяевым, Франком, Ильиным и Карсавиным сведения об их преподавательской и ученой деятельности. Люшер¹⁴, по словам Тани, в четверг уже будет в Париже. По-моему, ему, во всяком случае, легче, чем кому бы то ни было, что-нибудь сделать. Хорошо было бы, если бы Вы успели поговорить с ним до моего отъезда. Тогда бы я смог уже на словах передать, что нужно Бердяеву и его товарищам. (Париж, 13. 5. 1924)

Очевидно, Софья Григорьевна очень скоро доставила для всех нужные разрешения, и Бердяевы уже летом или осенью приехали в Париж. Туда же была перенесена Религиозно-философская Академия. В Париже Бердяев сразу проявил большую активность. 9-го ноября 1924 г. состоялось открытие парижского отделения русской Религиозно-философской Академии. 18-го ноября он начинает там читать курс «Русские духовные течения». О своем переезде в Париж и о своей деятельности в этом городе он пишет в «Самопознании»:

В 24 г. я переехал из побежденного Берлина в победивший Париж. Через 16 лет мне суждено было узнать Париж побежденный. Много было оснований для перенесения центра деятельности туда. Берлин переставал быть русским центром и им становился Париж. («Самопознание», стр. 275)

Оригиналы двух вышеприведенных писем Шестова к Бердяеву от марта 1924 г. не сохранились, и приведенные тексты, вероятно, неполные. Эти два письма и вторая часть письма Бердяева от 11 апреля того же года были напечатаны в 1961 г. в журнале «Мосты» (№ 8). В архиве Шестова сохранилось всего девять писем Шестова к Бердяеву и семь писем Бердяева к Шестову (рукописные копии, сделанные Евгенией Рапп). Семь из этих писем, касающихся переезда Бердяева из Бер-

лина в Париж, даны выше. Из оставшихся четыре даны ниже.

Здесь не воспроизведены письмо Шестова от 10. 9. 1924, в котором он дает Бердяеву сведения о Виши, два письма Бердяева о немецких издателях (26. 7. 1925? и 9. 4. 1926?) и две открытки Шестова (21. 2. 1929 и 18. 5. 1929).

После приезда в Париж (лето или осень 1924) Бердяев поселился в Кламаре (Clamart — пригород Парижа). В это время он разошелся со многими старыми друзьями, но многолетняя дружба с Шестовым не только уцелела, но и окрепла. Бердяев пишет:

Я живу в Париже более 20 лет. Париж за это время стал русским культурным центром. И тут жили в это же время люди, с которыми я был связан в прошлом, с которыми был даже близок. Но у меня не было общения и почти не было даже встреч с этими людьми моего прошлого. Большее общение было с новыми людьми. С Мережковским я не встречаюсь долгие годы. Мережковский писал против меня грубые статьи. Со Струве тоже перестал встречаться, он тоже очень резко нападал на меня в печати. С А. Карташевым я почти не встречался, мы очень разошлись политически. Также не встречаемся с Б. Зайцевым, с П. Муратовым, с о. Булгаковым у нас не было никакого разрыва, но мы встречались очень редко и больше на деловых собраниях. Боюсь, что если бы мы встречались чаще, то разошлись бы гораздо больше. Из старых отношений сохранилась и даже окрепла дружба с Шестовым, с которым у меня бывали наиболее значительные разговоры. («Самопознание», стр. 299).

Они часто встречались, и уже в январе 1925 г. Шестов обещал Бердяеву выступить в Религиозно-философской Академии. Шестов пишет Бердяеву:

Сейчас получил твое письмо. Само собою разумеется, что я воскресенье 1-го февраля отстоял, как и обещал тебе, от всяких на него покушений и готов в этот день читать у вас. Выдумывать новое название для доклада не стоит — пусть так и будет: «Наука и Библия». Собираетесь вы завтра (в пятницу, 23-го января) на вечер Ремизова? Приходите — будет очень интересно. Кроме самого Ремизова — участвуют Плевицкая, Могилевский, Александрович. Ехать недалеко — Hôtel Lutetia. (Париж, 22. 1. 1925).

О своем выступлении Шестов пишет Ловцкому (4. 2. 1925): «В воскресенье я читал доклад в религ.-фил. Академии. Было много народу, так что, хотя плата и была очень скромная (2 фр.), мне пришлось на долю 250 фр.».

Бердяев устраивал у себя в Кламаре разного рода собрания, а по воскресеньям чаепития, после которых происходили беседы на какую-нибудь интересовавшую его тему. Шестов часто бывал на Бердяевских воскресеньях. Шестов ему пишет:

Ужасная досада! А. Е.¹⁵ опять неожиданно оказывается завтра днем занята и не может приехать в Clamart. Боюсь уже обещать, что приедем в следующее воскресенье: А. Е. никогда себе не принадлежит и не может собой распоряжаться. Но, если ничего не произойдет неожиданного, — постараемся приехать. Я уезжаю 22 или 24 мая, т. к. придется еще и во Франкфурте читать. Очень бы хотелось повидаться с тобой до отъезда и побеседовать. Может, когда будешь в Париже, завернешь ко мне. Я прочел обе твои статьи о Беме¹⁶ и тоже статью в «Сов. Зап.»¹⁷ — многое бы нужно сказать тебе. Главное, почему ты, который так страстно и неутомимо ищешь Бога (в этом же и смысл русской философии — и именно той, которая, как ты сам указываешь, нашла себе выражение не в ученых трактатах русских профессоров — а в художественном творчестве Пушкина, Гоголя, Толстого, Дост. и т. д.) — идешь все-таки за истиной к «умозрению»? Когда ты, вслед за Беме, утверждаешь, что без нет не может быть да — ты ведь ставишь этим самым навсегда и окончательно истину разума над откровением. А в Писании сказано, что, если будет у вас веры с горчичное зерно — то не будет для вас ничего невозможного. И для Бога возможно да без нет, для Бога возможна свобода и для него и для твари. О Боге спрашивать не нужно, хорош ли он, ибо от него все хорошее. Так учит Писание — мы этого не понимаем — но это и не нужно понять. Нужно только приучиться к свободе мыслить без всяких а priori, и не думать, что только то есть истина, что для нашего разумения кажется возможным. Если увидимся, потолкуем об этом. Как ни интересен Беме (по-моему, его интерес не в том, что он приготовил идеи для нем. идеализма, а в том, что эти идеи его ...) — истина, все-таки, в Св. Писании. (Париж, 9. 5. 1930).

Пьер Паскаль (Pierre Pascal) регулярно посещал Бердяевские воскресенья после своего возвращения из Советского Союза в 1933 г. В статье о Бердяеве он описывает эти собрания:

Там бывали русские, заезжие иностранцы, французы. Усаживались вокруг стола, пили чай, всегда с щедрым и великолепным угощением, кондитерским шедевром Лидии или Евгении, и болтали о том, о сем. Николай Александрович задавал вопросы, направлял разговор к более серьезной беседе, которая затем занимала остаток дня. Это уже не была московская Академия: ни председателя, ни протокола заседаний, но Бердяев, тем не менее, руководил дискуссиями. Он одушевлял их, придавал им интерес, иногда прямо наслаждение, своими остротами, обобщениями, категорическими выводами и теми вспышками гнева, о которых я уже говорил... Верхом наслаждения для большинства слушателей была дуэль Бердяев-Шестов. Если Шестова не было, дискуссиям словно чего-то не хватало... Короче говоря, в этих воскресных собраниях, несмотря на несколько профессорские манеры Бердяева, было что-то семейное. Я там, кажется, ни разу не заскучал¹⁸.

3. По поводу 70-летия Шестова (1936)

16 января 1936 г. парижская ежедневная газета «Последние Новости» поместила заметку «70-летие Л. Шестова»:

13 февраля исполняется 70 лет Л. И. Шестову. Друзья и читатели философа устраивают вечер «Памяти Толстого», на котором выступит Шестов со своим словом о великом писателе.

Прочитав ее, Бердяев пишет Шестову:

Заметку в «Пос. Нов.» я прочел и нашел ее совершенно нелепой. Если речь идет о твоём семидесятилетии, то говорить нужно о тебе, а не о Толстом. Непонятно смешение Толстовского юбилея, твоего семидесятилетия и вечера в пользу Ремизова. Кроме того, я считаю совершенно нецелесообразным повторять Толстовский вечер по той же программе с теми же участниками. Это не соберет достаточно публики. На вечере рел.-фил. Академии было очень много народа. Все эти люди не пойдут вторично. Мое имя уже раз привлекло всех интересующихся, вторично оно не привлечет. К тому же очень неприятно вторично повторять то же самое. Еще можно второй раз читать по рукописи, но говорить очень трудно. Думаю,

что все так скажут. Если желать как можно большего сбора для Ремизова, то самое нецелесообразное повторять ту же тему с теми же людьми. Нужно было придумать что-нибудь новое. И нужно решить, в ком центр тяжести, в Ремизове, в тебе или в Толстом. Я почти убежден в неуспехе придуманной комбинации. Русский Париж может поставить лишь ограниченное количество слушателей. Почему я или Вышеславцев привлечет на ту же тему слушателей, которые не пошли на заседание рел.-фил. Академии? Нужно придумать что-нибудь новое. Прочитав заметку в «П. Н.», я нашел ее столь странной, что даже хотел писать тебе и спросить, в чем дело. Если ознаменовывать твое семидесятилетие, то этого никак нельзя сделать повторением Толстовского вечера. Никто не поймет, в чем дело. Сообщи, пожалуйста, мои сомнения и критику организаторам вечера. Все собираюсь к тебе, но я все это время чувствовал себя нездоровым. У меня в очень плохом состоянии горло и мне даже прописано, как можно реже выступать. Лекции я уже обязан читать. (17. I. [1936].)

По случаю 70-летия Шестова Академический Союз устроил отдельный вечер 14 марта. С докладами выступили П. Н. Милуков, Л. Леви-Брюль и А. Лазарев.

Желая почтить 70-летие Шестова, его друзья образовали «Comité des amis de Léon Chestov» (Комитет друзей Шестова), который взял на себя издание по-французски его книги «Киркегард и экзистенциальная философия», организовав подписку на это издание. В комитет входили: председатель — Люсен Леви-Брюль, член Института [Франц. АН.]; члены — Николай Бердяев, Поль Дежарден, А. Добрый, Макс Эйтингон, Жюль де Готье, Адольф Лазарев, Жан Полан; секретарь — Борис Шлецер.

Сохранилось два письма Бердяева от 15 и 27 февраля 1936 г., в которых он сообщает комитету адреса возможных подписчиков. Книга Шестова вышла в июле 1936 г. под заглавием «Kierkegaard et la philosophie existentielle» в издательстве Librairie philosophique J. Vrin, с пометкой Les amis de Léon Chestov.

В то время Бердяев опубликовал две статьи о Шестове. «Лев Шестов. По случаю его семидесятиле-

тия» («Путь», янв./апр. 1936, № 50) и «Лев Шестов и Киркегард» («Современные Записки», [сент./дек.] 1936, № 62).

4. Письмо Бердяева Шестову по поводу статьи Шестова «Николай Бердяев» (1938)

В октябре 1938 года в «Современных Записках» № 67 появилась статья Шестова «Николай Бердяев. Гнозис и экзистенциальная философия». Прочитав ее, Бердяев пишет Шестову¹⁹:

/.../ Твою статью обо мне я уже прочел. Я доволен, что Ты ее написал в дружественном тоне. Русская критика меня всегда игнорировала, почти бойкотировала (исключение В. Розанов, который написал о книге «Смысл Творчества» четырнадцать статей). Но вместе с тем у меня было тяжелое чувство существования в разорванных мирах, которые не могут проникнуть один в другой. Как и всегда, Ты делишь мир на две части и относишь меня к другой части, что мешает индивидуализировать мою мысль. Ты ставишь меня в зависимость от Шеллинга, который никакой роли в моей жизни не играл. Шеллинг принадлежит к мистическому и натур-философскому типу мыслей, который мне чужд и антипатичен, противоречит моему крайнему персонализму. Я действительно очень люблю Я. Беме и он имел для меня большое значение. Но я понимаю свободу иначе. У Беме *Ungrund*, который я истолковываю, как свободу, находится в Боге, как темная природа, для меня же свобода находится вне Бога. В этом смысле я скорее дуалист, чем монист, хотя все эти слова неудачны. Достоевский и Ницше играли гораздо большую роль в моей жизни, чем Шеллинг и немецкий идеализм. Когда я говорю о безблагодатности Ницше или Киркегарда, то это совсем не имеет порицательного смысла; самого себя я тоже считаю мало благодатным. Но особенно меня поразило Твое неверное истолкование моих слов: «Киркегард умер, не получив Регины Ольсен, Ницше умер, не излечившись от ужасной болезни и т. д.» Смысл обратный тому, который Ты мне приписываешь. Об этом нужно поговорить при свидании. Главное же вот что. Ты меня обвиняешь, что я называю свою истину, как общеобязательную, как долг, но Ты делаешь абсолютно то же самое. У Тебя есть абсолютная и очень исключительная истина и она обязательна для спасения от власти необходимости, от внушения змия.

Обо всем этом лучше поговорить, хотя трудно убедить друг друга. Надеюсь до скорого свидания.

Твой Ник. Бердяев

В одном Ты очень ошибаешься: я совсем не пастух, у меня нет никакого стада. Я человек боевой и думаю больше о враге, чем о стаде.

5. По поводу кончины Шестова (1938)

После смерти Шестова (20. 11. 1938) Бердяев опубликовал две статьи о нем: «Памяти Л. И. Шестова» («Последние Новости», 23. 11. 1938, № 6450) и «Основная идея философии Льва Шестова» («Путь», ноябрь/дек. 1938, янв. 1939, № 58). Последняя статья была помещена в качестве предисловия к книге Шестова «Умозрение и откровение. Религиозная философия Владимира Соловьева и другие статьи», опубликованной в Париже в 1946 г. в издательстве YMCA-Press.

6. О книге Шестова «Афины и Иерусалим» (1946?)²⁰

Книга вышла по-французски и по-немецки в 1938 г., при жизни Шестова. О русском издании семья Шестовых начала вести переговоры с YMCA-Press, вероятно, в 1946 г. Бердяев пишет Анне Елеазаровне по поводу этого издания:

Clamart, 15-го ноября

Дорогая Анна Елеазаровна! Я давно уже высказался за печатание книги Льва Исааковича «Афины и Иерусалим». Могу еще раз об этом сказать. Но издатели стоят на том, что нельзя печатать книг, которые уже изданы на иностранном языке. Я с этим не согласен и это даже меня лично задевает, так как одна моя книга издана по-французски и я не знаю, как отнесутся к ее печатанию по-русски. Не следует преувеличивать моего значения в издательстве. Я только консультант. Меня терпят ввиду моей широкой известности и разного рода заслуг. Но к моему направлению, и религиозному и политическому, относятся подозрительно. Меня считают слишком «левым». Многие книги мной рекомендованные отвергают и печатать не хотят.

тают книги, против которых я высказался. Такова создавшаяся атмосфера.

Châtel, кажется, мне немного помог, особенно относительно заповор. Ваш доктор Вауманн во время моего пребывания в Châtel сломал себе ногу и был серьезно болен.

Буду очень рад, если Вы приедете к нам, а также Ваши дочери. Всего лучшего.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Знакомство Шестова с Бердяевым вряд ли состоялось перед ссылкой Бердяева, т. е. перед маем 1900 г., так как в это время книга Шестова «Достоевский и Нитше» (т. III его сочинений), о которой упоминает Бердяев, еще не была опубликована. Эта книга впервые появилась в 1902 г. (она была напечатана по частям в журнале «Мир Искусства» № 2-10). Бердяев, вероятно, познакомился с Шестовым не перед ссылкой, а после нее, в ноябре или декабре 1902 г. когда вернулся в Киев.
2. Книга была написана после смерти Шестова (1938). Отрывки были опубликованы в журналах. Книга должна появиться в 1981 или в 1982 г. в Париже в издательстве Plasma.
3. Дата, указанная в сборнике «София» (см. прим. 9).
4. Проф. Поль Бойе (Paul Boyer), директор Школы Восточных Языков.
5. Антон Владимирович Карташев, профессор Парижского богословского института (1875—1960).
6. Николай Карлович Кульман, профессор русской литературы (1871—1940).
7. Первый съезд русских студентов в Плиерове (1-8 октября 1923), положивший основание Р.С.Х.Д. (Русское Студенческое Христианское Движение).
8. Léon Chestov. «La nuit de Gethsémani». Paris, Grasset, [juillet] 1923.
9. В 1923 г. вышел в Берлине под редакцией Бердяева сборник «София». Статья, о которой пишет Бердяев, туда не вошла. Нет сомнения, что статья, о которой Бердяев пишет Шестову, была предназначена для второго выпуска сборника, который не удалось опубликовать.
10. Б. Шлецер. Н. А. Бердяев. «Мировоззрение Достоевского». (Прага, 1923). «Совр. Записки», 1923, № 17, стр. 458-465.
11. Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde: il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. (Муки Христа будут продолжаться до конца света и нам в это время спать не должно).
12. Léon Chestov. La nuit de Gethsémani.

13. Книга вышла в Париже в издательстве YMCA-Press, вероятно, в 1927 г. под заглавием «Философия свободного духа. Проблематика и апология христианства».
14. Люшер (Lucheur) был инспектором высших учебных заведений и членом комиссии Лиги Наций по поддержке умственных работников.
15. Анна Елеазаровна, жена Шестова.
16. Из этюдов о Я. Беме. Этюд I. Учение об Ungrund'e. — «Путь», № 20, февр. 1930. То же. Этюд II. Учение о Софии и андрогине. Я. Беме и русские софиологические течения. — «Путь», № 21, апр. 1930.
17. О характере русской религиозной мысли XIX века. — «Совр. Зап.», № 42, [апр.] 1930.
18. «Berdiaev — l'homme», Colloque Berdiaev, 12 avril 1975, Bulletin de l'Association Nicolas Berdiaev, (№ 5, 1978, pp. 17, 18).
19. Полный текст письма напечатан в журнале «Мосты» № 8, декабрь 1961, и в журнале «Вестник Р.Х.Д.», № 124, 1978(1).
20. Год на письме не указан. Книга Шестова вышла в YMCA-Press в 1951 г.

Единственная ежедневная русская газета
за рубежом

«НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

выходит в Нью-Йорке, США

Главный редактор **Андрей Седых**
71-й год издания

«Новое русское слово» регулярно печатает документы
самиздата, протесты из СССР, произведения лучших
эмигрантских писателей, публицистику и прочее.

Подписная цена 70 долларов в год,
35 дол. — 6 месяцев

Воскресное издание — только 35 дол. в год

Годовая подписка воздушной почтой
(пачками по 6 номеров) — 150 долларов в год

Подписку с платой направлять по адресу:

243 West 56 St., New York, N. Y., 10019 USA.
NOVOE RUSSKOYE SLOVO

ПАМЯТИ ВОРИСА ВАХТИНА

12 ноября в Ленинграде в возрасте 51 года скоропостижно скончался замечательный русский писатель БОРИС БОРИСОВИЧ ВАХТИН. Он родился в Ростове-на-Дону 3 ноября 1930 года. Его отец Б. Вахтин, ленинградский журналист, уехал на Украину, чтобы не попасть в ленинградскую волну арестов, но всё-таки был арестован в 1935 году и сгинул в Соловках. Его мать, впоследствии известная писательница Вера Панова, вынуждена была уехать с детьми в глухую деревню на Украине. Там Б. Б. Вахтин прожил до окончания войны, и украинский язык навсегда сделался для него столь же дорог, как и русский.

В 1949 году Вахтин поступил в Ленинградский университет и окончил его по Восточному факультету. Он учился у академика В. Алексеева, а позднее его постоянным научным руководителем стал другой замечательный человек, академик Н. Конрад. Специальностью Вахтина была древняя китайская литература. Многие его переводы вошли в число классических переводов китайской поэзии и неизменно включаются в основные сборники — (например, том «Поэзия и проза Древнего Востока» в серии «Всемирная литература»).

Однако главным его занятием была проза. В конце 50-х годов литературная молодежь Ленинграда передавала из рук в руки повесть Вахтина «Летчик Тютчев, испытатель» (напечатана в журнале «Эхо»), которая вместе с прозой Виктора Голыкина, стала началом того, что потом назвали «ленинградской школой». В 1964 году Б. Вахтин организует литературную группу «Горожане» (Б. Вахтин, В. Губин, И. Ефимов, В. Марамзин), выпустившую два сборника прозы, отданные в издательства и одновременно распространенные в самиздате.

Писатель всеми силами старался остаться жить в своей стране. Проза, не публикуемая дома, неизбежно уходила за границу. Напечатаны повести «Ванька Каин» («Время и мы», Тель-Авив), «Одна абсолютно счастливая деревня», «Сержант и фрау», «Летчик Тютчев, испытатель» («Эхо», Париж) и др. Борис Вахтин принимает активное участие в создании сборника «Метрополь». Сборник выходит в США, в нем — одна из последних повестей Вахтина «Дубленка». В издательстве «Ардис» готовится книга. Автор ее не дождался...

Есть много способов уничтожить писателя. Самый основной и надежный — не печатать его. Умер писатель, так и не увидевший при жизни ни одной своей книги.

И все же больше всего на свете он любил свою страну. Хочется закончить словами из его повести: «На Руси белый цвет — это главный цвет, цвет берез и соборных стен, цвет головокружительной черемухи и священных риз, цвет горностая и снегов... А потому он главный цвет, что составлен из всех возможных цветов на свете... Так что любой цвет и оттенок, какой только можно придумать или составить, уже имеется в белом цвете, как и любая мысль, какую только можно сочинить или сконструировать, уже присутствует в русской мысли, беспредельной, как и родившая ее земля».

*И. Ульянов
И. Бродский
Я. Виньковецкий
В. Марамзин
А. Хаостенко
В. Максимов
И. Ефимов*

Литература и время

Вероника Полонская

В РАСЧЕТЕ С ЖИЗНЬЮ

Публикация С. Чертока

Период после Сочи мне очень трудно восстановить в памяти, так как после катастрофы 14 апреля у меня образовались провалы в памяти, и это последнее время вспоминается обрывочно и туманно.

Мы встречались часто. По-прежнему я бывала у него на Лубянке.

Много бывали мы и втроем с Яншиным в театральном клубе, в ресторанах.

Владимир Владимирович много играл на бильярде, я очень любила смотреть, как он играет.

Помню, зимой как-то мы поехали на его машине в Петровско-Разумовское. Было страшно холодно. Мы совсем закохенели, вышли из машины и бегали по сугробам, валялись в снегу. Владимир Владимирович был очень веселый. Он нарисовал палкой на снегу сердце, пронзенное стрелой, и написал: «Нора-Володя».

Он очень обижался на меня за то, что я никогда не называла его по имени. Оставаясь вдвоем, мы с ним были на ты, но даже и тут я не могла заставить себя говорить ему уменьшительное имя, и Владимир Владимирович смеялся надо мной, утверждая, что я зову его «никак».

Тогда в нашу поездку в Петровско-Разумовское, на обратном пути, я услышала от него впервые слово «люблю».

Окончание. Начало см. в № 29.

Он много говорил о своем отношении ко мне, говорил, что, несмотря на нашу близость, он относится ко мне как к невесте. После этого он иногда называл меня — невесточка.

В этот же день он рассказал мне много о своей жизни, о том, как он приехал в Москву совсем еще подростком. Он жил здесь в Петровско-Разумовском, и так нуждался, что принужден был ходить в Москву пешком. Рассказывал о своем романе с Марией, о тюрьме, о знакомом шпике, который следил за ним.

С огромной нежностью и любовью Владимир Владимирович отзывался о матери. Рассказывал о том, как она его терпеливо ждет и часто готовит любимые его кушанья, надеясь на его приход. Ругал себя за то, что так редко бывает у матери. Матери своей Владимир Владимирович давал в известные сроки деньги и очень тревожился, если задерживал на день, на два эти платежи.

Часто я видела в его записной книжке записи:

— Обязательно маме деньги —

— Непременно завтра маме деньги — или просто:

— мама —

Я чувствовала, что Владимиру Владимировичу в какой-то мере грустно то обстоятельство, что Лилия Юрьевна равнодушно относится к факту наших отношений. Казалось, что он еще любит ее, и это в свою очередь огорчало меня самое. Впоследствии я поняла, что Маяковский замечательно относился к Лиле Юрьевне, что в каком-то смысле она была и будет для него первой, но такого рода любовь к ней — уже прошлое.

Относился Маяковский к Лиле Юрьевне необычайно нежно, заботливо. К ее приезду всегда были цветы. Он любил дарить ей всякие мелочи. Помню, где-то он достал резиновых надувающихся слонов. Один из слонов был громадный, и Маяковский очень радовался, говоря:

— Норочка, нравятся вам Лиличкины слонятики? Ну, я и вам подарю таких же.

Он привез из-за границы машину и отдал ее в полное распоряжение Лили Юрьевны. Если ему самому нужна была машина, он всегда спрашивал у Лили Юрьевны разрешение.

Лиля Юрьевна относилась к Маяковскому очень хорошо, дружески, но требовательно и деспотично. Часто она придиралась к мелочам, нервничала, упрекала его в невнимательности. Это было даже немного болезненно, потому что такой исчерпывающей предупредительности я нигде и никогда не встречала ни тогда, ни потом. Маяковский рассказывал мне, что два раза хотел стреляться из-за нее, один раз он и выстрелил себе в сердце, но была осечка.

У Маяковского в последний приезд за границу был роман с какой-то женщиной. Ее звали Татьяной¹. Он был в нее очень влюблен. Когда Владимир Владимирович вернулся в СССР, он узнал, что она вышла замуж за француза.

Мне казалось, что Лиля Юрьевна очень легко относилась к его романам, как, например, случай со мной в первый период. Но если кто-нибудь начинал задевать его глубже, это беспокоило ее. Она навсегда хотела остаться для Маяковского единственной, неповторимой.

Когда после смерти Владимира Владимировича мы разговаривали с Лилей Юрьевной, она сказала мне:

— Я никогда не прощу Володе двух вещей. Он приехал из-за границы и стал читать знакомым новые стихи, посвященные не мне, даже не предупредив меня. И второе — это как он, не обращая на меня внимания, при мне смотрел на вас, старался сидеть подле вас, прикоснуться к вам...

Владимир Владимирович очень много курил, но мог легко бросить курить, так как курил не затяги-

ваясь. Обычно он закуривал папиросу от папиросы, а когда нервничал, то жевал мундштук.

Пил он ежедневно, довольно много и почти не хмелел. Только один раз я видела его пьяным — 13 апреля вечером у Катаева... Пил он виноградные вина, любил шампанское, водки не пил совсем. На Лубянке всегда были запасы вина, конфет, фруктов.

Был он очень аккуратен. Вещи находились всегда в порядке, у каждого предмета определенное свое место. И убирал он все с какой-то дикой педантичностью, злился, если что-нибудь было не в порядке.

Было у него много своих привычек, например, ботинки он надевал, помогая себе вместо рожка сложенным журналом, хотя был у него и рожок. В своей комнате были у Владимира Владимировича излюбленные места. Обычно он сидел у письменного стола или стоял, опершись спиной о камин, локти положив на каминную полку и скрестив ноги. При этом он курил или медленно отпивал вино из бокала, который стоял тут же на полке. Потом вдруг он срывался с места, быстро куда-то устремлялся, приводя что-то в порядок, или записывал что-то у письменного стола, а то просто прохаживался, вернее, пробегался несколько раз по своей маленькой комнате и опять возвращался в прежнее положение.

Так вот, после приезда в Москву с Кавказа и нашей встречи на вокзале я поняла, что Владимир Владимирович очень здорово меня любит. Я была очень счастлива. Мы часто встречались. Как-то всё было очень радостно и бездумно.

Но вскоре настроение Маяковского сильно испортилось. Он был чем-то очень озабочен, много молчал. На мои вопросы о причинах такого настроения отшучивался. Он и вообще никогда почти не делился со мной своим плохим, разве только иногда вырывалось что-нибудь... Но здесь Владимир Владимирович жаловался на усталость, на здоровье и говорил,

что только со мной ему светло и хорошо. Стал очень придирчив и болезненно ревнив. Раньше он совершенно спокойно относился к моему мужу. Теперь он стал ревновать, придирался, мрачнел. Часто молчал. С трудом мне удавалось вывести его из этого состояния. Потом вдруг мрачность проходила и этот огромный человек опять радовался, прыгал, сокрушая все вокруг, гудел своим басом.

Я получила большую роль в пьесе «Наша молодость»². Для меня, начинающей молодой актрисы, получить роль во МХАТе было огромное событие, и я очень увлеклась работой.

Владимир Владимирович вначале искренне радовался за меня, фантазировал, как он пойдет на премьеру, будет подносить каждый спектакль цветы «от неизвестного» и т. д. Но спустя несколько дней, увидев, как это меня отвлекает, замрачнел, разозлился. Он прочел всю мою роль и сказал, что роль отвратительная, пьеса, наверное, тоже. Пьесу он, правда, не читал и читать не будет и на спектакль ни за что не пойдет. И вообще не нужно мне быть актрисой, надо бросить театр... Это было сказано в форме шутки, но очень зло, и я почувствовала, что Маяковский действительно так думает и хочет.

Стал он очень требовательным, добивался ежедневных встреч. Мы ежедневно уславливались повижаться в кафе или рядом с МХАТом, или напротив Малой сцены МХАТа на улице Горького. Мне было очень трудно вырваться для встреч днем и из-за работы, и из-за того, что трудно было уходить из театра одной. Я часто опаздывала или не приходила совсем, а иногда приходила с Яншиным. Владимир Владимирович злился, я же чувствовала себя очень глупо.

Помню, после репетиции удерешь и бежишь бегом в кафе на Тверской, и видишь — там за столиком сидит мрачная фигура в широкополой шляпе. И всякий раз неизменная поза — руки держатся за палку, под-

бородок на руках, большие темные глаза глядят на дверь. Он говорил, что стал посмешищем в глазах всех официанток кафе, потому что ждет меня часами. Я умоляла его не встречаться в кафе. Я никак не могла обещать ему приходить точно. Но Маяковский отвечал:

— Наплевать на официанток, пусть смеются. Я буду ждать терпеливо, только приходи!

В это время у него не спорилась работа, писал мало. Работал он тогда над «Баней». Владимир Владимирович даже просил меня задавать ему уроки, чтобы ему легче было писать. Каждый урок я должна была и принимать — он писал с большим воодушевлением, зная, что я буду принимать сделанные куски пьесы. Обычно я отмечала несколько листов в его записной книжке, а в конце расписывалась или ставила какой-нибудь значок — до этого места он должен был сдать урок.

Помню три вечера за эту зиму. В какой последовательности они прошли, не могу сейчас восстановить в памяти.

Один вечер возник так. Владимир Владимирович, видя, как я увлечена театром, решил познакомиться с моими товарищами по сцене. Заранее никто приглашен не был, и в самый день встречи мы кого-то спешно звали и приглашали. Приехали поздно, после спектакля, люди, в общем, для меня далекие. Бриков не было, они уже уехали за границу. Хозяиничал сам Владимир Владимирович и был очень мрачен, упорно молчал. Все разбрелись по разным комнатам гендриковской квартиры и сидели притаившись, а Владимир Владимирович большими шагами ходил по коридору. Потом он приревновал меня к одному нашему актеру и все время захлопывал дверь в комнату, где мы с ним сидели. Я открываю дверь, а Владимир Владимирович заглянет в комнату и опять захлопнет ее с силой.

Мне было очень неприятно, и я себя очень глупо чувствовала. Тем более, что это было очень несправедливо по отношению ко мне. Мне с большим трудом удалось уговорить Владимира Владимировича не ставить меня в нелепое положение. Не сразу поверил он моим уверениям, что я люблю его. А когда поверил, сразу отошел, вытащил всех гостей из разных углов, где они сидели, стал остричь, шуметь... И напуганные, не знающие как себя вести актеры вдруг почувствовали себя тепло, хорошо, уютно и потом очень хорошо вспоминали этот вечер и Владимира Владимировича.

Второй вечер был после премьеры «Бани» 16 марта 1930 года. Маяковскому было тяжело от неуспеха и отсутствия друзей или хотя бы врагов, вообще от равнодушия к его творчеству. Ведь после премьеры — плохо, хорошо ли она прошла — он принужден был один идти домой в пустую квартиру, где его ждала только бульдожка Булька. По его просьбе мы поехали в Гендриков переулок — Марков, Степанова, Яншин и я. Говорили о пьесе, о спектакле. Хотя судили очень строго и много находили недостатков, но Владимир Владимирович уже не чувствовал себя одиноким, никому не нужным. Он был веселый, искрящийся, пел, шумел, пошел провожать нас и Маркова, потом Степанову. По дороге хохотали, играли в снежки.

Третий вечер — шуточный юбилей, который был устроен опять-таки на квартире в Гендриковом переулке незадолго до настоящего двадцатилетия литературной деятельности Владимира Владимировича. Мы с Яншиным приехали поздно, после спектакля. Нарodu было много, я не помню всех. Помню ясно Василия Каменского³, он пел, читал стихи. Помню Мейерхольда⁴, Райх⁵, Кирсанова⁶, Асеева⁷.

Я была в вечернем платье, а все были одеты очень просто, поэтому я чувствовала себя неловко. Лиля Юрьевна меня очень ласково встретила и сказала, что

напрасно я стесняюсь — это Володин праздник и очень правильно, что я такая нарядная. На этом вечере мне было как-то очень хорошо, только огорчало меня, что Владимир Владимирович такой мрачный. Я все время к нему подсаживалась, разговаривала с ним и объяснялась ему в любви.

Вскоре Брики уехали за границу. Владимир Владимирович много хлопотал об их отъезде, я его даже меньше видела в эти дни. После их отъезда Владимир Владимирович заболел гриппом, лежал в Гендриковом. Я много бывала у него в дни болезни, обедала у него ежедневно. Был он злой и придиричивый к окружающим, но со мной был очень ласков, нежен и весел. Навещал Маяковского и Яншин. Иногда обедал с нами. Вечерами играли в карты после спектакля. Настроение у Владимира Владимировича было более спокойное. После болезни он прислал мне цветы со стихами:

Избавившись от смертельного насморка и чиха,
Приветствую вас, товарищ врачаха.

Я знаю, что у него с Асеевым и товарищами в это время были разногласия и даже были ссоры. Они помирились, но, очевидно, органического примирения все же не было.

Помню вхождение Маяковского в РАПП. Он держался бодро и все убеждал и доказывал, что он прав и доволен вступлением в члены РАППа. Но чувствовалось, что он стыдится этого, не уверен, правильно ли он поступил, перед самим собой. И приняли его в РАППе не так, как нужно и должно было принять Маяковского.

Близилась дни выставки. Владимир Владимирович был очень этим увлечен, очень горел. Комната его на Лубянке превратилась в макетную мастерскую. Он носился по городу, отыскивая материалы. Мы что-то клеили, подбирали целыми днями. И обедать нам носила какая-то домашняя хозяйка, соседка по до-

му. Пообедав, опять копались в плакатах. Потом я уходила на спектакль, к Владимиру Владимировичу приходили девушки художницы и всё клеили, подписывали. Он не показывал виду, но ему было тяжело, что никто, ни один из его товарищей по литературе не пришел ему помочь.

На выставке он возился тоже сам. Я зашла к нему как-то в клуб писателей. Владимир Владимирович стоял на стремянке, вооружившись молотком, и сам прибивал плакаты.

В день открытия выставки⁸ у меня был спектакль и репетиция. После спектакля я встретила с Владимиром Владимировичем. Он был усталый и довольный. Говорил, что было много молодежи, которая очень интересовалась выставкой. Задавали много вопросов. Маяковский отвечал. Посетители выставки не отпускали его, пока он не прочитал им несколько своих произведений. Потом он сказал: «Но ты подумай, Норка, ни один писатель не пришел!.. Тоже товарищи!»

На другой день вечером мы пошли с ним на выставку. Он сказал, что там будет его мать. Владимир Владимирович говорил еще раньше, что хочет познакомить меня с матерью, говорил, что мы поедем как-нибудь вместе к ней. Тут он опять сказал: «Норочка, я тебя познакомлю с мамой». Но чем-то он был очень расстроен, возможно, опять отсутствием интереса писателей к его выставке, хотя народу было много. Потом Владимира Владимировича могло огорчить, что не все было готово, что плакаты не перевесили, как ему этого хотелось. Он страшно нервничал, сердился, кричал на устроителей выставки. Я отошла и стояла в стороне. Владимир Владимирович подошел ко мне и сказал: «Норочка, вот моя мама».

Я совсем по-другому представляла себе мать Маяковского. Я увидела маленькую старушку в черном шарфике на голове, и было как-то странно видеть их рядом, такую маленькой она казалась рядом со своим

громадным сыном. Глаза — выражение глаз — у нее было очень похожее на Владимира Владимировича. Тот же пронзительный молодой взгляд. Владимир Владимирович захлопотался, все ходил по выставке и так и не познакомил меня со своей матерью.

Наши отношения принимали все более и более нервный характер. Часто он не мог владеть собой при посторонних, уводил меня объясняться. Если происходила какая-нибудь ссора, он должен был выяснять все немедленно. Был мрачен, молчалив, нетерпим. Его очень мучило мое внешнее равнодушие. На этой почве возникало много ссор, тяжелых, мучительных, глупых. Тогда я была слишком молода, чтобы разобраться во всем и объяснить Владимиру Владимировичу, что у меня временная депрессия, что если он на время оставит меня и не будет так нетерпимо и нервно все воспринимать, то постепенно это мое состояние пройдет, и мы вернемся к прежним отношениям. А Владимира Владимировича мое кажущееся равнодушие приводило в неистовство. Он часто бывал настойчив, даже жесток. Стал нервно, подозрительно относиться буквально ко всему, раздражался и придирался по малейшим пустякам. Я все больше любила, ценила и понимала его человечески и не мыслила жизни без него, стремилась к нему, а когда я приходила и опять начинались взаимные боли и обиды, мне хотелось бежать от него.

Отсюда и мои колебания и оттяжка в решении вопроса развода с Яншиным и совместной жизни с Маяковским.

У меня появилось твердое убеждение, что так больше жить нельзя, что нужно решать. Я даже не очень ясно понимаю теперь, почему развод представлялся мне тогда таким трудным. Не боязнь потерять мужа. Мы жили тогда слишком разной жизнью.

Поженились мы совсем почти детьми, мне было семнадцать лет. Отношения у нас были хорошие, то-

варищеские, но не больше. Яншин относился ко мне как к девочке, не интересовался ни жизнью моей, ни работой. Да и я тоже не очень вникала в его жизнь и мысли.

С Владимиром Владимировичем совсем другое. Это были настоящие, серьезные отношения. Я видела, что я интересую его и человечески. Он много пытался мне помочь, переделать меня, сделать из меня человека. А я, несмотря на свои двадцать два года, очень жадно к нему относилась. Мне хотелось знать его мысли, интересовали и волновали его дела, работы и т. д. Правда, я боялась его характера, его тяжелых минут, его деспотизма в отношении меня.

А тут, в начале тридцатого года, Владимир Владимирович потребовал, чтобы я разошлась с Яншиным, стала его женой и ушла бы из театра. Я оттягивала это решение. Владимиру Владимировичу я сказала, что буду его женой, но не теперь.

Он спросил: «Но все же это будет? Я могу верить? Могу думать и делать все, что для этого нужно?» Я ответила: «Да, думать и делать!» С тех пор эта формула «думать и делать» стала у нас как пароль. Всегда при встречах на людях, если ему было тяжело, он задавал вопрос: «Думать и делать?» И, получив утвердительный ответ, успокаивался.

«Думать и делать» реально выразилось в том, что он записался на квартиру в писательском доме против Художественного театра. Было решено, что мы туда переедем.

Конечно, это было нелепо — ждать какой-то квартиры, чтобы решать в зависимости от этого, быть ли нам вместе. Но мне это было нужно, так как я боялась и отодвигала решительный разговор с Яншиным, а Владимира Владимировича это все же успокаивало.

Я убеждена, что причина дурных настроений Владимира Владимировича и трагической его смерти вне наших взаимоотношений. Наши размолвки — только

одна из целого комплекса причин. Я не знаю всего, могу только предполагать и догадываться, сопоставляя все то, что определяло его жизнь тогда, в тридцатом году.

Мне кажется, что этот тридцатый год у Владимира Владимировича начался неудачами. Удалась, правда, поэма «Во весь голос». Но эта замечательная вещь была тогда еще неизвестной. Маяковский остро ощущал отсутствие интереса к его творчеству со стороны кругов, мнением которых он дорожил. Он очень этим мучился, хотя и не сознавался в этом. Затем, очевидно, от переутомления, у него были то и дело трехдневные, однодневные гриппы. Не пришли на выставку писатели. Если бы неуспех «Бани» был хотя бы неуспехом, скандалом. Но и критика, и литературная среда к провалу пьесы отнеслись равнодушно. Маяковский знал, как отвечать на ругань, на злую критику, на скандальный провал. Все это придало бы ему бодрости и азарта в борьбе. Но молчание и равнодушие к его творчеству выбило его из колеи.

И, наконец, эпизод с РАППом еще раз показывал Маяковскому, что к 20-летию литературной деятельности он вдруг оказался лишенным признания со всех сторон. И особенно его удручало, что правительственные органы никак не отметили его юбилей.

Я считаю, что я и наши взаимоотношения явились для него как бы соломинкой, за которую он хотел ухватиться.

Теперь постараюсь вспомнить подробнее последние дни его жизни, примерно с 8 апреля.

Утро, солнечный день. Я приезжаю к Владимиру Владимировичу в Гендриков. У него один из бесчисленных гриппов. Он уже поправляется, но не решается высиживать день-два. Квартира залита солнцем. Маяковский сидит за завтраком. Собака Булька мне страшно обрадовалась, скачет выше головы, потом

прыгает на диван, пытается лизнуть меня в нос. Владимир Владимирович говорит: «Видите, Норочка, как мы с Булькой вам рады».

Приезжает Лев Александрович Гринкруг⁹. Владимир Владимирович дает ему машину и просит отвезти взнос за квартиру в писательский дом. Приносят письмо от Лили Юрьевны. В письме фото — Лиля со львенком на руках. Владимир Владимирович показывает карточку нам. Гринкруг близорук и говорит: «А что это за песика держит Лилечка?» Владимира Владимировича и меня приводит в бешеный восторг, что он принял льва за песика. Мы начинаем страшно хохотать. Гринкруг сконфуженный уезжает.

Мы идем в комнату к Владимиру Владимировичу, садимся с ногами на его кровать. Булька посередине. Начинается обсуждение будущей квартиры. Решаем: две отдельные квартиры на одной площадке — одна Брикам, вторая нам. Настроение у него замечательное.

Я уезжаю в театр. Приезжаю обедать с Яншиным и опаздываю на час. Мрачность необыкновенная. Владимир Владимирович ничего не ест, молчит. Вдруг глаза наполняются слезами, и он уходит в другую комнату.

Помню, в эти дни мы где-то были втроем с Яншиным. Владимир Владимирович зовет нас домой и говорит: «Норочка, Михаил Михайлович, я вас умоляю, не бросайте меня, проводите в Гендриков». Проводили, зашли, посидели, выпили вина. Он вышел вместе с нами гулять с Булькой. Пожал очень крепко руку Яншину, сказал: «Михаил Михайлович, если бы вы знали, как я вам благодарен, что вы заехали ко мне сейчас. Если бы вы знали, от чего вы меня сейчас избавили».

Еще были мы в эти дни в Театральном клубе. Столиков не было, и мы сели за один стол с мхатовскими актерами, с которыми я его познакомила. Он

все время нервничал, мрачнел — там был один человек, которого я раньше любила. Маяковский об этом знал и страшно вдруг заревновал к прошлому. Все хотел уходить, а я его удерживала.

На эстраде шла какая-то программа. Потом стали просить выступить Владимира Владимировича. Он пошел, но неохотно. Когда он был уже на эстраде, литератор М. Гальперин¹⁰ сказал: «Владимир Владимирович, прочтите нам заключительную часть из поэмы «Хорошо». Владимир Владимирович ответил:

— Гальперин, желая показать мощь своих познаний в поэзии, просит меня прочесть «Хорошо», но сейчас этой вещи читать не буду...

И он прочел вступление к поэме «Во весь голос». Прочитал необыкновенно сильно и вдохновенно. Впечатление его чтение произвело необыкновенное. После того, как он прочел, несколько секунд длилась тишина, так он потряс и раздавил всех мощью своего таланта и темперамента.

У обывателей тогда существовало мнение о Маяковском как о хулигане в отношении женщин. Помню, что, когда я стала с ним встречаться, многие «доброжелатели» отговаривали меня, убеждали, что он человек грубый, циничный и т. д. Конечно, это совершенно неверно. Такого отношения к женщине, как у Владимира Владимировича, я не встречала и не наблюдала никогда. Это сказывалось и в его отношении к Лиле Юрьевне и ко мне. Я не побоюсь сказать, что Маяковский был романтиком. Это не значит, что он создавал себе идеал женщины и фантазировал о ней, любя свой вымысел. Нет, он очень остро видел все недостатки, любил и принимал человека таким, каким он был в действительности. Эта романтичность никогда не звучала сентиментальностью.

Владимир Владимирович никогда не отпускал меня, не оставив какой-нибудь вещи «в залог», как он

говорил, — кольца ли, перчатки, платка... Как-то подарил мне шейный четырехугольный платок и разрезал его на два треугольника. Один должна была всегда носить я, а другой он набросил в своей комнате на Лубянке на лампу и говорил, что, когда он смотрит на лампу, ему легче: кажется, что часть меня с ним.

Как-то мы играли шутя вдвоем в карты, и я проиграла ему. Владимир Владимирович потребовал с меня бокалы для вина. Я подарила ему дюжину. Бокалы оказались хрупкими, легко бились. Скоро осталось только два бокала. Маяковский очень суеверно к ним относился, говорил, что если хоть один из них разобьется — мы расстанемся. Он всегда сам бережно их мыл и осторожно вытирал.

Однажды вечером мы сидели на Лубянке, Владимир Владимирович сказал: «Норочка, ты знаешь, как я к тебе отношусь. Я хотел тебе написать стихи об этом, но я так много писал о любви — уже все сказано». Я ответила, что не понимаю, как может быть сказано раз и навсегда все о всем. По-моему, к каждому человеку должно быть новое отношение, если это любовь. И другие, свои слова.

Он стал читать мне все свои любовные стихи. Потом заявил вдруг: «Дураки! Маяковский исписался, Маяковский только агитатор, только рекламник!.. Я же могу писать о луне, о женщине. Мне ли не писать об этом. Но не время же теперь еще. Теперь еще нужны гвозди, займы. А скоро опять нужно будет писать о любви».

В театре у меня было много занятий. Мы репетировали пьесу, готовились к показу ее Владимиру Ивановичу Немировичу-Данченко. Очень все волновались, работали усиленным темпом и во вне репетиционное время. Я виделась с Владимиром Владимировичем мало, урывками. Я волновалась, думала только об этом. Владимир Владимирович огорчался тем, что я

от него отделилась. Требовал моего ухода из театра, развода с Яншиным. От этого мне стало очень трудно с ним, и я начала избегать встреч. Однажды сказала, что у меня репетиция, а сама ушла с кем-то в кино. Владимир Владимирович узнал об этом — он позвонил в театр, и там сказали, что меня нет. Тогда он пришел к моему дому поздно вечером, ходил под окнами. Я позвала его домой, он сидел мрачный, молчал.

На другой день он пригласил нас с мужем в цирк: ночью репетировали его пантомиму о 1905 годе¹¹. Целый день мы не виделись и не смогли объясниться. Когда мы с Яншиным приехали в цирк, он уже был там. Сидели в ложе. Владимиру Владимировичу было очень не по себе. Вдруг он вскочил и сказал Яншину:

— Михаил Михайлович, мне нужно поговорить с Норой... Разрешите, мы немножко покатаемся на машине?..

Яншин принял это просто и остался смотреть репетицию, а мы уехали на Лубянку. Там он сказал, что не выносит лжи, никогда не простит мне этого, что между нами все кончено. Отдал мне мое кольцо, платочек, сказал, что утром один бокал разбился. Значит, так нужно. И разбил об стену второй бокал. Тут же он наговорил мне много грубостей. Я расплакалась. Владимир Владимирович подошел ко мне, и мы помирились.

Когда мы выехали обратно в цирк, оказалось, что уже светает. В цирке я с волнением подошла к ложе, но, к счастью, Яншин не заметил, что мы так долго отсутствовали.

Возвращались из цирка уже утром. Было совсем светло, и мы были в чудесном радостном настроении. Но примирение это оказалось недолгим — на другой же день опять были ссоры, мучения, обиды.

Так как Владимир Владимирович все равно предполагал отправиться в Ялту, я просила уехать до тех пор, пока не пойдет премьера спектакля «Наша моло-

дось», в котором я участвовала. Говорила, что мы расстанемся не надолго, отдохнем друг от друга и тогда решим нашу дальнейшую жизнь.

Последнее время, после моего обмана с кино, Владимир Владимирович не верил мне ни минуты. Без конца звонил в театр, проверял, что я делаю, ждал у театра и никак, даже при посторонних, не мог скрыть своего настроения. Часто звонил и ко мне домой, мы разговаривали по часу. Телефон был в общей комнате, я могла отвечать только «да» и «нет». Он говорил много и сбивчиво, упрекал, ревновал. Много было очень несправедливого, обидного. Яншин, до этого сравнительно спокойно относившийся к нашим встречам, начал высказывать мне свое недовольство. Я жила в атмосфере постоянных упреков со всех сторон.

В это время между нами произошла очень бурная сцена. Началась она с пустяков, сейчас точно не могу вспомнить подробностей. Он был несправедлив ко мне, очень меня обидел. Мы оба были очень взволнованы и не владели собой. Я почувствовала, что наши отношения дошли до предела. Я просила его оставить меня, и мы на этом расстались, во взаимной вражде. Это было 11 апреля.

12 апреля у меня был дневной спектакль. В антракте меня вызывают по телефону. Говорит Владимир Владимирович. Очень взволнованный, он сообщает, что сидит у себя на Лубянке, что ему очень плохо... И даже не сию минуту плохо, а вообще плохо в жизни... Только я могу помочь ему, говорит он.

Вот он сидит за столом, его окружают предметы — чернильница, лампа, карандаши, книги и прочее. Есть я — нужна чернильница, нужна лампа, нужны книги... Меня нет — и все исчезает, все становится ненужным. Я успокаивала его, говорила, что я тоже не могу без него жить, что хочу видеть, что приду к нему после спектакля. Владимир Владимирович сказал:

— Да, Нора, я упомянул вас в письме к правительству, так как считаю вас своей семьей. Вы не будете протестовать против этого?...

Я ничего не поняла тогда и на его вопрос ответила:

— Боже мой, Владимир Владимирович, я ничего не понимаю из того, о чем вы говорите! Упоминайте, где хотите!..

После спектакля мы встретились у него. Владимир Владимирович, очевидно, готовился к разговору со мной. Он составил даже план этого разговора и все сказал мне, что наметил в плане.

Потом оба мы смягчились. Владимир Владимирович сделался совсем ласковым. Я просила его не тревожиться из-за меня, сказала, что буду его женой. Я это тогда твердо решила. Но нужно, сказала я, обдумать, как лучше, тактичнее расстаться с мужем. Я попросила его дать мне слово, что он пойдет к доктору, так как, конечно, он был в эти дни в невменяемом, болезненном состоянии. Просила его уехать хотя бы на два дня куда-нибудь в дом отдыха. Я помню, что отметила эти два дня у него в записной книжке. Эти дни были 13 и 14 апреля.

Владимир Владимирович и соглашался и не соглашался. Был очень нежный, даже веселый. За ним заехала машина, чтобы вести его в Гендриков. И я поехала домой обедать, он довез меня. По дороге мы играли в английскую игру, которой он меня научил: кто первый увидит человека с бородой, должен сказать «борода». В это время я увидела спину Льва Александровича Гринкруга, входящего в ворота своего дома. Я сказала: «Вот Лев идет». Владимир Владимирович стал спорить. Я говорю: «Хорошо, если это Лева, то ты будешь отдыхать 13-го и 14-го. И мы не будем видеться».

Он согласился. Мы остановили машину и побежали, как безумные, за Левой. Оказалось, это он.

Лев Александрович был крайне удивлен тем, что мы такие взволнованные бежали за ним.

У двери моего дома Владимир Владимирович сказал:

— Ну, хорошо, даю вам слово, что не буду вас видеть два дня. Но звонить вам все же можно?

— Как хотите, — ответила я, — а лучше не надо...

Он обещал, что пойдет к доктору и будет отдыхать эти два дня.

Вечером я была дома. Владимир Владимирович позвонил. Мы долго и очень хорошо разговаривали. Он сказал, что пишет, что у него хорошее настроение, что понимает теперь: во многом он не прав, и даже лучше, пожалуй, отдохнуть друг от друга два дня...

13 апреля днем мы не виделись. Он позвонил в обеденное время и предложил ехать на Бега. Я сказала, что поеду на Бега с Яншиным и мхатовцами, потому что мы уже сговорились ехать, а его прошу, как мы условились, не видеть меня и не приезжать. Он спросил, что я буду делать вечером. Я сказала, что меня звали к Катаеву, но что я не пойду к нему и, что буду делать, не знаю еще.

Вечером я все же поехала к Катаеву с Яншиным. Владимир Владимирович оказался уже там. Он был очень мрачный и пьяный. При виде меня он сказал:

— Я был уверен, что вы здесь будете!

Я разозлилась на него за то, что он приехал меня выслеживать. А Владимир Владимирович сердился, что я обманула его и приехала. Мы сидели вначале за столом рядом и все время объяснялись. Положение было очень глупое, так как объяснения наши вызывали большое любопытство среди присутствующих, а народу было довольно много. Я помню Катаева, его жену, Юрия Олешу, Ливанова¹².

Мы стали переписываться в записной книжке Владимира Владимировича. Много было написано обид-

ного, много оскорбляли друг друга, оскорбляли глупо, досадно, ненужно¹³.

Потом Владимир Владимирович ушел в другую комнату, сел у стола и все продолжал пить шампанское. Я пошла за ним, села рядом с ним на кресло. Он сказал: «Уберите ваши паршивые ноги». Сказал, что сейчас в присутствии всех скажет Яншину о наших отношениях. Был очень груб, всячески оскорблял меня. Меня же его грубость и оскорбления вдруг перестали унижать и обижать. Я поняла, что передо мной несчастный, совсем больной человек, который может вот тут сейчас наделать страшных глупостей, может устроить ненужный скандал, вести себя недостойно самого себя, быть смешным в глазах этого случайного для него общества. Конечно, я боялась и за себя, боялась жалкой, унижительной роли, в которую поставил бы меня Владимир Владимирович, огласив наши с ним отношения.

Но, повторяю, если в начале вечера я возмущалась Владимиром Владимировичем, была груба с ним, старалась оскорбить его, то теперь, чем больше он наносил мне самых ужасных невыносимых оскорблений, тем дороже он мне становился. Меня охватила такая нежность и любовь к нему. Я уговаривала его, умоляла успокоиться, была ласкова, нежна. Но нежность моя раздражала его и приводила в неистовство, в иступление.

Он вынул револьвер. Заявил, что застрелится. Грозил, что убьет меня. Наводил на меня дуло. Я поняла, что мое присутствие только еще больше нервит его. Больше оставаться я не хотела и стала прощаться. За мной потянулись все.

В передней Владимир Владимирович вдруг очень хорошо на меня посмотрел и попросил:

— Норочка, погладьте меня по голове. Вы же очень, очень хорошая...

Когда мы сидели еще за столом, во время объяснения, у Владимира Владимировича вырвалось: «О, Господи!»

Я сказала:

— Невероятно, мир перевернулся! Маяковский призывает Господа!.. Вы разве верующий?!

Он ответил:

— Ах, я сам ничего не понимаю теперь, во что я верю!..

Эта фраза записана мною дословно.

Домой мы шли пешком, он провожал нас до дому. Опять стал мрачным, опять стал грозить, говорил, что скажет все Яншину сейчас же.

Шли мы вдвоем с Владимиром Владимировичем. Яншин же шел, по-моему, с Регининым¹⁴. Мы то отставали, то убегали вперед. Я была почти в истерическом состоянии. Маяковский несколько раз обращался к Яншину: «Михаил Михайлович!» Но на вопрос «Что?» он отвечал: «Нет, потом».

Завтра в 10.30 у меня был показ пьесы Немировичу-Данченко. Мы условились что Владимир Владимирович заедет за мной в 8 утра. Потом он все-таки сказал Яншину, что ему необходимо с ним завтра поговорить, и мы расстались.

Это было уже 14 апреля.

Утром Владимир Владимирович заехал в 8.30, заехал на такси, так как у его шофера был выходной день. Выглядел Владимир Владимирович очень плохо.

Был яркий солнечный замечательный апрельский день. Совсем весна.

— Как хорошо, — сказала я. — Смотри, какое солнце. Неужели сегодня опять у тебя вчерашние глупые мысли? Давай, бросим все это, забудем... Даешь слово?..

Он ответил:

— Солнце я не замечаю, мне не до него сейчас. А глупости я бросил. Я понял, что не смогу этого

сделать из-за матери. А больше до меня никому нет дела. Впрочем, обо всем поговорим дома...

Я сказала, что у меня в 10.30 репетиция с Немировичем-Данченко, очень важная, что я не могу опоздать ни на минуту.

Приехали на Лубянку, и он велел такси ждать. Его очень расстроило, что я опять тороплюсь. Он стал нервничать, сказал:

— Опять этот театр! Я ненавижу, брось к чертям! Я не могу так больше, я не пущу тебя на репетицию и вообще не выпущу из этой комнаты!..

Он запер дверь и положил ключ в карман. Он был так взволнован, что не заметил, что не снял пальто и шляпу.

Я сидела на диване. Он сел около меня на пол и плакал. Я сняла с него пальто и шляпу, гладила его по голове, старалась всячески успокоить.

Раздался стук в дверь, это книгоноша принес Владимиру Владимировичу книги, собрание сочинений Ленина. Книгоноша, очевидно, увидев, в какую минуту он пришел, сунул книги куда-то и убежал.

Владимир Владимирович быстро заходил по комнате. Почти бегал. Требовал, чтоб я с этой минуты, без всяких объяснений с Яншиным, осталась с ним здесь, в этой комнате. Ждать квартиры нелепость, говорил он. Я должна бросить театр немедленно же. Сегодня на репетицию мне идти не нужно. Он сам зайдет в театр и скажет, что я больше не приду. Театр не погибнет от моего отсутствия. И с Яншиным он объяснится сам, а меня больше к нему не пустит. Вот он сейчас запрет меня в этой комнате, а сам отправится в театр, потом купит все, что мне нужно для жизни здесь. Я буду иметь все решительно, что имела дома. Я не должна пугаться ухода из театра. Он своим отношением заставит меня забыть театр. Вся моя жизнь, начиная от самых серьезных сторон ее и кончая складкой на чулке, будет для него предметом

неустанного внимания. Пусть меня не пугает разница лет. Ведь может же он быть молодым, веселым. Он понимает: то, что было вчера, отвратительно. Но больше это не повторится никогда. Вчера мы оба вели себя глупо, пошло, недостойно. Он был безобразно груб и сегодня сам себе мерзок за это. Но об этом мы не будем вспоминать. Вот так, как будто ничего и не было. Он уничтожил уже листки записной книжки, на которых шла наша вчерашняя переписка, наполненная взаимными оскорблениями.

Я ответила, что люблю его, буду с ним, но не могу остаться здесь сейчас. Как уйти, ничего не сказав Яншину, и остаться у другого? Я по-человечески люблю и уважаю мужа и не могу поступить с ним так. И театра я не брошу и никогда не смогла бы бросить. Неужели Владимир Владимирович сам не понимает, что, если я уйду из театра, откажусь от работы, в жизни моей образуется такая пустота, которую заполнить будет невозможно? Это принесет большие трудности в первую очередь ему же. Познавши в жизни работу и, к тому же, работу такую интересную, как в Художественном театре, невозможно сделаться только женой своего мужа, даже такого большого человека, как Маяковский. Вот и на репетицию я должна и обязана пойти, и я пойду на репетицию, потом домой, скажу все Яншину и вечером перееду к нему совсем.

Владимир Владимирович был несогласен с этим. Он продолжал настаивать на том, чтобы все было немедленно или совсем ничего не надо. Еще раз я ответила, что не могу так. Он спросил:

— Значит, пойдешь на репетицию?

— Да, пойду!

— И с Яншиным увидишься?

— Да.

— Ах, так! Ну, тогда уходи, уходи немедленно, сию же минуту...

Я сказала, что мне рано на репетицию, что я пойду через двадцать минут.

— Нет, нет, уходи сейчас же.

Я спросила:

— Ну, увижу тебя сегодня?

— Не знаю.

— Но ты хотя бы позвонишь мне сегодня в пять?

— Да, да, да.

Он быстро забежал по комнате, подбежал к письменному столу. Я услышала шелест бумаги, но ничего не видела, так как он загораживал собой письменный стол. Теперь мне кажется, что, вероятно, он оторвал 13-е и 14-е число из календаря.

Потом Владимир Владимирович открыл ящик, захлопнул его и опять забежал по комнате.

Я сказала:

— Что же, вы не проводите меня даже?..

Он подошел ко мне, поцеловал и сказал совершенно спокойно и очень ласково:

— Нет, девочка, иди одна... Будь за меня спокойна...

Улыбнулся и добавил:

— Я позвоню. У тебя есть деньги на такси?

— Нет.

Он дал мне двадцать рублей.

— Так ты позвонишь?

— Да, да.

Я вышла, прошла несколько шагов до парадной двери. Раздался выстрел. У меня подкосились ноги, я закричала и заметалась по коридору. Не могла заставить себя войти.

Мне казалось, что прошло очень много времени, пока я решилась войти. Но, очевидно, я вошла через мгновение: в комнате еще стояло облачко дыма от выстрела.

Владимир Владимирович лежал на ковре, раскинув руки. На груди было крошечное кровавое пятнышко.

Я помню, что бросилась к нему и только повторяла бесконечно:

— Что вы сделали? Что вы сделали?

Глаза у него были открыты, он смотрел прямо на меня и все силился приподнять голову. Казалось, он хотел что-то сказать, но глаза были уже не живые. Лицо, шея были красными, краснее, чем обычно. Потом голова упала, и он стал постепенно бледнеть.

Набежал народ. Кто-то звонил, кто-то мне сказал:

— Бегите встречать карету скорой помощи!

Я ничего не соображала, выбежала во двор, вскочила на ступеньку подъезжающей кареты, опять вбежала по лестнице. На лестнице уже кто-то сказал:

— Поздно. Умер.

Много раз я, понимая, какая ответственность лежит на мне как на человеке, знавшем Владимира Владимировича в последний год его жизни и вошедшем в его жизнь, пыталась вспомнить свои встречи с ним, его мысли, слова, поступки. Но катастрофа 14 апреля была для меня так неожиданна, что привела меня сперва в состояние полнейшего отчаяния и иступления. Отчаяние это закончилось реакцией какого-то тупого безразличия и провалов памяти. Я мучительно заставляла себя вспомнить его лицо, походку, события, в которых он принимал участие, и не могла. Была полнейшая пустота.

Только теперь, через восемь лет, я могу, хоть и обрывочно, восстановить этот год, с 13 мая 1929 года по 14 апреля 1930 г.

Этот год самый несчастный и самый счастливый в моей жизни. Я хотела в этих заметках восстановить и вспомнить ощущение той Полонской, которой я была в то время, ощущение той девочки двадцати одного года, которая не знала жизни и людей и на долю которой выпало огромное счастье близко узнать замечательного, громадного человека Маяковского.

Конечно, сейчас я все воспринимаю совсем по-другому. И как мучительно мне хочется повернуть время назад, вернуть себе этот год! Конечно, все было бы иначе.

Долго после 14 апреля я, просыпаясь по утрам, думала: «Нет, это сон». Потом вдруг отчетливо выплывало: «Маяковский умер». И я опять начинала воспринимать это как факт, впервые вошедший в мое сознание.

Маяковский умер.

И как не понять, будучи в этот период таким близким для него человеком, как не понять, что он явно находился в болезненном состоянии временного затмения и только в этом состоянии он мог выстрелить в себя.

А я говорю себе: все же нельзя было поверить, чтобы такой человек как Маяковский, с его верою в конечное торжество идей, за которые он боролся, с его дарованием, с его положением в литературе и стране, пришел к такому концу.

Что могли значить все трещины, какие встречались на его пути, в сравнении с тем огромным, что ему дано было в жизни! И когда он заговорил о самоубийстве — 13 апреля у Катаева, — я ни на секунду не могла поверить, что Маяковский способен на это. Я видела, что он находился в невменяемом состоянии, но была убеждена, что он пугает меня, как девочку, доведенную всей цепью обстоятельств до предела, запугивает меня, чтобы ускорить развязку наших отношений.

А разговору 12 апреля о «включении меня в семью» я просто не придавала значения, не поняла его...

Конечно, не надо забывать, что я не была свидетелем, а была действующим лицом драмы. И если я причиняла ему боль и обиды, то мне приходилось терпеть от него боль и обиды еще большие. И вза-

имные упреки, ссоры откладывались в душе невысказанными, не изжитыми...

Жизни я не знала. Близких людей в тот период у меня не было. Я ото всех отошла. Во-первых, потому, что моя жизнь была полна до края Маяковским, и, во-вторых, благодаря сложности моего положения, я ни с кем не могла говорить о своих отношениях с Владимиром Владимировичем. Все приходилось переживать одной.

Тогда, весной тридцатого года, существовали два человека, оба живые, оба с естественным самолюбием, со своими слабостями и недостатками. Конечно, я отлично понимала, что я сама и рядом с огромной фигурой Маяковского не представляю никакой ценности. Но ведь это легче всего установить с позиций настоящего.

Владимир Владимирович в своем предсмертном письме упомянул меня среди членов своей семьи и поручил меня заботам правительства. Я знаю, что многие его за это осуждали. Обращение к правительству, так же, как и самый факт самоубийства, рассматривался некоторыми как заранее продуманный способ отмщения мне со стороны Владимира Владимировича за неудачную его любовь ко мне.

Я не могу согласиться с тем, что Маяковский называл меня в своем завещании для того, чтобы отомстить мне в обычном смысле этого слова. Конечно, это сделал человек с кровью кипучей, со страстями гиперболическими, доведенными в то время всеми обстоятельствами, а не только течением нашей любви, до предела.

В этом письме появляется Маяковский не святым всепрощающим добродетельным лицемером, говорящим своей возлюбленной: «Я умираю, будь счастлива с другим». Маяковский хотел, чтобы я была счастлива, но с ним и только с ним, ни с кем больше.

Никак он не заботился о сохранении приличий, о сохранении моего семейного быта. Наоборот, он хотел все взорвать, разгромить, уничтожить, перевернуть. Он хотел отрезать мне все пути, даже и после своей смерти, в мой прежний быт.

Если все это можно назвать мстью, тогда он мстил.

Маяковский, живой, раздраженный, полный человеческих страстей, в минуту слабости решаясь убить себя, вписывает мое имя в завещание и, наверное, ощущает торжествующую злую радость — ведь тем, что он объявляет о наших отношениях, признает меня своей близкой, тем самым он метит в карточный домик видимого моего благополучия.

Было бы нелепо, если бы я этим хотела сказать, что Маяковский застрелился, чтобы разрушить мой семейный быт. Но в комплексе причин, которые привели его к гибели, было и то недоразумение между нами, которое он принял за разрыв.

Своим письмом Маяковский навсегда соединяет меня с собой. Но в этой «мести» столько же ярости, сколько желания оградить меня от всех нареканий, которые могут возникнуть после его смерти при этих обстоятельствах. Причисление меня к его семье есть как бы просьба, чтобы меня ни в чем не обвиняли, так как я для него остаюсь дорогой. И еще — желание сделать меня материально ни от кого независимой. Вот какова была месть этого большого замечательного человека.

Когда я прочла его предсмертное письмо, я поняла, что он прощает мне все причиненные боли и обиды. Я была бесконечно признательна ему за его заботу, за его прощение, за честь, которую он мне оказал, признав меня членом своей семьи.

Воля покойного в отношении меня не была исполнена.

15-го или 16-го апреля я была у Лили Юрьевны. У нас был очень откровенный разговор. Я рассказала ей все о наших отношениях с Владимиром Владимировичем, о 14-м апреля. Во время моего рассказа она часто повторяла: «Да, как это похоже на Володю...»

Лилия Юрьевна рассказала мне тогда о том, как он стрелялся из-за нее, но была осечка. Потом она сказала: «Я не могу обвинить вас».

В середине 1930 года мне позвонили из Кремля по телефону и попросили меня прийти. Я решила прежде посоветоваться с Лилей Юрьевной. Лилия Юрьевна всегда относилась ко мне очень хорошо, и я надеялась на ее помощь в этом трудном вопросе. Она сказала мне, чтобы я сама подумала и поступила по своей совести.

С одной стороны, мне казалось, что я не должна ради памяти Владимира Владимировича отказываться от него, потому что отказ быть членом его семьи является как бы отказом от него. Нарушая его волю и отвергая его помощь, я этим как бы зачеркну все, что было и что мне так дорого. А с другой стороны, я сомневалась в том, имею ли я право считать себя членом его семьи.

Так вот, ничего не решив, я отправилась в Кремль. Принял меня работник ЦИКа тов. Шибайло. Он сказал:

— Вот Владимир Владимирович сделал вас своей наследницей, как вы на это смотрите?

Я сказала, что это трудный вопрос, может быть, он поможет мне разобраться.

— А может быть, лучше хотите путевку куда-нибудь? — неожиданно спросил Шибайло.

Я была совершенно уничтожена таким грубым заявлением.

— А впрочем, думайте, это вопрос серьезный.

Так мы расстались.

После этого я еще раз была у тов. Шибайло, и мы тоже ни до чего не договорились.

После этого никто и никогда не говорил со мной об исполнении воли Владимира Владимировича в отношении меня.

Я любила Маяковского, и он любил меня.

От этого я никогда не откажусь.

1938 год

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Яковлева Татьяна Алексеевна (р. 1910), лирический адресат стихотворений Маяковского «Письмо к Татьяне Яковлевой» и «Письмо товарищу Кострову о сущности любви». В 1925 г. по вызову родных, эмигрировавших в 1920 г., уехала из СССР и осталась за границей. Маяковский познакомился с ней в Париже осенью 1928 г., предлагал стать его женой и уехать в Москву. В настоящее время Т. Яковлева-Либерман живет в США, по профессии дизайнер. Подробнее о Маяковском и Яковлевой см. «Русский литературный архив», Нью-Йорк, 1956, статья Р. О. Якобсона.
2. Инсценировка романа В. Кина «По ту сторону», посвященного последнему периоду гражданской войны на Дальнем Востоке. Автор инсценировки С. Карташёв, режиссер О. Литовцева, художественный руководитель постановки Вл. И. Немирович-Данченко. Премьера состоялась 15 мая 1930 г.
3. Каменский Василий Васильевич (1884—1961), поэт и драматург. В 1913-14 гг. вместе с Маяковским и Бурлюком ездил по городам России с чтением стихов, лекциями и докладами. Автор книг «Юность Маяковского», Тифлис, 1931; «Жизнь с Маяковским», М., 1940, переиздана на Западе — München, 1974.
4. Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874—1940), режиссер и актер, поставил пьесы Маяковского «Мистерия-буфф» (1918), «Клоп» (1929), «Баня» (1930). Был арестован 15 июня 1939 г. и погиб в застенках.
5. Райх Зинаида Николаевна (1894—1939), актриса, жена В. Э. Мейерхольда. Играла Фосфорическую женщину в спектакле по пьесе В. В. Маяковского «Клоп». Через несколько дней после ареста Мейерхольда была найдена в квартире мертвой: ей было нанесено семнадцать ножевых ран и выколоты глаза. Обстоятель-

ства ее смерти до сих пор неизвестны, расследования произведено не было.

6. Кирсанов Семен Исаакович (1906—1972), поэт. Встретился с Маяковским в 1924 г. в Одессе и стал его последователем. С 1925 г. печатался в журнале «ЛЕФ». Вместе с Маяковским выступал с чтением стихов в разных городах страны.
7. Асеев Николай Николаевич (1889—1963), поэт. С 1913 г. был знаком и дружил с Маяковским.
8. Выставка открылась 1 февраля 1930 г. и продолжалась до 22 февраля.
9. Гринкрug Лев Александрович (р. 1889), друг Маяковского и Брикoв с 1915 г., литературный редактор. В 1918 г. играл в фильме «Не для денег родившийся» по сценарию Маяковского (инсценировка «Мартина Идена» Джека Лондона); часто упоминается в письмах Маяковского.
10. Гальперин Михаил Петрович (1882-1944), драматург-либреттист и переводчик.
11. Пантомима-феерия («героическая мелоmима») О. Брика и В. Маяковского «Москва горит (1905 год)», поставленная на арене Первого Московского Госцирка в 1930 г. Премьера состоялась через неделю после смерти Маяковского.
12. Ливанов Борис Николаевич (1904—1972), актер МХАТ.
13. В. Катаев, вспоmиная Маяковского в тот вечер, пишет, что его «глаза были устремлены через стол на Нору Полонскую — самое последнее его увлечение, — совсем молоденькую, прелестную, белокурую, с ямочками на розовых щеках, в вязаной тесной кофточке с короткими рукавчиками — тоже бледно-розовой, джерси, — что придавало ей вид скорее юной спортсменки, чем пионки по пинг-понгу среди начинающих, чем артистки Художественного театра вспомогательного состава (...) С немного испуганной улыбкой она писала на картонках, выломанных из конфетной коробки, ответы на записки Маяковского, которые он жестом игрока в рулетку время от времени бросал ей через стол и, ожидая ответа, драл невычищенными ногтями пыльную шкуру медведя, «царапая логово двадцать когтей», как говорило в его до сих пор еще кровоточащей поэме «Про это». Картонные квадратики летали через стол над миской с варениками туда и обратно. Наконец, конфетная коробка была уничтожена. Тогда Маяковский и Нора ушли в мою комнату. Отрывая клочки бумаги от чего попало, они продолжали стремительную переписку, похожую на смертельную молчаливую дуэль. Он требовал. Она не соглашалась. Она требовала — он не соглашался. Вечная любовная дуэль. Впервые я увидел влюбленного Маяковского. Влюбленного явно, открыто, страстно. А может быть, он был просто болен и уже не владел своим сознанием. Всюду по квартире валялись картонные кусочки, клочки разор-

- ванных записок и яростно смятых бумажек. Особенно много их было в корзине под письменным столом». Валентин Катаев. Трава забвенья. Изд-во «Детская литература», М., 1967, сс. 192-193.
14. Регинин Василий Александрович (1883-1952), журналист.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АМНИСТИЯ

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сегодня, 12 октября 1981 г., Международная Амнистия объявляет, что она обратилась к иранскому премьер-министру Махдави-Кани с просьбой принять в Тегеране делегацию, которой поручено сделать все возможное для прекращения казней в Иране, к чему Международная Амнистия уже неоднократно призывала.

В настоящее время число казней, известное Международной Амнистии, превосходит 1800 только за последние четыре месяца, начиная с 20 июня 1981 г. В имеющихся данных о смертных казнях во всем мире в 1980 г. доля Ирана составляет 709 из общего числа 1229.

Известно, что с момента революции, с февраля 1979 г., в Иране казнено свыше 3350 человек. Это минимальная оценка основана на регистрации случаев, ставших известными за границей, — реальное число, по мнению МА, намного выше.

Международная Амнистия, противостоя смертной казни при всех обстоятельствах, отмечает, что очень многие из казненных были осуждены на процессах, не являющихся, с точки зрения международного права, справедливыми и беспристрастными. Она также обращает внимание общественно-го мнения на факт еще более тревожный: все чаще поступают известия о случаях массовых казней без всякого процесса.

Во время правления шаха Международная Амнистия неоднократно обращалась к общественному мнению с призывом о прекращении пыток, казней и других нарушений Прав Человека в Иране. Среди тех, кого она тогда защищала, находились и люди, ныне, после революции, пришедшие к власти в Исламской Республике.

*Международный Секретариат
Международной Амнистии, Лондон*

Звуковые барьеры радиовещания

Кирилл Хенкин

ЗАМЕТКИ О РАДИО СВОБОДА

Для нас, бывших советских граждан, Радио Свобода — дело почти личное. Часть нашего прошлого. Когда мы еще были *там* и слушали передачи западных радиостанций на русском языке, то, распределяя их по степени неприятия нелюбимой нами советской власти, ставили Радио Свободу на первое место.

Нам, естественно, казалось, что это *наша* станция, что она выражает *наши мысли*, что мы имеем на нее права. Выхав на Запад, мы часто продолжаем так думать.

Чтобы приблизиться к сути наших нынешних болезненных переживаний по поводу РС, следует прежде всего принять непреложный факт: это *американская* станция, которая отражала и отражает американскую точку зрения на советское общество, на внешнеполитические цели руководства СССР, на его методы достижения этих целей, на характер советских людей, на их возможные реакции. Когда это понимание, эти представления совпадают с нашими, у нас возникает чувство, что мы слышим близкий и понятный нам голос. Если наши оценки расходятся, происходит разрыв. С нами сегодняшними и вчерашними. То есть — со слушателями.

Видение Советского Союза, советского общества и советских людей никогда не было в США однородным. В этой области всегда существовало, грубо говоря, два направления, две школы: прагматическая, основанная на здравом смысле, и академическая, бравшая за основу научные методы исследования предмета. Радио Свобода создавалось и расцветало под знаком первой, чахло и вырождалось под знаком второй.

Продолжение дискуссии, начатой статьей С. Сабура в № 29.

* * *

Высаживаясь 6-го июня 1944 года на берегах Нормандии, союзники знали, что среди защитников Атлантического вала было немало добровольческих частей, состоявших из бывших советских военнопленных.

Специалисты психологической войны сочинили и разбросали над позициями остбатальонов листовки, обещавшие выходцам из далеких сибирских степей в случае сдачи немедленную отправку на родину.

После чего те дрались до последнего, подрывались на собственных гранатах, но в плен не сдавались...

Загадка русской души!

* * *

В книге «Легенда. Тайный мир Ли Харви Освальда» Эдвард Джей Эпстейн ссылается на бывшего начальника контрразведки ЦРУ Энглтона, считавшего, что дезинформацию Запада Москва всегда проводила по схеме «Треста». На территории СССР годами создавались фиктивные антисоветские центры, которые устанавливали связь с политическими центрами в эмиграции, а через них — с западными разведками. В обмен на информацию, которую поставляли эти контролируемые советской разведкой «очаги внутреннего сопротивления», западные компетентные органы платили деньги. Двенадцать западных разведок, десятилетиями питавшиеся этой липой, фактически оплачивали почти все расходы советской разведки за границей.

Дело, однако, не в деньгах. Деньги, в крайнем случае, можно перестать платить. Дело в том, что один и тот же прием повторялся — и всегда успешно — с минимальными вариациями, в течение десятилетий (он и сегодня повторяется, только чаще без помощи эмигрантских организаций), в том, что добытые через очередной «трест» сведения не отменялись, как дезинформация, а входили в золотой фонд познаний о Советском Союзе. Обидно отказываться от знаний, добытых с таким трудом и за такие деньги.

Короче: ко времени Второй мировой войны Запад о Советском Союзе не знал ничего. Точнее, знал то, что ему знать полагалось. Отлаженная десятилетиями машина

дезинформации работала четко. Да она и по сей день работает.

* * *

Плен, угон на работу, добровольный уход с отступающими немцами. К концу Второй мировой войны на территории Германии и оккупированных ею европейских стран оказалось около десяти миллионов советских граждан. Когда кончилась война, очень многие из них не захотели возвращаться домой.

В отличие от пореволюционной эмиграции, эти люди представляли не прошлое России, а ее настоящее. Они выросли, а подчас и родились при советской власти и были ее творением. До войны они работали во всех звеньях советской государственной машины и в партийном аппарате. Среди этой беженской массы были офицеры, актеры, председатели колхозов, инженеры, профессора, снабженцы и журналисты.

Поняв причины их трагически нелегкого выбора, можно было разгадать характер советского общества, движущие силы его внутренней и внешней политики, предугадать намерения СССР в отношении внешнего мира. Заглянуть, наконец, за железный занавес без помощи очередного «треста».

От такого понимания зависела будущая безопасность некоммунистического мира.

* * *

Знакомство со второй эмиграцией проходило под злобешней тенью Ялты. Там, среди прочего, было принято требование Сталина вернуть карательным органам всех бывших советских граждан.

Позже, правда, спохватились, выдали не всех.

Понять этих людей!.. К этому, в частности, призывал известный журналист и писатель Луи Фишер, корреспондент американских газет в Москве с 1922 по 1936 год, великолепно знавший язык, женатый на русской. Его сыновья получили образование в Москве. Он понимал, что к чему.

Луи Фишер собрал рассказы тринадцати беженцев и опубликовал их под названием «Тринадцать сбежавших».

Почти неотредактированные рассказы: офицер из крестьян, дочь «врага народа», бывший студент, колхозник... Срез советского общества.

Предисловие и послесловие, написанные Фишером, настолько совпадают с тем, что большинство из нас думает, что хочется все пересказать. Приведу основное.

«Рассказ тринадцати сбежавших, — пишет Фишер, — наглядно показывает, что будет с рядовым американцем, англичанином или французом, если в его стране будет установлен диктаторский строй».

И дальше: «Если бы по окончании войны два миллиона американских солдат вместо того, чтобы вернуться домой, к своим семьям, предпочли бы остаться в Германии, Италии или Японии, мы были бы обязаны спросить себя: все ли в порядке в Соединенных Штатах?»

Что же не в порядке в СССР, по мнению Луи Фишера, бывшего попутчика, прокоммуниста, пришедшего к ясному видению советской угрозы?

В частности: «Уже двадцать лет (это написано в 1945 году) советская психология — это военная психология. От каждого советского гражданина требуется и в мирное время быть солдатом».

Кроме тех тринадцати, которые согласились написать свою историю, Луи Фишер опросил сотни беженцев. И пришел к выводу, что порвать со своей страной их заставил строй, его военная направленность, полное презрение к человеку, который всего лишь материал для осуществления сверхзадачи покорения мира.

Из этих простых положений и рождалась концепция, которую я назвал бы прагматической.

Чтобы Запад, не мешкая, понял, какая опасность ему угрожает, Луи Фишер призывал начать изучать массу беженцев из Советского Союза, чтобы через них понять суть советской системы.

*
*
*

Дело изучения беженцев из Советского Союза оказалось в руках людей, мысливших совершенно иначе. Эти специалисты не унижались до постановки вопросов, навеянных здра-

вым смыслом. Да и что это такое — здравый смысл? Как научно определить это понятие?

Самая крупная затея по изучению беженской массы вошла в историю под названием Гарвардской экспедиции. Тысячи людей ответили на сто пятьдесят два вопроса, подготовленные американскими учеными. Результат опроса должен был дать психологический и социологический портрет советского человека, гражданина тоталитарного государства.

Поскольку, по мнению руководителей этой затеи, политика несовместима с наукой, любые политические вопросы были исключены. От опрашиваемых требовались факты, только факты. Даже не факты, которые указывались в самих вопросах, а лишь их подтверждение или отрицание. «Да» или «нет».

Был еще априорный посыл: советское общество — такое же индустриальное общество, как всякое другое. Лишь с более высоким уровнем социальных благ.

За доказательство этого вполне ясного положения принялись методично.

Беженцам, которых только что отлавливали и выдавали советским карательным органам, гарантировали анонимность. Но на всякий случай *сорок один* вопрос из *ста пятидесяти* двух имел только одно назначение — точно установить личность опрашиваемого.

Например: «Последнее звание в Красной Армии? Когда и где получил? Где и когда учились? Профессия жены? Где училась? Сколько лет детям? Были ли вы арестованы? Где, когда?»

Чтобы определить характер покинутого беженцем общества, были другие вопросы: «Когда вы покинули Советский Союз, было ли там больше сельскохозяйственных машин, чем двадцать пять лет тому назад? Было ли больше школ? Стало ли меньше неграмотных?» и т. д. Отвечать, разумеется, надо было «да» или «нет». Не комментируя.

Поскольку по западным критериям одним из главных условий демократии является свобода и правдивость прессы, был такой вопрос: «Согласны ли вы с утверждением, что советская печать и радио *никогда* не говорят правды?» Не пускаясь в ненужные оценочные суждения, опрашиваемый имел возможность написать «не согласен» (существуют ме-

теосводки, репортажи о футболе, хроника, программы кино и театров) и признать, таким образом, что обвинение советской печати в неправдивости — сущая ложь, либо, написав «согласен», попасть в категорию лгунов и патологических антисоветчиков. Последнее же было опасно, ибо степень сотрудничества с немцами определялась тогда по накалу антисоветских настроений, и опрашиваемого могли, чего доброго, выдать НКВД. К тому времени прекратились массовые выдачи, но не индивидуальные. А выдачами и опросами занимались очень часто одни и те же люди.

Руководители Гарвардской экспедиции, зная, что опрашиваемые вынуждены притворяться и затушевывать свою неприязнь к советской власти, на всякий случай составляли вопросы с учетом антисоветских настроений и вносили соответствующую поправку при обработке ответов. Чтобы личные мотивы, чаще всего преступные, заставившие беженца не вернуться в СССР, не замутняли истины относительно страны, осуществившей самую светлую мечту человечества.

Отвечая «да» или «нет», опрашиваемый поневоле признавал за советским строем всевозможные заслуги. Он был вынужден даже хвалить партию (о Ленине я уже не говорю): «В любом обществе каждая группа населения получает от общества вознаграждение соответственно приносимой ею пользе. Считаете ли вы, что коммунисты в СССР получают: столько, сколько они заслуживают, больше, чем они заслуживают, или меньше, чем они заслуживают?». Как видите, выбор широк.

Но поскольку какие-то нотки антисоветизма все же проскальзывали в ответах, руководители экспедиции ввели еще одну поправку в окончательные выводы, взяв за постулат, что беженцы считают американцев антисоветчиками и в своих ответах подлаживаются. На самом же деле они любят советскую власть.

*
*
*

Я не случайно вспоминаю о Гарвардской экспедиции в связи с Радио Свобода. На основе трудов экспедиции писались монументальные исследования, становилась современная советология, по ее результатам по сей день пишутся

курсовые работы и диссертации. Среди ветеранов станции есть люди, работавшие в этой экспедиции.

Труды экспедиции положили начало научному изучению советского слушателя. Сотрудник станции, посвятивший долгие годы именно этой работе, сказал мне в частной беседе: «Методы с тех пор стали менее примитивны. Но по сути ничего со времен Гарвардской экспедиции не изменилось. Неправильно сконструированную машину вы можете сколько угодно чинить и перекрашивать — она никогда не будет правильно работать».

Это не мешает моему собеседнику, пожелавшему остаться неизвестным, писать отчеты, основанные на обследованиях, проведенных все тем же, с его же точки зрения порочным, способом, и ставить на них свою подпись. После чего отчеты принимаются к исполнению.

Итак, когда в 1953 году была создана радиостанция «Освобождение», ставшая позже Радио Свобода, она опиралась как бы на две взаимоисключающие друг друга основы: прагматическое понимание советской угрозы, очевидной, что называется, и ежу, и на научное изучение советской системы (зарождавшуюся тогда советологию), которое такое прагматическое понимание фактически исключало. И исключает.

Прагматики в лице ЦРУ, понимавшие на основании очевидных фактов, что Советский Союз хочет подмять под себя весь мир, создали станцию, которая должна была работать, условно говоря, «на разложение потенциального противника». Людям, научно заставлявшим беженцев из СССР признавать — не мытьем, так катаньем — заслуги товарища Ленина и коммунистической партии, такая затея всегда казалась пустой и вредной.

Эти две тенденции все время боролись за контроль над станцией. Несколько упрощая, можно сказать, что, пока станция оставалась в ведении ЦРУ, она была жизнеспособной.

Прежде всего, на первых порах среди американских администраторов оказалось несколько человек, приблизительно понимавших задачи станции и в силу своей профессиональной принадлежности способных мыслить здраво. Отсюда, как логическое следствие, был подбор второго эшелона сотрудников из русских и из других национальностей.

Этот подбор был сравнительно удачен хотя бы потому, что проводился до создания станции. Людей часто брали на работу на основании их профессиональных качеств, проявленных *вне* станции, то есть соответственно иным, не внутри-станционным критериям оценки. Выбор не обязательно определялся нравами и порядками, постепенно установившимися на РС в последующие годы.

* *
 *

Любая радиостанция может быть либо коммерческой, либо политической. Все остальное лишь оттенки, камуфляж и лицемерие.

Коммерческая станция, привлекая слушателя качеством своих материалов, живет рекламой, которая и приносит ей основной доход.

Станция политическая стремится привлечь слушателя качеством передач, чтобы убедить его в правильности своей политической концепции или правильности политики страны, которую она представляет.

Схема — как любая схема — упрощена. Суть же в том, что любое средство массовой информации нуждается в четкой цели. (Тешить тщеславие слушателя или читателя, делая вид, что ему даются лишь голые факты, а выводы делает он сам, — это, разумеется, всего лишь прием. Подчас, кстати, очень успешный.)

Когда цель исчезает, средство массовой информации теряет свою жизнеспособность. Коммерческая радиостанция в таком случае прогорает и закрывается. А политическая часто продолжает жить по инерции любого бюрократического учреждения, со всеми его особенностями, то есть лишенное критериев оценки работы.

В учреждении (радиостанции) политическом критерий оценки продукции может быть отчасти заменен критерием соответствия поставленным целям. Нельзя сказать, что хорошо мне известная служба иновещания Московского радио привлекает миллионы зарубежных слушателей высоким качеством своих программ. Чего нет — того нет. Но передачи, их содержание, стиль, манера подачи — все это оценивается по соответствию политическим целям. Отсюда хоть какая-то стройность, единый стиль.

Если сегодня передачи Радио Свобода не имеют лица, если в них звучат то «фрейлехс», то «Боже, царя храни», то отдаленные аккорды «Интернационала», не говоря уже о потоке всякой ерунды, которую никуда не отнесешь, то причина главным образом в том, что уже давно никто не помнит, для чего станция была создана.

Нет лица, нет и голоса. Любую крупную станцию вы узнаете с первого звука. Включите Москву. Не ошибетесь. Голоса подобраны по канону, дикторское чтение единой школы. Манера чтения и подачи материала может нравиться или не нравиться, но есть определенный стиль. Он есть у Би-Би-Си, даже у русской службы, есть, в меньшей мере, у Голоса Америки. А Радио Свобода — как повезет. Включившись невзначай, вы иногда подумаете, что поймали какую-то станцию для интеллектуалов, изысканно вещающую о высоких материях. А через двадцать-тридцать минут раздается жлобский говорок, хоть козла садись с ним забивать, то пахнет нафталином, то зазвучит гарнизонный театр, а то и вовсе Радио Бердичев!

Но откуда взяться стилю? Люди, проработавшие долгие годы в программно-политическом отделе, то есть в отделе цензуры и политического контроля, говорили мне (разумеется, неофициально и с условием, что я их не буду называть), что всякие «Политические руководства» — чистая фикция. В них отсутствует именно *руководство*. Никто из начальства толком не знает, зачем станция существует, в чем ее цель.

Периодически разоблачают ту или иную «вредную тенденцию». Это может быть великорусский шовинизм, сионизм, просоветское звучание, антисоветский тон, бездумная развлекательность. Все это существует одновременно (за исключением разве антисоветского звучания — за этим следят строже всего), но нападают обычно на что-то одно. Причины понятны. Ударяя по той или иной передаче или категории передач, ударяют по тому или иному лицу, за данную передачу отвечающему. За этими высокопринципиальными спорами стоят вполне серьезные, заслуживающие уважения мотивы: должности, оклады, влияние, связи наверху.

Иногда разноречивой бывает от желания быть объективным. Пример. По случаю какой-то очередной брежневской

даты, один сотрудник надумал составить на основании официальных документов и всяческих мемуаров передачу, из которой напрашивался бы вывод, что Леонид Ильич Брежнев — фигура, как полководец, скромная. Что он не Суворов и не Клаузевиц. Передача на тринадцать минут была с большим скрипом разрешена, но для равновесия дали вторую передачу, на девятнадцать минут, полностью составленную по советским материалам, которая, без всякой иронии, славословила юбиляра. Из второй передачи было ясно, что Леонид Ильич — именно Суворов и Клаузевиц. А заодно и Добрыня Никитич. Обе передачи шли, разумеется, в один и тот же день.

Попадись какому-нибудь американскому критику первая передача, он сказал бы, что станция занимается неуместным зубоскальством и оскорбляет советского слушателя, иронизируя по адресу его любимого вождя, человека, который не только возглавил советские войска в Отечественную войну и привел их к победе, но еще и олицетворяет в глазах всего мира дух разрядки и борьбу за мир. А слушатель девятнадцатиминутной передачи решил бы, что поймал Московское радио!

«Чтобы завоевать кредит доверия у нашего слушателя, нам следует больше отдавать должное успехам советского руководства и искренности его усилий в борьбе за мир», — так писал в директивном документе один из руководителей РС.

Задуманная когда-то как орудие политической борьбы, станция оказалась постепенно под прямым или косвенным контролем людей, отрицающих такой подход к ее задачам. Кроме того, она во многом зависит от людей малосведущих.

Так, многолетним консультантом станции, дающим советы относительно содержания и формы передач, поучающим, что и как следует говорить советскому слушателю, выступает человек, который, по собственному его признанию, не подозревал о существовании в СССР такого института, как номенклатура, пока в 1981 году не прочитал книгу Восленского.



Отсутствие определенной цели, политической линии и критериев оценки работы формирует (деформирует) структуру станции соответственно законам самонастраивающегося, замкнутого на себя бюрократического аппарата.

Отсюда следствия.

Полное преобладание административной работы над работой творческой. Почти не утрируя, можно сказать, что вещание, как таковое, передача материалов в эфир является лишь досадной обузой.

Выдвижение на руководящие посты людей не очень или вовсе не творческих стало законом. По элементарной схеме: не может писать — назначим редактором. Плохо редактирует? Не беда, пусть будет старшим редактором. Не получилось, попробуем на общем руководстве. Нежелание называть имена мешает мне конкретно указать на пример человека, который по признаку дух захватывающей бездарности и лени вознесся до начальника программного отдела Радио Свобода. (Еще до объединения ее с Радио Свободная Европа.)

Но одной бездарности, разумеется, мало. Необходима еще и личная преданность и некоторые другие ценные качества.

Поскольку владение пером, способность политического анализа, вкус, умение прочитать свой материал у микрофона, культура — короче говоря, качества хорошего журналиста никуда и ни к чему человека не приводят, люди творческие, не чувствующие призвания к административной работе, оседают на уровне, где они не имеют никакого влияния на решение принципиальных (?) вопросов или на воспитание начинающих журналистов. А возвышение или падение того или иного сотрудника решается застольными разговорами двух-трех людей, бездоказательно повторяющих либо: «здорово работает», либо: «халтурит».

Если на РС, несмотря на все это, существует среди сотрудников некий гамбургский счет, это следует объяснить живучестью инстинкта сопротивления полному одичанию.

Система, вышибающая из игры наиболее творческих людей, действует двояко. Кроме того результата, о котором уже сказано, есть и другой. У меня на глазах по крайней

мере два очень способных журналиста, не только хорошо пишущих, но и отлично читающих свои материалы, постепенно перестали писать, предпочитая бездумно черкать, не читая, чужие материалы, за более высокую зарплату. Кто бросит в них камень?

Два других способных журналиста также отошли от когда-то любимого дела и на высоких административных постах превратились в бездарных руководителей, мелочных и злобных цензоров, аракчеевых и интриганов.

Из того же корня вырастает еще одна беда. Случайность создания или упразднения тех или иных передач и программ.

Когда бывшему директору станции надоело смотреть в преданные глаза очень старательного сотрудника, которому до смерти хотелось получить большую прибавку, точнее, высший чиновничий чин, директор плюнул, создал группу из четырех человек (ведь повысить можно только за административную работу), назначил преданного слугу начальником и повысил его. Созданная для этой цели группа существовала лишь на бумаге и к работе никогда не приступала.

Другой пример. По вполне понятным человеческим мотивам главному редактору русской службы было необходимо резко повысить в должности и зарплате молодую сотрудницу. Это можно было осуществить, лишь создав специальную программу, которую, по утверждению главного редактора, не мог составлять и вести никто, кроме той особы, в судьбе которой он тогда принимал живое участие. За то, чтобы впредь составлять и вести эту программу, которая с самого начала была никому не нужна, дама получила все причитающиеся блага. Вскоре она от передачи отказалась, перейдя на менее хлопотную работу. А передача? Просуществовала года два, потом догадались ее закрыть. Во что обошлись эти примерно пять тысяч минут эфирного времени, я предоставляю подсчитать специалистам.

Еще одно следствие отсутствия объективных критериев оценки: полная невозможность доказать кому бы то ни было из американского руководства, что на советского слушателя надо вещать иначе, чем на слушателя американского. Критикуя тон передач русской службы, один бывший ее начальник недавно писал: «...такой тон оскорбляет американское ухо и никогда не звучал бы в эфире, будь американский

контроль над станцией полным. Да и на Капитолийском холме это вряд ли посчитали бы хорошим использованием государственных денег».

А кто сказал, что передачи русской службы должны пленять ухо американского слушателя?

Бессмысленно ставить перед американской администрацией какие-то принципиальные вопросы, спорить.

Отношение к сотрудникам не-американцам напоминает описанное Джорджем Оруэллом в романе «Бирманские обычаи» отношение англичан к туземцам: «Даже знать, кто прав и кто неправ в споре между туземцами, — это уже потеря лица!»

Вы можете до хрипоты доказывать, что какая-нибудь передача политически вредна или бессмысленна. Шеф вас не слушает, либо, если он пооткровенней, прямо говорит, что не намерен вникать в ваши эмигрантские склоки. Ему-то совершенно ясно: с автором данной передачи вы явно чего-то не поделили. Или наоборот, в ответ на хвалебный отзыв о передаче коллеги я услышал от нашего американского начальника полные сарказма слова: «Еще бы! От вас дожدهмся, чтобы вы не похвалили передачу Х. — вы же с ним сидите в одном кабинете!»

У этих русских беспристрастного отношения к чьей-то работе быть не может. Их похвале и хуле следует найти объяснение, соответствующее уровню этих троглодитов.

И все это не по злобе, а из законного желания укрепить американский контроль, без которого передачи русской службы Радио Свобода никогда не будут как следует поняты слушателем города Каламазу, штат Мичиган!

«Все промелькнули перед нами, все побывали тут». Начальники менялись, подчас полярно противоположные по своим качествам и прошлому. Только скольжение станции в бездну ничтожества продолжалось неуклонно.

Даже профессиональный журналист, знавший, что и как надо делать, чтобы станция звучала понятно для среднего американца, глубоко понимавший, что среди сотрудников (русских) нет правых и виноватых, хорошо или дурно работающих, ибо все они дерьмо по американским критериям, и тот не сумел поднять работу РС на нужную высоту.

Фактически из того же корня вырастает еще один душистый цветок. Институт надсмотрщиков-погонял.

Поскольку работа, главное назначение которой — удовлетворить американское начальство в Мюнхене и Вашингтоне, делается все-таки русскими сотрудниками, чьи нравы, язык, круг интересов и ментальность чужды и малопонятны начальству, то для общения с туземцами постепенно сформировалось промежуточное звено административных работников. Они выдвигаются по двум признакам: «Этот человек умеет работать с американцами» и «Этот парень умеет заставить русских работать!».

Конечно, такой погоняла зависит от подчиненных. Стоит им снизить темп, стоит начальству усомниться в безотказности надсмотрщика, — и крышка ему. О нем скажут «он потерял хватку». Его могут даже попросить работать наравне с другими. А он от этого давно отвык. Трагическая ситуация!

* *

Мне возразят, что отсутствие контроля качества со стороны слушателя учтено, и для проверки эффективности вещания существует специальная служба изучения аудитории. Верно. Существует!

* *

6 февраля 1980 года заместитель директора ЦРУ по оперативной работе представил подкомиссии палаты представителей Конгресса США по наблюдению за разведкой отчет о деятельности советской пропаганды. По подсчетам американских специалистов, советские руководители отпустили на это дело в общей сложности 3 миллиарда 363 миллиона долларов. В эту сумму вошли бюджеты Международного отдела ЦК, Отдела международной информации ЦК, инновещания Московского радио, советской печати, различных служб КГБ, пресс-служб различных посольств СССР и даже расходы на специальную кампанию против модернизации вооружений НАТО (200 миллионов долларов в 1979 году).

Не учли, однако, деятельность... Отдела пропаганды ЦК КПСС и Политуправления Советской Армии, входящего в ЦК на правах отдела!

То есть проглядели огромный аппарат, ведающий постоянной накачкой гражданских и военных мозгов. Машины, обучающей ненавидеть и убивать.

* * *

Сотрудники Радио Свобода получили однажды служебный циркуляр, в котором сообщалось, что не то 76,8, не то 78,6% слушателей считают тон передач станции антисоветским, упрекают ее в необъективности, а потому, приняв это к сведению, следует впредь писать так, чтобы самый вьедливый комар из советской цензуры не подточил носа.

На сей раз сотрудники поинтересовались, на чем основано распоряжение начальства. И получили копию отчета Отдела изучения аудитории. С конкретными ответами конкретных лиц. Ответ, стоявший на первом месте в списке, врезался мне в память.

Во время стоянки самолета в Лондонском аэропорту стюардесса Аэрофлота на вопрос, что она думает о передачах Радио Свобода, ответила: «Я ваших передач не слушаю и слушать не намерена. Они антисоветские и необъективные».

Приводилось около двадцати таких же ответов советских командировочных и туристов, выехавших из СССР на несколько дней, максимум — недель. Почти все были членами партии или комсомольцами.

Как и кому вы объясните, что прежде, чем ее назначили на внешние рейсы, стюардесса прошла длительную проверку, а перед каждым вылетом проходит инструктаж, что от каждого ее слова зависит ее дальнейшая судьба, новые полеты!

И когда ей, уверяя, что никто ничего не узнает, суют бланк, на котором отпечатано «За данную информацию получил... (сумму вписать) и поставить подпись», то она видит в этом провокацию. И чтобы ее не сняли с международных рейсов, отвечает так, как ее учили.

Вспомним теперь об отчете ЦРУ и зададим себе вопрос: по какому бюджету проходили расходы на подготовку этой стюардессы (сотен и тысяч таких стюардесс), чьи слова, обработанные Отделом по изучению аудитории, еще больше парализуют передачи Радио Свобода?

Можно ли обвинить в злом умысле американского специалиста на высокой зарплате, который заложенную в стюардессу советскую пропаганду превратил в инструкцию для сотрудников РС?

Нет, разумеется. Он честно, как его учили, провел опрос, записал ответы, внес нужные поправки, заложил все это в ЭВМ, обработал результат, составил сводку, отредактировал ее...

Вред, говорите? Почему же «вред»? Разве нам не важнее всего привлечь на свою сторону советскую элиту? А для этого мы должны приспособить вещание к требованиям советской цензуры.

Другой пример. Из того же отдела сотрудники станции периодически получают сводки, где передачи расположены по степени их слушаемости, то есть популярности. Имеются колонки, где все точно указано в процентах. Таким образом легко узнать, кто хорошо работает, а кто не очень.

Забыто только, что передача с показателем в 80% идет в эфир ежедневно в лучшее время и повторяется несколько раз в течение суток, а передача, которую указали в своих ответах всего 30%, идет в эфир раз в неделю и не повторяется.

Мелочи все это! Начальству-погонялам до этого дела нет, потому что по соображениям чисто застольным нужно хвалить автора ежедневной передачи, а другому дать по мозгам.

Пройдя через компьютер и приобретя наукообразный вид, вся эта белиберда становится основой для отчетов и принятия решений.

* *

Цифры, факты, объективность!

«Я не хочу, — сказал мне один бывший начальник, — чтобы вы впредь писали комментарии по Ближнему Востоку. Как еврей и израильский гражданин, вы не можете быть объективны. На моей прежней работе я регулярно получал информационный бюллетень посольства Израиля. Я выбрасывал его в корзину, не читая. Настоящую объективную информацию я получал от двух замечательных парней — палестинцев, получивших образование в США».

Он был очень порядочный человек. И говорил это без всякой задней или передней мысли. Но у него был культ объективности.

* *

Итог?

Недуг, который гложет Радио Свобода, застарел, корни его глубоки. Причина: полное или почти полное забвение назначения станции. А отсюда — непонимание страны, на которую станция вещает.

Дальнейшее следствие: презрение к русским, точнее, к выходцам из СССР. Ведь поляков, румын, болгар и венгров никто никогда не изучал путем хитроумного опроса, не распределял по категориям, как бабочек или крыс.

Привыкнув в Союзе к сакраментальной фразе: «Но вы же совсем не похожи на еврея» и хорошо зная, кто это говорит, я словно старому знакомому улыбаюсь, когда слышу, уже на Радио Свобода: «Но вы же западный человек, вы совсем не похожи на советского». Спасибо!

* *

Если передачи Радио Свобода не могут удовлетворить нас, выходцев из СССР, именно потому, что мы знаем, откуда мы приехали, почему и зачем, то как могут они удовлетворить оставшихся там, тех, кем мы были вчера?

Но те, кому следует изучать реакции слушателя, готовы считаться с нашими замечаниями и советами, пока мы представляем еще отвлеченную массу. Если мы побывали немного на Западе, нас уже не слушают.

Если же мы работаем на Радио Свобода, то весь опыт прошлой жизни в Советском Союзе — уже только обуза, он никому не нужен.

Люди, которым поручено руководить станцией, не понимают, как надо говорить с советским слушателем, прежде всего потому, что они не знают, что хотят ему сказать, зачем ведется разговор.

Исходящая от СССР угроза? Паникерство, паранойя, пережиток устарелых концепций!

Бесполезно говорить, что отдавание «должного мирным инициативам советского руководства» можно смело доверить средствам информации СССР, что не обязательно «для объективности» уравнивать выступления видных диссидентов высказываниями официальных советских представителей на ту же тему (обязательно той же длины!), что насмешка над Брежневым не оскорбляет советского слушателя, который сам над Леней смеется. Что для завоевания кредита доверия у слушателя станции незачем выглядеть в эфире дурее, чем она есть.

Ведь доходит до того, что запрещают к передаче тексты эмигрантских писателей двадцатых годов — за «антисоветизм»!

* * *

От забвения первоначальной цели — и потеря элементарной бдительности, даже простой осторожности. В надежде, что советские газеты перестанут изображать Радио Свободу как «логово врага» и печатать одну и ту же фотографию анонимной стены, за которой якобы творятся черные дела, фактически давно отказались от всякой охраны. Взрывом 22 февраля 1981 года станция расплатилась не за чью-то халатность, а за годы навязываемых себе разлагающих иллюзий. Когда председатель Совета по Международному вещанию приглашает через печать советских журналистов выступить у микрофона РС, то никакой начальник охраны не получит ни цента на проведение самых простых мер по обеспечению безопасности: «Как выглядели бы мы перед советскими журналистами». Есть ли нужда напоминать, что тех по первому требованию водили по студиям и редакциям.

Укрепление охраны станции постепенно стало мерой психологически и политически неосуществимой. Это шло бы вразрез со всей философией руководства. «Ведь прошло, слава Богу, время, когда мы были станцией ЦРУ! Мы не занимаемся ничем дурным, мы хорошие, мы хотим доказать ненужность глушения наших передач...»

На частые угрозы, телефонные и письменные, было запрещено реагировать. Нужен был взрыв и еще пара инцидентов, чтобы положение с охраной изменилось.

По той же причине закрывали глаза (и закрывают) на проникновение на станцию советских и восточноевропейских

агентов. Во-первых, у нас нет никаких секретов: смотрите, пожалуйста! Во-вторых, разоблачение работающего на станции агента всегда кому-то неприятно. Например, тому, кто годами пил с ним водку или занимался каким-то другим приятным делом, кто писал ему хвалебные характеристики, продвигал по службе... Даже в том случае, когда агента ловит за руку западногерманская контрразведка и сажает его, на станции об этом узнает лишь очень ограниченный круг лиц. Дело заминают, чтобы не создавать атмосферы шпиономании!

* *

Я писал эту статью так, как пытался писать свои комментарии и корреспонденции в течение тех семи лет, что я работал на Радио Свобода. То есть, забыв об американском начальстве, изложить проблему оставшимся в Москве (или уже выехавшим) друзьям, перед которыми я в ответе. Это всегда было нелегко. Ведь то, что звучит убедительно и интересно для них, не всегда покажется убедительным и интересным жителю Среднего Запада. Это не вопрос, кто хуже, а кто лучше. Просто разное.

Итак, я писал главным образом для того самого советского слушателя, каким сам недавно был. Ему, этому слушателю, интересно, полагаю, узнать, с какими проблемами мы столкнулись здесь, в каком мире мы живем. Ему это возможно, небезразлично.

Я подписываю статью своим именем и никого не называю. Этим я хочу подчеркнуть две вещи. Во-первых, я выражаю свою, а не коллективную точку зрения. Во-вторых, объяснять расцвет и упадок Радио Свобода личной ролью того или иного руководителя или сотрудника мне представляется ошибочным. Не они лишили станцию цели, а работу — смысла. Не они принимали решение слить Радио Свободу с Радио Свободная Европа, что доконало РС. Но нравы, царящие на станции, — это их нравы. Смешно говорить, что кто-то из людей, руководивших станцией в недавнем прошлом (которое иным кажется идиллическим), проводил какую-то свою политику. Именно от самого что ни на есть «все понимающего» главного редактора я чаще всего слышал слова: «Лучше я сниму ваш материал, чем это сделает эта сволочь

Х». Ему было лучше — он выслуживался, но сути дела это не меняло.

Все упомянутые мною документы подписаны, а слова произнесены людьми, которые названы в статье Сергея Сабура, послужившей поводом для моих заметок, в списке людей способных, если нужно, поднять снова станцию на нужный уровень. Только пересмотр основных установок на самом высоком уровне может оздоровить станцию, спасти ее.

Или политические круги США вовремя поймут, что советская система не просто современное индустриальное общество, руководимое государственными деятелями, пекущимися о народном благе и мечтающими о мире на земле, а машина, направленная на покорение всего некоммунистического мира; поймут, что час истории чертовски поздний, и что не наши эмигрантские головы, а их головы поставлены на кон — и тогда наш разговор о будущем Радио Свобода станет беспредметным, ибо все естественно станет на место. Или они этого не поймут. Тогда не будет ни разговора, ни собеседников.

Читайте в следующем номере:

Стихи:

Д. Бобышев, И. Лиснянская

Проза:

Е. Козловский, С. Липкин

Публицистика:

В. Барка, М. Ланда, В. Тростников

Искусство

Владимир Антонов

НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИСКУССТВО: РАЗВИТИЕ, СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Подчас разбор некоторых явлений лучше всего начинать с названия, потому что оно в целом верно отражает их сущность и характер, а кроме того, благодаря такому подходу можно с самого начала оперировать с общеизвестным и укоренившимся понятием. Прием — простой, оттого им часто пренебрегают. Как именуется искусство, что ровно пять лет зрители видят на выставках в Москве и Ленинграде? «Авангардное», «подпольное», «протестующее» — не привилось, осталось — «неофициальное» или «нонконформистское».

В обоих указанных определениях на первом месте стоит отрицание, что сразу дефинирует негативный оттенок определяемых ими явлений. В слове «неофициальное» отвергается официальное искусство, т. е. пресловутый соцреализм с его художественными догмами и проблематикой, хотя нынче этот термин даже с трибун звучит все реже и реже. Соцреализм отрицается безапелляционно, оттого данное прилагательное не имеет никакого дополнения, хотя, надо заметить, оно не пользуется и противопоставлениями «анти» или «контр». Как в любом подобном случае, отрицание несет не только смысловую нагрузку, но и указывает, что опорным является слово «официальное» и без него термин просто исчезает. Действитель-

Статья из ленинградского самиздатского журнала «Северная почта». Печатается с незначительными сокращениями.

но, неофициальное искусство, как терминологически, так и практически является антиподом официального и в основном возросло на его отрицании. Между ними имеется сложная диалектическая взаимосвязь, притяжение и отталкивание, не учитывая которых трудно объективно оценить суть разбираемого феномена.

Определение «нонконформистское» встречается много реже и в основном в субстантивном виде: художники-нонконформисты. Оно излучает какую-то тайную многозначительность, невольно лаская слух его носителей, и причисляет их к престижной группе недовольных и несогласных. В этом термине отрицается уже не государственное искусство, а дух и характер, нормы и идеалы общества. Таким образом, по смыслу он — шире, зато расплывчатее предшествующего, так как определяет всегда существующую в любом обществе группу, в которой господствующие духовные ценности и социальные реальности критикуются и отвергаются с разных позиций и с неодинаковой решимостью. Эта группа довольно обширна и включает и политическую оппозицию, и брызгу-обывателя.

Художники заслужили звание нонконформистов, ибо со всей очевидностью они — недовольны и несогласны. С чем, однако, они несогласны и чем конкретно недовольны? Прежде всего — с монополией соцреализма и потому требуют — хотя не всегда радикально — свободы творчества, ограничения идеологического контроля, т. е. возможности работать в индивидуальном стиле, который чиновники клеймят и шельмуют как «буржуазный» или «декадентский». В этом требовании художники смыкаются с демократическим движением, которое тоже стоит за свободу творческого выражения. Далее, нонконформисты настаивают на отмене административной дискриминации, т. е. разрешения свободно показывать и реализовывать свои работы, обсуждать художественные про-

блемы, объединяться в творческие группы, получать мастерские и некоторые государственные льготы. Как видим, преобладают сугубо художественные или уравниательные притязания, что косвенно отражается и в самом термине «неофициальное» искусство.

Хотя художников по праву называют нонконформистами, их все же нельзя причислить к диссидентам — самой активной и сознательной части недовольных, и оспаривать это могут лишь люди, принимающие желаемое за действительное. В отличие от писателей-нонконформистов, для художников характерна заметная аполитичность, почему они редко сообща поддерживали ярко выраженные диссидентские акции или подписывали соответствующие протесты. С самого начала движение художников было спонтанно-эмоциональной вспышкой, а не идеологической конфронтацией, отчего властям удалось довольно быстро и без особого труда его нейтрализовать и канализировать. Попытки Синявина и Рабина радикализировать движение потерпели вполне закономерную неудачу, ибо художники предпочли сохранить умеренную и ограниченную культурными рамками позицию. Причины тому надо искать в исторических обстоятельствах, современном состоянии искусства и психологических особенностях неофициального художника.

Вопреки ходячему мнению, что русские художники смешивали искусство и политику, они — да и то в демократическом своем крыле — в основном увлекались социально-политическими проблемами в недолгий период (1860-80-е гг.) господства критического реализма в изобразительном искусстве, но и то — много меньше писателей-современников. Позже их общественные выступления — например, кубофутуристов — были направлены не столько против буржуазного правопорядка и моральных ценностей, сколько против тогдашних эстетических норм и художественных принципов. Хотя авангардные течения всегда несли в себе

разрушительный элемент, включая среди прочего в свои манифесты призывы к изменению общества, в общем, они не отличались от распространенных социалистических учений, зато волновали более узкий и профессиональный круг и получали зачастую отпор — правда, недостаточный. Если Писатель в России и сейчас играет роль совести нации, учителя правды и пророка, то Художник еще перед революцией погрузился в решение, главным образом, формальных проблем, а после нее, из-за известных трагических событий, критически подходить к действительности просто опасался и отучился.

Нонконформисты не только восприняли, но и в подавляющем большинстве разделили это наследие, кто — по духовной лености, кто — по политическим соображениям, но многие — в силу своих художественных концепций. Согласно этим концепциям, которые возродились после долгого забвения или пришли с Запада, реальность — это в лучшем случае источник многообразного и иногда сложного эксперимента и если учитывается, то в зашифрованно-метафорической форме. Больше, чем внешний мир, художника все-таки интересует внутренний, изолированно анализируемый и воспроизводимый на разных чувственно-эмоциональных уровнях. Уже с начала века искусство в секуляризованном обществе все сильнее превращается в сакральную сферу со своими канонами, мистериями и жрецами. На Западе нынче художник-жрец, наследник эстета в башне из слоновой кости, сосуществует, а чаще всего объединяется с провоцирующим художником, потомком романтического бунтаря, который рассматривает искусство как путь к личной или социальной революции.

В России художники-жрецы только возрождаются, а место последнего типа пока занимает классический божественный художник, который находится в конфликте с враждебным обществом, непохож на других,

презирает обывателя и страждет за правду. Он, как и герои богемы, — беден, непризнан, пробавляется случайным заработком, время от времени продавая свои картины. Он стоит внизу в социальной иерархии, но зато высоко ценит сам себя; третирует официальных художников, но сам непрочь заполучить некоторые их привилегии. Данный стереотип, с его определенным нормативом в поведении и не очень глубоким мировоззрением, погружен, однако, из-за перманентного кошмара реальности в ярко выраженную трагическую отчужденность. Она усилена тем, что нет ни постоянных покупателей, ни благожелательных журналистов или умных защитников, ни просто возможности свободно беседовать и объединяться. Как часто бывает в таких случаях, это унижительное и извращенное состояние, мелочная борьба за кусок насущного хлеба — из-за своей мрачной безысходности в условиях несвободы не обостряет недовольство художника обществом, а подавляет его и отдаляет его от мужественных действий.

Вначале, правда, художники выступили столь решительно и неожиданно, что с перепугу местные власти подумали, что перед ними — новый корпус демократического движения, которое в 1974 году переживало свой подъем. Застигнутые врасплох, они поддались истерической панике, послав бульдозеры на первую выставку, напоминавшую более всего западный хэппенинг. Годами, без помех, правили чиновники департамента искусства, привыкнув все новое считать опасным и вредным, а всякое видимое отклонение от установленной нормы объяснять вражеским влиянием. Отреагировав по шаблону, это казенное сознание опомнилось только после того, как западная пресса неожиданно ярко осветила репрессии и возвела художников в мученики системы.

Что для достижения успеха нужно было бороться, показывают как последующие события, так и нынеш-

нее положение художников в консервативно-провинциальном Ленинграде, где сперва конфронтация шла в кильватере московской удачи, потом — спорадично и вяло, чтобы нынче почти замереть из-за активной эмиграции ее участников. Потому объединения художников здесь до сих пор нет, а редкие выставки стоят серьезных усилий. Несомненно, первый боевой натиск вынудил власти пойти на уступки, но главную роль, почему конфликт был все-таки решен мирно, а не привычными репрессиями, сыграли общие политические соображения.

Прежде всего — внешнеполитические: не давать лишней зацепки западной пропаганде, не раздражать влиятельную левую интеллигенцию и еврокоммунистов, которые в вопросах культуры болезненно чувствительны, и не нарушать созданный с таким трудом и все еще шаткий образ респектабельного государства. Были учтены и внутренние причины. В ходе массовой рекогносцировки был сделан верный вывод, что в основном художники действительно аполитичны и не только примут пресловутые три ограничения: политика, религия, эротика, — но и не станут претендовать на уравнивание в правах с официальным искусством. Непокорными к тому же были всего два центра — Москва и Ленинград, много меньше и уже позже — Киев и Одесса, а в остальной провинции царили тишь да гладь. За редким исключением, мятеж не коснулся членов Союза художников и был слабо связан с другими формами культурной оппозиции.

Попутно вспомнили о прибалтийском опыте, когда еще в 1969-70 гг. успешно и без всякого шума было проведено более широкое урегулирование, приведшее в конце концов к почти полному смирению недовольных молодых художников. А если будут издержки, то ведь подозрительная картина — не рукопись, не разлетится в сам- или тамиздате, ее не передадут по зарубежному радио, не напечатают в «Художнике» или «Огонь-

ке», не превратят в издевательский анекдот. Да и кто ее, действительно, увидит: несколько тысяч человек в одном городе! Невелик риск.

Итак, через два года после бульдозерной выставки — срок небольшой по советским темпам, в Москве была создана секция неофициального искусства, глава которой был не избран, а назначен сверху с определенной целью: идейное руководство, политический надзор и постепенное ангажирование. В скором времени в секцию добровольно вступило большинство московских нонконформистов, посчитавших, что главная часть их требований исполнена. Выставки: сезонные, групповые и персональные — дозволены, но, конечно, как принято: с жюри, самоцензурой и ограничениями; каталоги — тоже можно и даже пока бесплатно; творческие поездки — извольте: на БАМ, тюменские нефтепромыслы — и пишите их, как угодно: «Ведь это все — наше!» Грядущее — не радужное, но манящее: салон, скорее всего, закрытый, как «Березка», на валюту, но и за то — поклон; заграничный журнал — ублажит тщеславие и даст торговую рекламу; ну, а потом, потихоньку — на экспорт, пусть радуются западные ценители изящного и дают в казну марки и франки. Первый и решающий шаг в превращении неофициального искусства в контролируемое полуофициальное был сделан, и сделан с обоюдного согласия. Результат: «героический» период кончился, краткая слава «сопротивления» померкла, настало время желанного или вынужденного вхождения в систему.

На тех же, кто сохранял еще некоторую активность, хранил громкую досаду или уж очень тосковал по лучшей жизни, были распространены правила еврейской эмиграции. Большинство поехало добровольно и с мечтательной охотой, других же (Синявин, Жарких, Рабин) — выпроваживали. Из Ленинграда за пять лет уехала половина участников первой неофициальной

выставки, из Москвы — 20% нонконформистов; и конца этому исходу не видать, ибо уж ныне едет всяк, кто в силах добыть приглашение. Продолжающаяся эмиграция доказывает, что художники — все-таки подозрительный элемент для власти и что проведенная либерализация была неполной и не принесла сносной экономической устойчивости и желанной творческой свободы. Место воодушевления заступили разочарование и растерянность, и подкралось сладкое искушение: а не начать ли все заново на свободном Западе, где и жить-то много легче и веселее? История повторилась, но от исхода 1920-х гг. нынешняя эмиграция принципиально отличается, хотя бы своей заметной деморализующей силой.

Явилось ли, однако, выступление нонконформистов полностью неожиданным? Первые попытки пробить стену соцреализма и утвердить индивидуальный стиль приходится уже на «оттепель». В 1959 году в Ленинграде была устроена первая квартирная выставка, а в Москве такие экспозиции стали даже светской модой среди фрондирующей интеллигенции. Этот процесс эмоционального воодушевления, подогреваемый надеждой на широкую либерализацию общественной жизни и возрожденным идеализмом, процесс художественной активности, устремленный прежде всего к восстановлению связи поколений, резко затормозили известные выходы Хрущева в Манеже.

Он возобновился в 1967 году с еще большей силой, и тогда же западные зрители стали знакомиться с неофициальным искусством, что морально стимулировало художников и давало им материальную поддержку. Аполитичность художников в этот латентный период пришлось как нельзя кстати, потому что охота за инакомыслящими велась в других кругах и их почти не коснулась. В этой обстановке нонконформистские ряды активно пополняются, консолидируются и обретают лидеров. Успехи демократического движения

и растущее внимание Запада вселяли уверенность и подготавливали к решающей конфронтации, которая оказалась запоздалым и слабым эхом протеста западной молодежи 1960-х гг.

Когда же час пробил, то конфронтация вылилась в единоборство с административным аппаратом, а не с официальным искусством, которое, на словах рьяно сражаясь с западными новаторами, вроде бы оказалось бессильным перед внутренним мятежом. Несколько трафаретно-ругательных газетных статей не были на него действенным ответом. Конечно, с одной стороны, было приказано не разжигать страсти, но с другой — в самом государственном искусстве уже более десяти лет шел процесс распада монолитных эстетических принципов и художественных догм, затронув не только молодое поколение, откровенно ревизовавшее соцреализм (Белютин, Неизвестный, Биргер, Крестовский), но и некоторых умеренно-либеральных мэтров, которые стали осторожно нащупывать в дозволенных пределах новые выразительные средства. Следовательно, как росло неофициальное искусство, так левело и делалось все терпимее к формальному эксперименту официальное, у которого по этой причине и позже не оказалось прежней запальчивости и ненависти к «декадентам».

Зарождаясь и набирая силу, неофициальное искусство черпало вдохновение и опиралось, главным образом, на традиции отечественного и западного авангарда. Бытует мнение, что медленно и с большим трудом пришлось восстанавливать связь времен, растоптанную за четверть века духовного и физического террора, войны и страха. Дело, однако, обстояло сложнее. Русский авангард, который теперь столь безудержно идеализируется и воспевается, был верным союзником революции и после нее вполне естественно приобрел в искусстве особое и монопольное положение, отличаясь большей нетерпимостью к инако-

пишущим и инакорисующим, чем любое предшествующее направление, которое, кстати, никогда не могло претендовать на государственный характер. Супрематисты, кубофутуристы и конструктивисты старались — особенно поначалу — с энергией и искренним усердием выполнять свой социальный заказ по созданию нового общества и человека, содействуя невиданной раньше политизации искусства.

Когда же требования этого заказа изменились и воцарился уже созревший в противоположных кругах соцреализм, то лишь немногие левые не дали себя сломить, а большинство — в том числе и лидеры (Татлин, Малевич, Родченко, Кончаловский) — постарались как-то приспособиться к новой ситуации и зачастую небезуспешно. Не только революция предала своих художников, но и они отреклись от нее, хотя не всегда с легким сердцем. Филонов держался до конца, другие — вовремя умерли, третьи (Шевченко, Фальк, Древин) хотели найти разумный и устойчивый компромисс. Многие ушли в иллюстрацию и оформление, стараясь не совсем забыть о своих «левых» идеалах. Именно две последние немногочисленные группы помогли на первых порах молодым художникам ознакомиться с интересующими их экспериментами, хотя недавний страх и чрезмерная осторожность парализовали порой у старого поколения волю к действию, и оно лишь отчасти смогло заполнить огромный образовавшийся вакуум.

Как следовало ожидать, ретроспективная тенденция быстро зашла в тупик. Подлинники, как опасная зараза, были крепко-накрепко заперты в музейных запасниках. Коллекционеры и наследники подчас побаивались хвастать своими сокровищами. Учить могли лишь единицы. В ход тогда пошли старые книги, манифесты, каталоги, журналы или новые, доставленные с Запада, что обусловило ярко выраженную вторичность восприятия и заметно исказило и обеднило

образ прежнего авангардного искусства. Многие в нем казалось устарелым и ненужным, другое — слишком сложным и претенциозным. После начального энтузиазма вспомнили также нонконформисты — пусть мимоходом — о социальной позиции революционных авангардистов, разделить которую новое поколение уж никак не могло. А формальный эксперимент, внедрившись на Западе, за полвека достиг много большего, чем в России, и посему туда-то устремились вскоре все взоры.

Первичным для нонконформистов было постепенно делавшееся доступным: Петров-Водкин, «Бубновый валет», но в основном — музейные картины западных новаторов: от импрессионистов и Сезанна до Матисса и Пикассо, от которых многие отталкивались, даже хорошо понимая, что имеют дело с началами нового искусства. Из-за такой извращенной, почти оранжерейной ситуации не стоит удивляться, что западная критика, столкнувшись с неофициальным искусством, не нашла того, что хотела: продолжателей Кандинского, Малевича, Татлина, Габо, Архипенко, зато — эпигонов Пикассо, Брака, Петрова-Водкина. Железный занавес, опустившийся с середины 1930-х гг. перед «реакционной» западной культурой, разорвал многолетние взаимосвязи ее с русским авангардом, усилив процесс забвения художниками прежних проблем.

Если вспомнить, что самые смелые художественные идеи в России созревали или апробировались в тесном общении с западным искусством, то станет понятным, что подобная насильственная изоляция вела к культурному отставанию и провинциализму, которые к тому же сознательно культивировались и оправдывались самобытностью и традициями соцреализма. Молодые художники поэтому оказались малоподготовленными к первым контактам с современным западным искусством, и прошло почти деся-

тилетие, прежде чем они смогли освоиться и как-то заполнить свои интеллектуальные и художественные пробелы. При этом еще сильнее наблюдался феномен вторичности, обусловленный отчасти тем, что *постоянные* источники были еще более косвенными, чем в первом случае, — польские и чешские журналы по искусству, которые стали для многих окном, распахнутым в новый мир. Главное было узнать, а не понять, что творят западные мэтры! В советской науке сложилась та же картина: лихорадочно и судорожно пытались ликвидировать многолетнее отставание и хоть немного догнать Запад. Там все же было много проще, ибо за спиной стояло кровно заинтересованное государство, которое в искусстве продолжало ставить препоны.

Отставание можно было преодолеть лишь упорной, долгой и неспешной работой, но художники форсировали ее, пропуская важные детали, а многого просто не понимая. Не хватало по-русски ни времени, ни желания. Где и как учиться? Опять по книгам и немногим картинам на заезжих выставках? Вышло поэтому не органическое вращение, а беглое и однобокое знакомство, которого требовали любопытство и этикет. В конце концов, все сложности привели к тому, что многие художники после первых энергичных попыток махнули рукой на западные образцы и, созрев духовно, принялись развивать собственную индивидуальность, мысленно утешая себя великодержавием и оригинальностью русской идеи.

Так, хоть и старались, почти не привился абстракционизм, у истоков которого стояли русские художники. Тут и опоздали, и не поняли, но главное — подсознательно не захотели из-за извечно национальной тяги к фигуративности и интуитивно-пантеистическому переживанию. Не было также в России той духовной атмосферы, что содействовала на Западе расцвету этого течения. Многие начинали с абстракционизма

как с заветного символа новаторства и современности, но потом или стали вводить в него фигуративные или поп-арт элементы (Зверев, Немухин, Рухин), или после явно подражательных попыток просто бросали. Мало у кого хватило духу и терпения развивать дальше это направление, требующее, чтобы добиться какой-то оригинальности, неустанной работы над формой.

Больше всего пришелся ко двору абстрактный экспрессионизм, так как с его помощью удобнее было передавать тревожную напряженность и эмоциональное отчаяние, свойственное всему неофициальному искусству, да и в нем не было чисто рационального подхода, который всегда как-то претил русскому сознанию. Качественного своеобразия, однако, достигли не Белютин, впитавший де Кунинга, и не Мастеркова, испытавшая заметное влияние Раушенберга и Джонса, а Михнов-Войтенко, создавший за 10 лет затвора почти лабораторным путем серийного эксперимента свой, близкий «живописи действия» стиль. Утонченно формальный, самоизолированный мир его работ полон конвульсивно-пульсирующего, атонального движения и напоминает: кому об изменчивости и контрастности органической среды, кому — о красоте микроструктур. Правда, порой высокий профессионализм оборачивается теневой стороной: видишь так много искусства, что не знаешь, где оно само.

Чистый абстракционизм Михнова стоит одиноко, потому что даже Немухин — лучший московский абстракционист — теперь пользуется абстрактными средствами не полностью, для передачи конкретных реалий, определенно также заявляя о своей «тревоге и неуверенности в будущем». Попавшие на Запад абстракционисты, в основном, не выдерживают качественного сравнения с местными художниками и, болезненно перестраиваясь, начинают лихо штурмовать

более высокий уровень или переживают тяжелый кризис (Мастеркова, Леонов).

Несмотря на богатое наследие и серьезные старания, не возник в России также оригинальный пост-супрематизм или пост-конструктивизм. Сама фантазматическая реальность толкала самых впечатлительных художников к более эмоционально окрашенному стилю, да к тому же формальные возможности здесь столь сильно исчерпаны, что для изобретения нового и своего нужна огромная работа с учетом многих уже использованных вариантов. Отдельные опыты (Штейнберг — в Москве, Борисов — в Ленинграде) будут, конечно, продолжаться и даже распространяться по мере все большего знакомства с соответствующим наследием и его западными производными.

Кроме того, этот стиль увлекал и будет увлекать художников, склонных к рационально-логическому мышлению, которое в период технической цивилизации сильно внедряется и в гуманитарную интеллигенцию. Однако он, как и кинетизм, будет всегда находиться на периферии неофициального искусства, вопреки все растущему, чисто практическому интересу к нему и поддержке со стороны официального искусства в отдельных случаях. Золотые годы этого направления — позади, а рационализм в культуре заметно колеблется.

Итак, несмотря на определенные возможности и искренние усилия, русский нео-авангард не состоялся, да и не мог получиться, ибо всякая реставрация или форсированное освоение кончается скучным эпигонством или тупиком. Изменилась реальность, другими стали художники и их задачи. Хотя в усвоении западного эксперимента нонконформисты добились большого успеха, в Европе, за редким исключением, их творчеству приклеили уничижительные эпитеты «провинциальное» и «третьеразрядное». Тем не менее, этот путь было полезно проделать для того, чтобы

выявить пределы своих возможностей или грани таланта и перейти, не оглядываясь с любопытством назад и с завистью по сторонам, к более адекватным способам самовыражения.

Если нефигуративные нонконформисты отрицают официальное искусство прежде всего формально, отвергая его устаревшие приемы и стилистические средства, а также эстетику, то фигуративисты обрушились одновременно на смысл и содержание, что принесло самые интересные результаты. Прав был Синявский, что советская действительность породит прежде всего гротескно-абсурдное и сюрреалистическое искусство. Прообразом тут послужила главным образом литература: от классической Гоголя и Достоевского до современной: Белого, Булгакова и обэриутов, и это придало неофициальной живописи характерную национальную особенность. Только видение стало всеобъемлющим и более резким, а рассказ — более жестоким и причудливым.

Эта живопись, как и подобная литература, делится — не имея, конечно, четкого водораздела, — на два направления: условно-фантастический и скурильно-бытовой реализм или точнее — фигуративизм, которые друг от друга отличаются как изобразительными приемами, так и интенсивностью в отрицании господствующих ценностей. Эти ценности даны в зеркально-негативном или перевернутом отражении. Отрицаются герои, мифология, бытовые шаблоны, унифицированные чувства, эстетические стереотипы. Отрицаются через сатиру и пародию, абсурд и конкретную правду. Вместо труженика, гордого своими свершениями, — беспутная богема, чудачки, спившиеся простолюдины; вместо светлых будней, устремленных в лучезарное завтра, — страшные сумерки, полные тления и смерти; вместо казенного самодовольства — отчаяние, страх, страдание. Эти отрицательные эмоции из-за своей сгущенной беспросветности не вызывают

катарсиса, а шокируют своей обнаженностью. Они редко переходят в крик и почти всегда сдобрены иронией; редко спонтанны, но рационально упорядочены. Эта двойственная эмоционально-мыслительная реакция особенно присуща невротикам, людям подполья, интеллигентам-эскапистам, которые, обостренно сначала откликаясь, иссушают или разлагают затем переживание долгим анализом, стремясь ослабить внутреннюю напряженность и тревогу.

Закономерным образом такой психологический тип неспособен на резкий вызов, а лишь на провоцирование, отсюда — его склонность к полуправде, иронии, зашифрованности, интеллектуальному кокетству и эстетизации зла. Это не мешает, однако, нонконформистам быть отзывчиво-искренними и критичными, поэтому у зрителя их искусство отрицания вызывает моральную реакцию. Этим свойством они напоминают не столько авангард, в котором преобладал формальный вызов, а критический реализм прошлого века, разумеется, без его прямолинейности и благодушия, но с той же, на сей раз прикровенной, апелляцией к нравственному комплексу и с тем же нигилистическим привкусом. Из сюрреалистического или скурильного целого частенько выглядывает наше родное обличие, а из сочной выразительности детали — модернизированный Федотов.

Хотя в эмоциональном и смысловом отношении советская реальность и искусство отрицаются широко и разнообразно, у каждого фигуративиста есть свои постоянные темы. Гоголевские маски и тела-глыбы с крошечными головками у Целкова — иконологические формулы ужаса и презрения к жестоко-безответственной тупости обывателя, коллектива, народа, воспеваемых официальной живописью как носителей всяческих добродетелей. Печальные химеры у храмов, перед морем крови или стандартной новостройкой у Кропивницкой — недоступная казенной лжи скорбь о

содеянном и творимом. Советская свадьба — апогей незапланированного веселья оборачивается у Калинина язычески-уродливым действием, а социалистическая Москва наполнена проститутками, алкашами и апокалипсическими видениями. Даже жмурки и хоро-воды — обыденная забава — позволяет Овчинникову раскрыть алогичную жестокость повседневного бытия, которое в розовом свете видят вышколенные жанристы. Янкилевский десакрализирует обнаженную натуру, которая в циничной действительности выставляется почему-то символом чистоты; Рохлин пародирует классические сюжеты, используя традиционную манеру письма, для брутально-сатирических фантазий с патологической окраской. Фантастическое позволяет художнику обойти общественные табу и примириться с тяготящим его подсознанием.

Безусловно, особой лаконичности и остроты в символической интерпретации реальности достиг Рабин, но у него бытовой гротеск имеет порой такую сильную политическую подоплеку, что затмевает художественные достоинства, прежде всего — экспрессионистский колорит, напоминающий Сутина, раннего Шагала, Руо. В провоцировании с Рабиным могут поспорить лишь некоторые концептуалисты, которые с большой фантазией, но не всегда — вкусом, пародируют советские мифы, ходячие представления и власть разнородных штампов. Их средства позволяют необычайно расширить пределы воспроизводимости, но пока, несмотря на весь свой авангардизм, концептуалисты утвердились — да и то в небольшом числе — только в Москве. Пугает ли других художников их политическая двусмысленность, непривычность формальных приемов или недолговечность хэппенинга?

Хотя сюрреалистическими элементами и мотивами пропитано все разбираемое направление, которое в гротеске, абсурде и пародии близко стоит к непод-

цензурной литературе, чистый сюрреализм в его западном понимании встречается весьма редко, и многие образцы его (Рыклин, Путилин) не блещут особой оригинальностью и качеством. Преуспел разве что Тюльпанов, проштудировавший иллюзионизм северного Ренессанса и Кватроченто, но и его переполненные до отказа «лавки древностей» кажутся скорее инвентарным перечнем мечтательного эскаписта, чем сюрреалистической фантазией. Мрачный быт и бездуховное окружение крепкими клещами хватают художника, и, несмотря на все усилия подняться до общечеловеческого, он, чтобы передать свои переживания, неизменно обращается к конкретному и реально прочувствованному, вкладывая в него определенный индивидуальный пафос.

Этот пафос пронизан горечью и разочарованием в человеке, который чаще всего предстает в низменном, мерзком обличье или сломленным, униженным и страдающим, каковым его в основном и знала история нашего времени. Как редко изображаемое дышит состраданием, смирением и любовью! Как будто кошмарное и репрессивное бытие совершенно вытеснило эти чувства из души художника или отбило желание проявлять их! Вызвано ли это одной его правдивостью и противопоставлением казенной фразеологии о благе человека? Не отрицая этих причин, стоит поискать объяснение также в самом мировоззрении неофициальных художников.

Его иногда определяют как антиматериалистическое, т. е. как антипод господствующей системы идей и представлений, но, что характерно, — не как идеалистическое. Снова — отрицание без позитивной программы. Этот расплывчатый термин можно уточнить с помощью не поверхностных и порой кокетливых рассуждений и заявлений художников, а их картин. По ним создается впечатление, что большинство исповедует стихийный экзистенциализм, редко

— христианский, а чаще — в его деистской и агностической упаковке. В целом этот вывод отражает распространенное среди мыслящей диссидентской интеллигенции мировоззрение, которое все еще сильно буксует на льду гордыни и нигилизма. Из соответствующего комплекса идей, многократно подтверждаемого и усиливаемого будничной жизнью, вытекает упомнутое отчаяние перед действительностью и трагически-фатальное изображение человека, что, хотя и знакомо западному искусству, все-таки смягчается в нем нередко гуманистическим или христианским подходом. Этим ли полностью объясняется русский брутальный фигуративизм? Нет, еще и этическим обеднением русской культуры и сознания!

Если с экзистенциалистской характеристикой своего мировоззрения нонконформисты еще охотно соглашались, то возмущенно возражат, что они — поголовно духовные люди, верят в Бога и, безусловно, христиане. Первые два утверждения я и не отрицаю, но в последнем — сомневаюсь, ибо тут слова расходятся с делами, то бишь религиозными картинами. Возьмем композиции Жарких — лучшего из нонконформистских портретистов. Они столь густо нашпигованы сексуально-биологическими фантазиями во фрейдистском духе, что для верующего выглядят просто кошунственными. Или вот «Воскресение Лазаря» Калинина — мастерски исполненная работа, но смысл величайшего чуда завяз в причудливой вязи руинного пейзажа и принесен в жертву технической виртуозности.

И уж особо восточной, якобы православной, детальной пышностью наполняет Линицкий свои ученые, рассчитанные на просвещенного ценителя картины, напоминающие порой тантристские изображения. Рациональный дух руководствуется иконографической точностью, а не стремлением передать Христову истину. Товар на экспорт соответствует западному стереотипу о православии! Даже Плавинский в своих

самых искренних религиозных работах, оперируя в основном на символическом уровне, не удерживается от желания щегольнуть необычным приемом и синтетичностью видения в ущерб светлой идее. Формальная новизна прямо-таки вменяется принудительно в обязанность, оттирая на задний план такие понятия, как благочестие, чистота, богоугодность. Уж не стоит говорить о дешевых подделках «а ля рюсс», в которых христианский сюжет или священные символы — только нонконформистское тавро ради моды и сбыта.

При всем этом обязательно и серьезно упоминается икона, в частности велеречиво: «...как предельно жизненный и полнокровный Знак, вещающий как о создателе Всевышнем, так и об удивительной благости ее создавших». Действительно, она чаще всего воспринимается как знак, т. е. формальное начало, компендиум условных приемов, без учета духовного смысла. А если неофициальный художник обращается порой к духовному смыслу, то интерпретирует его в основном соответственно своему мировоззрению, т. е. философски или эстетически. С одной стороны, получается опора на древнюю и национальную традицию, да еще ценимую западным авангардом и покупателями за ту же формальную красоту, а с другой — демонстрируется личный вкус, русский дух и христианское призвание. Пожалуй, никогда до сих пор русская иконопись так не опошлялась и не была таким объектом спекуляций.

По своей гордости или невежеству, большинство из тех, кто обращается к иконе за вдохновением, не чтит ее как святыню, отчего и не проводит даже формальной разницы между сугубо светским и религиозным искусством. Во многих т. н. «религиозных» картинах нет ни трепета благочестия, ни углубленного созерцания христианской тайны. Свободу творчества художника нельзя ограничивать, но надо призывать его к меньшему религиозному легкомыслию,

типичному, впрочем, для нашей интеллигенции, большей вдумчивости при прикосновении к христианской истории и преклонения перед Божьим величием и святостью. А благочестие, любовь и сострадание — не отчаяние и ужас — к страдающему и падшему миру и человеку не появятся без более глубокой обращенности к Христу, чистой и искренней молитвы и стремления к богопознанию. Ну, а если тебе важнее отрицание и формальный эксперимент, без которого, как утверждают многие, нет настоящего художника?

Необходимо создать в искусстве новое равновесие между этическим и эстетическим, что возможно благодаря христианскому учению о том и другом, и оно поможет избежать опасного крена в сторону формального новшества за счет духовности. Как трудно это сделать, видно на примере «метафизического синтетизма» Шемякина — талантливой и виртуозной мастера. Правда, сейчас это, пожалуй, самый верный путь к успеху в западном искусстве, но он кажется чересчур откровенно-эгоцентричным внутри России, где тяга к духовно-нравственному не может исчезнуть.

Как без должного внутреннего опыта формальное начало может поглотить даже высокую духовность, можно судить по искусству последователей Стерлигова — еще недостаточно оцененного художника, который внезапно, как в откровении, прозрел свое «чашекупольное пространство» и на его основе создал не только исполненные хвалой Творцу пейзажи, но и вдохновенные религиозные композиции. Глубоко почитая и изучая это искусство, ученики Стерлигова (Зубков, Смирнов, Церуш, Кожин), будучи, однако, уже духовно иными людьми, смогли — и не безуспешно — развивать только то, что им было понятно, близко и доступно, т. е. прежде всего — формальные стороны его системы, подменив христианское отношение к природе чисто пантеистическим. Их работы колористической и линейной гармонией выделяются

в неофициальном искусстве, но они, утратив живописный творческий стимул, невольно соскальзывают в эпигонство или, что и делают, уходят в сторону. Дух животворит везде, и лишь гордое или слепое самолюбие забывает об этом.

Неофициальное искусство откинуло завесу соцреалистического тумана, и теперь без этого искусства немыслимо развитие национальной культуры. Оно создало альтернативу и отменило безусловный идейно-духовный компромисс в одной из ее областей. Обоганилось искусство, в нем появились новые возможности и средства, а личность художника обрела большую свободу, отчего ею уже нельзя, как прежде, манипулировать. Но заслуги перечисляются на поминках, а перед нами — живой организм, которому поэтому полезнее холодный душ трезвого анализа, чем теплая ванна эмоциональной апологетики.

Главный недостаток неофициального искусства происходит от его основного достоинства — отрицания. Перенося конфронтацию также в формальную сферу, оно в отрицании выражает, интерпретирует и воспроизводит советскую реальность в негативном духе, не зная или не понимая, что отрицанием отчуждение не снимается, а усиливается, извращенные ценности не очищаются, а отбрасываются как растленные и ненужные, их подлинная суть игнорируется, а не раскрывается. Нигилизм — старый грех русской интеллигенции — не позволяет выдвинуть позитивные идеалы. В этом, кстати, Блок упрекал декадентов, искусство которых поэтому оставило вакуум, заполненный активным разрушительным принципом.

В этом отсутствии положительных начал виновно все еще упорное маловерие инакомыслящей интеллигенции, которая не так давно двинулась к Христу, но колеблясь, спотыкаясь и оглядываясь часто назад. Она еще не всегда ясно сознает, что при религиозном возрождении, которое теперь проповедуется с той же

страстью, как прежде — социалистическое будущее, сначала она должна раскаяться в греховной жизни и горделивом забвении Бога и только после прощения и очищения может к ней, по милости Божьей, прийти «рождение свыше». Покаяние же включает отвержение самости, гордыни, ложных идеалов. И уж тут придется пересмотреть границы духовной автономии художника и искусства.

Многие художники, даже приняв в сердце Христа, продолжают думать, что вера — это интимно-личное дело, которое к искусству имеет косвенное отношение и даже порой мешает ему, утверждая примат Духа над буквой, т. е. формой. Это мнение так укоренилось в индивидуалистическом сознании, что его трудно преодолеть отчасти из-за лени и самомнения и поскольку «крайне непопулярны среди интеллигенции понятия личной нравственности, личного самоусовершенствования, выработки личности» (С. Булгаков. Героизм и подвижничество. — «Вехи», М., 1909, с. 47). А о личной нравственности и добродетели современные художники и слышать не хотят, уверенные в псевдоромантической догме о независимости жизни и таланта. По ней художнику не только не нужно блюсти чистоту души и тела, но, наоборот, чтобы ярче поведать о себе и своих переживаниях, просто полезно поддаться искушениям, а потом — не то что бы раскаяться, а — воспеть, вознести и возвеличить.

Не отказавшись от этих моральных шаблонов, которые, кстати, весьма выгодны государственной идеологии, и не обратившись глубже к Христу, нельзя обрести и утвердить не риторически, а практически положительные идеалы и ценности, без которых неофициальное искусство хотя и будет развиваться, но — не вверх, а — по плоскости, не вперед, а — по кругу. Эти идеалы Истины, Любви, Добра и Святости не будут отвлеченными понятиями, а, как уже было много раз в искусстве, помогут художнику путем духов-

ного подвига достичь желаемого — полного раскрытия своего таланта. Как труден этот путь, можно видеть из постепенного возрождения символизма, в котором общедуховные и отвлеченно-мистические идеалы подменяют еще христианские.

Эта духовная трансформация исцелит многие комплексы неофициального искусства, в том числе и чисто советского производства — комплекс неполноценности перед Западом, которым нравственно оправдывается его постепенное обескровливание через эмиграцию. Если в социальном отношении неконформисты стоят в России на периферии, в художественном — впереди, что несет им некоторое моральное удовлетворение и отчасти примиряет с тяготами жизни. На Западе — наоборот, получив полный социальный статус, они, особенно вначале, оказываются на самой периферии художественной жизни, что крепко ударяет по их самолюбию. Одновременно приходится приспосабливаться к новым общественным отношениям, опьяняющей свободе, многоликостью и высококачественной художественной среде с сильной конкуренцией. Выдерживают одиночки с крепкой волей, хорошей адаптацией и морально не очень скрупулезные. Выдерживает тот, кто быстрее избавляется от лжемечтаний и самокритично относится к себе и своему творчеству. Но долго ли устоит дом, разделенный надвое, и преуспеют ли отошедшие?

А что ждет оставшихся, пусть временно? Больше, на что они могут рассчитывать, это — прибалтийское решение, т. е. поголовное вступление в члены Союза. Гротеск и ирония: для этого и старались? Данная гипотеза — маловероятна и нежелательна, так как кладет конец идее неофициального искусства и показывает его внутреннюю слабость. Пусть лучше — секция, мелкие подачки в будущем и строгая демаркационная линия с Союзом. Нарушать статус-кво у неконформистов нет пока сил и желания, у Союза —

приказа. Эрозия официального искусства зашла уже столь далеко (это хорошо видно по сценографии), что ему трудно быть таким же агрессивным, как 20 лет назад, и изменить положение могут лишь политические указания. В силу логики времени, а не взаимного желания можно прогнозировать медленное и скачкообразное сближение, но не слияние обоих направлений.

Входя в систему, художники воспримут ее стереотипы, предрассудки и ценности, которые они своим искусством отрицают, что лишит их внутреннего оправдания, свободы действий и вдохновляющего порыва. Рассыпается единство, основанное не на духовной общности, а на общей задаче, появляются соперничающие группировки и иерархическое деление; незаметно распространяются осторожность и конъюнктурные соображения. Московским нонконформистам уже есть что терять. Так как невидимая и невольная перестройка сознания и критериев идет наперекор прежним чаяниям, то прошлое быстро идеализируется и мифологизируется, сопровождаясь смутной ностальгией по подполью.

Хотя без указанной духовной перемены процесс вращивания нонконформистов в систему кажется неизбежным, на его ход может повлиять конструктивная критика, которая до этого, увы, играла ничтожную роль. Искусствоведы сильнее художников прикованы к службе и зависят от нее. Неофициальное искусство их тоже застало врасплох; чтобы о нем писать верно и искренне, им необходимо перейти в стан нонконформистов, перестроив соответственно сознание и набравшись мужества. А тут еще вмешивается взаимное непонимание. Чтобы оправдать свою боязнь и инертность, искусствоведы-госслужащие свысока взирают на неофициальное искусство как на эпигонское; а художники отвечают им презрением, рассматривая их занятие как малополезное и продажное.

Единицы, которые все же отзывались об их творчестве в описательной или несколько отвлеченной манере, свои заметки помещали в самиздатских журналах, совершенно не влияющих на зрителя и мало на самих художников. Художников больше интересовало мнение западной прессы, которое в основном не было благоприятным. После первого неудачного знакомства создалось устойчиво-негативное клише, что в художественном отношении ждать от московских и ленинградских левых нечего и писать о них можно прежде всего как о общественно-политическом явлении. Правда, то были суждения газетных критиков и репортеров, но они определяют симпатии публики. Кроме Голомштока, только американские искусствоведы относятся с должным вниманием к неофициальному искусству, но порой им мешают чисто советологические мерки и слабое знание реалий. Изменит ли это положение журнал «А—Я»? От редакции зависит, станет ли он действительно подлинно критическим органом или клановым изданием с рекламно-торговыми целями. Настораживает пока желание пропагандировать одно новое, а не лучшее из неофициального искусства.

Если критика избежит крайностей: апологетики и уничижения, с максимальной доброжелательностью и пониманием отнесется к неофициальному искусству, объективно оценивая стремления и возможности художников, то она немало может помочь при теперешнем смущении умов и утрате ориентиров. Лишь бы критики и художники думали не об оригинальности в моде, а о самораскрытии на основе идеальных целей, которые появятся и укрепятся лишь через постоянное очищение и совершенствование души. Дорогу к ним каждый пусть избирает себе в зависимости от своих сил, доброй воли и жажды высшей Истины, памятуя при этом о призыве Богом всякого человека к Своим нетленным сокровищам.

Декабрь 1979

Колонка редактора

ХОТЕТЬ ЗНАТЬ

Прежде всего я позволю себе обратиться к опыту собственной судьбы, чтобы на личном примере проиллюстрировать механизм самовоспроизводства, самовозрождения, самовосстановления культуры, а также ее значения в жизни человека и общества, ее необратимой непрерывности.

Моя судьба типична для нескольких поколений, рожденных и выросших в нашей стране в условиях тоталитарной системы: сын и внук рабочих-коммунистов, абсолютно равнодушных к культуре, религии и ко всему, что лежит вне социальной сферы вообще, я в начале жизни являл собою почти растительное существо, которому можно было привить любые свойства и склонности, что и пыталась проделать со мною, как и с миллионами мне подобных, политическая пропаганда в своем стремлении вывести лабораторно чистый вид «гомо советикус» — человека-робота, человека-монстра, человека-материала для самых фантастических социальных экспериментов.

Но большевики, утвердившись у власти, совершили исторически роковую для себя ошибку: они оставили нам классику, то есть основу основ человеческой культуры. На мой взгляд, это произошло прежде всего по двум причинам, хотя имелся тому и целый ряд причин сопутствующих. Первая из них — психологическая: будучи абсолютными нигилистами по убеждениям, вожди этого движения оставались, если так можно выразиться, дореволюционным продуктом, сохранявшим в себе подсознательную ностальгию по минувшей эпохе и ее ценностям. Вторая — политическая: большевики решили использовать в пропагандных целях

пафос недовольства средой и временем, свойственный всем великим творцам, канализировав это недовольство в сугубо социальное русло.

Но, войдя в соприкосновение с великими творениями человеческой культуры, каждый из нас, сам того не подозревая, словно ссохшаяся губка, впитывал в себя не их социальную критику, а целительную влагу и воздух этой культуры, постепенно восстанавливая в душе и сердце утерянную было духовную память, незыблемые принципы бытия, образ и подобие Божие. Так вечная ткань культуры, возвращая нам свои дары, преодолевала и в конце концов преодолела в нас разрушительный яд самоцензуры и пропаганды.

Наверное, о том же самом опыте могли бы поведать многие и многие представители современной русской культуры от Александра Солженицына и Андрея Сахарова до рядового учителя или врача. Именно он — этот опыт нашего внутреннего самовосстановления или, перефразируя Чехова, «выдавливания из себя раба» — способствовал мучительному, но уже необратимому преображению общественного лица современной России — и не только России. Современная Польша, где, по моему глубокому убеждению, решается сегодня судьба христианской цивилизации, лучшее тому доказательство.

Опыт сопротивления в советской и восточноевропейской литературе убедительно показывает, что, пытаясь изменить ход вещей, а следовательно и самой истории, необходимо, на мой взгляд, отказаться от старых понятий и обветшалой терминологии, вспомнить, что слово — не просто инструмент взаимоотношений между людьми, которым можно безнаказанно манипулировать, но прежде всего та основа, с которой начиналась жизнь, и что оно может сделаться, в зависимости от нашей воли, как гарантией человеческого существования, так и причиной его гибели. В противном случае плен социальных и политических стерео-

типов обернется для нас всех пленом мирового ГУЛага.

Недавно один беженец — журналист из Аргентины — в ответ на вопрос своего французского коллеги, к какому крылу аргентинского Сопротивления он принадлежит, сказал ясно и коротко: «Ни к какому, я — птица».

Мне кажется, что это исчерпывающая формулировка для всякого думающего человека, который решается противостоять саморазрушению в современном мире, ибо только в независимом от предубеждений полете мысли мы обретаем Свободу, основанную на культуре. И только на ней.

Если же каждый из нас не найдет силы и мужества преодолеть в себе смертельное забвение духовного опыта истории и культуры, то я, следом за Артуром Кестлером, могу спросить себя и своих современников: — Какого чёрта мы называем себя интеллигенцией? Нам нет прощения, потому что наш долг знать, а главное — хотеть знать!

Скончался в Лондоне в возрасте 52 лет Анджей СТЫПУЛКОВСКИЙ

Сказать о нем, что он был издателем, — это еще ничего не сказать. Он был издателем необыкновенным. Польский эмигрант, подростком оказавшийся в послевоенной Англии, он руководил в 70-е годы не только польским издательством Полония Бук Фаундейшн, но и русским — Оверсиз, чьи книги русскому читателю нет необходимости представлять. Неоценима поддержка, которую он оказывал независимым польским издательствам. Один из последних актов этой поддержки — подписанный уже смертельно больным Стыпулковским договор о сотрудничестве с Независимым издательством НОВА.

В 1980 году в Мадриде именно он организовал получившую огромный отклик выставку польского, чешского и советского самиздата. Для подлинного взаимопонимания между Востоком и Западом и между восточноевропейскими народами он никогда не щадил своих сил.

Мы потеряли не издателя, но друга.

Мы разделяем скорбь об Анджее Стыпулковском с его семьей и его многочисленными друзьями во всех концах света.

«КОНТИНЕНТ»

СКВОЗЬ КОЛЮЧУЮ ПРОВОЛОКУ...

Из газеты «Русская Мысль»

Недавно на Западе были получены тексты поздравлений, которые политзаключенным уральских лагерей удалось переправить на волю. Долгий путь прошли эти телеграммы, прежде чем дойти до адресатов. И вот сегодня (пусть с некоторым запозданием) среди многих голосов свободного мира зазвучали голоса и тех, кого отделяет от нас колючая проволока. Среди них — грузинский историк Важа Жгенти и украинский учитель Михайло Монаков, основатель христианского семинара Александр Огородников, члены Хельсинкских групп — украинский инженер Мирослав Маринович, русский писатель Виктор Некипелов, литовский экономист Антанас Терлецкас. Да будут услышаны эти голоса!

ПРЕЗИДЕНТУ США Р. РЕЙГАНУ

Уважаемый г-н Президент, наши поздравления наверняка не поспеют ко дню Вашей инаугурации, так как нас разделяют, кроме океана, еще много рядов колючей проволоки. Однако отблески огней инаугурационных торжеств еще долго будут светить в мире, и, возможно, дольше всего у нас, в уральских концлагерях. Поэтому мы надеемся, что наша искренность несколько компенсирует неуместность запоздалых поздравлений. Мы приветствуем Вас, Ваше Превосходительство, как президента страны, воплотившей высшую достижимую для человечества свободу. Для нас, людей, по той или иной причине отказавшихся видеть мир в одном только цвете — только красном, США — это гарантия от коммунистического дальтонизма. Мы надеемся, что идея Прав Человека, объединившая 50 звезд на Вашем национальном флаге, в конечном итоге объединит все человечество. Ведь грустно, что в нашей стране эта идея пока только укомплектовывает концлагеря. Пусть сопутствует Вам ясность и спокойствие духа при выборе пути из многих неисповедимых, и пусть он окажется правильным. Мы желаем Вам счастья видеть Америку сильной и сплоченной, Америку, творящую и охраняющую добро. И да поможет Вам в этом Господь!

*Жгенти, Маринович, Монаков, Некипелов,
Огородников, Сафронов, Терлецкас*

Независимому профсоюзу «Солидарность»

Мы с Вами, наши дорогие польские братья, в Ваш звездный час.

*Григорян, Жгенти, Маринович, Монаков,
Некипелов, Огородников, Сафронов, Терлецкас*

Наша почта

Редакции «Континент»

Ганновер, 16. 10. 81

Ваш еврейский журнал пыжится доказать, что евреев в СССР дискриминируют, преследуют. Конечно, западному читателю, который не знает досконально истинное положение советских евреев, Вы можете нарисовать удобную Вам картину. Но нам, русским немцам, претит от Ваших ложных стонаний о горькой судьбе евреев в СССР. Это Вы, евреи, помогли Советской власти встать на ноги, окрепнуть и создать человекопожирающий аппарат насилия. Все было хорошо и нормально до тех пор, пока Вы сами этим аппаратом управляли, но стоило русским Вас начать вытеснять из этажей власти, так Вы завопили о дискриминации. По сути дела Вы вызвали к жизни так называемое движение за права человека в СССР лишь потому, что Вас стали постепенно лишать власти. Вы страшно испугались, что Вас не только лишат власти, но и сделают обитателями архипелага ГУЛАГ, в создании которого Вы приняли самое активное участие. Вы нашли выгодным «бежать» в другие страны, где для Вас еще есть шансы занять привилегированное положение. Вам ведь нужны деньги, чтобы поддерживать, питать политику Израиля. А эти деньги можно лишь взять у других народов, эксплуатируя их.

Не боитесь ли Вы того дня, в который Вам предъявят счёт за Ваши еврейские проделки? О, простите, я ведь совсем забыл, что Вы себя богоизбранным народом считаете.

Вы ведь всегда правы, ибо Вы «верите», что Бог на Вашей стороне.

Ну что ж, продолжайте в этом же духе. Но только не плачьте, когда карающий меч обрушится на Вас.

С. Арнольд

Ариевесе 11, 3 Ганновер 21

КОММЕНТАРИЙ ВЛАДИМИРА МАКСИМОВА:
Чтобы подтвердить столь убийственную репутацию, мне — сермяжному русскому — остается только сделать обрезание. Но если говорить всерьез, то автору письма из Г е р м а н и и, я думаю, не следовало бы столь широко оповещать благодарное человечество о своей дремучей глупости.

Ж у р н а л «Б Ъ Д Е Щ Е»

(«Будущее»)

на болгарском языке, ежемесячник,
издающийся в Париже

Журнал посвящает большое количество статей современному положению в Болгарии, условиям жизни и труда болгарского народа, борьбе за освобождение его. В последнем номере журнала опубликован ряд материалов о сопротивлении болгарских писателей, о положении болгарских крестьян, рассказ о советских концентрационных лагерях.

Адрес редакции: 18 bis, Rue Brunel,
75017 Paris, Tel. 380-57-64

Годовая подписка: 120 Fr. (70 DM, 30 \$
Par avion: 50 \$)

Критика и библиография

ВРЕМЯ СИНТЕЗА

Книга Николая Новикова о творчестве одного из крупнейших русских скульпторов нашего времени Эрнста Неизвестного не имеет ничего общего с традиционной искусствоведческой монографией. Это книга написана прежде всего философом, который из всей системы средств выразительности, проникая в нее чисто зрительно, то есть прежде всего эмоционально, старается вывести свои впечатления и переживания в логический план, осмыслить их философски. Это осмысление неминуемо выходит за пределы разговора о творчестве одного художника, ибо автор — желая того или не желая — дает свою оригинальную концепцию современного искусства и того нового, что вносит в это порой обезумевшее, порой раздробленное искусство такой мощный скульптор и график, как Э. Неизвестный. Главное, что внушает нам автор книги, что он, повторяя свою мысль тысячекратно в самых разных словесных ее формах, старается передать читателю, — это идея о завершенности эпохи анализа, раздробления, разрыва реальности, это тезис: «Разложенность форм в произведениях Неизвестного... не составляет оси, на которую наворачивается цепь событий». И далее: «...в целом это единый процесс *восстановления мирского и человеческого*, имеющий смысл восстановления живого из пытающейся функционировать по его правилам полумертвости».

Отсюда любое из состояний материи образа в творчестве скульптора есть акт непосредственного физического действия. Само переформирование, или, если угодно, превращение неживого в живое — деревьев, например, или камней в человеческие существа — происходит на глазах у зрителя постепенно, по мере созерцания скульптур, и фантастические их формы не заданы, а возникают у нас на глазах постепенно, они не придуманы — они, как пишет Новиков, «продукт

Н. Новиков. Эрнст Неизвестный: искусство и реальность. Chalidze Publications, New York, 1981.

того действия, которое совершается в материи образа». Способность разрушения «стенообразного мира» не имманентна этому миру, он сам по себе косный, он не способен на самораспад, поэтому восстановление из него души живой, символизированной возникающими из неживого живыми телами, происходит на пределе остроты борьбы духа, жизни, информации, в конечном счете космоса (системы) с мертвотой материи, с косностью как сутью ее, с энтропией, в конце концов, как тенденцией естественного пути этого мира. Информация в борьбе с аморфностью, структура в борьбе с энтропией, короче — космос в борьбе с хаосом — есть материальное отражение борьбы Света с Тьмою в самом укрупненном космическом выражении. Даже темы многих скульптур прямо почти называют эту сверхидею скульптора: «Гигантомахия», битва античных богов с гигантами, представляющими в мифологии темные силы неодухотворенного, первозданного земного и еще косного мира, трансформирована: крест как символ неисчерпаемого значения (от знака солнечного до христианского символа) анахронизирует тему и вносит в нее смысл вечной борьбы и вечного продвижения к свету. Синтез и созидание шаг за шагом отвоевывают у хаоса и распада, у косности и застоя пространственные и временные территории. Автор прав, сравнивая напряженность этой вечной духовной битвы с напряженностью микельанджеловских рабов, рвущих не столько цепи, сколько камень, из которого нечеловеческим усилием они вырываются.

Принципом искусства Неизвестного, утверждает Новиков, «ядром, осью этого мира является вечная, абсолютная проблематика человека и мира». Поэтому понятия, такие, как «протест», «нонконформизм», никак не исчерпывают сути данного искусства — они лишь почва, на которой (плюс на множестве иных почв) это новейшее искусство ведет свой процесс синтеза. Именно пафос отказа от любого «антиискусства», как и отказа от любого творческого течения с тем, чтобы заменить его догмой иного течения, полностью чужд Неизвестному, ибо это сужало бы универсальность идеи восстановления духовности искусства во всей ее полноте. И если не существует искусства, которое бы было простым и одновременно эстетически полноценным, то простота настоящего искусства, синтезирующего мир, создающего

свой, параллельный даже, — лишь кажущаяся простота. Ибо «переживание не нуждается в простоте». А тем более переживание такого сложнейшего эмоционально-материального явления, как произведения Неизвестного. Как писал сам скульптор, «жизнь-смерть — это максимальное напряженное внутреннее отношение. Пожалуй, отталкиваясь от этой противоположности, я пришел к выводу о том, что, в отличие от монологической скульптуры, диалогическая скульптура способна выразить гораздо полнее и глубже состояние души... фиксация именно этой реальности, а не чистых соотношений объемов и пространств является целью скульптуры». Поэтому из всех видов скульптуры для Неизвестного наиболее органична монументальная скульптура, которая должна стать основой, скелетом синтеза искусств. Монументальная скульптура — не объект наблюдения, она должна открыть человеку особый мир, более того, ввести его внутрь этого мира, в котором идет в пластической форме диалог — а точнее, все та же извечная борьба Света и Мрака, Космоса и Хаоса. Это не просто скульптура — это пространство, в котором люди должны находиться, так, чтобы этот мир буквально окружал их, чтобы они были внутри него, как внутри архитектурного сооружения, в котором, естественно, они должны «передвигаться, оглядываться по сторонам, спускаться под землю, подниматься к небу». Такая, если можно сказать, «скульптура скульптур» уже фактически создана. Пока в виде макета. Называется она «Сердце человечества». Но осуществление ее в натуре еще остается по не зависящим от Неизвестного обстоятельствам делом будущего, как, впрочем, и воплощение в натуре созданной им еще ранее «Гигантомахии». Полное впечатление, между тем, возможно лишь тогда, когда эти уменьшенные модели обретут свои предвиденные мастером размеры, когда они встанут на свое место в пространстве, которое они должны будут не только организовывать вокруг себя, но и как бы притягивать, играя роль магнетизирующего центра его.

Видимо, именно осознание того, что искусство Неизвестного (в силу задач синтеза, которые он ставит перед собой) есть явление принципиально новое, автор монографии и берет в основу необычного жанра своей книги. Это философия искусства, каким оно, по мнению Новикова, должно быть в ближайшем грядущем, а творчество Неиз-

вестного — оцениваемое Новиковым как первая ласточка этого нового искусства — берется тут как пример, как подтверждение философских идей автора. Конечно, с другой стороны, ясно, что сами идеи эти во многом подсказаны, вызваны, порождены самим фактом существования скульптора Неизвестного и его творческими концепциями, которые выражены им не только в скульптурах и графике, но и прямо словесно, теоретически — не случайно Новиков довольно часто цитирует высказывания самого скульптора, что придает его книге особую точность и достоверность.

Современное, человечески-мирское воплощает в себе сегодня человеческое и во многом нечеловеческое, подчеловеческое, что ли, — то есть культуру и некультуру (на уровне наших понятий опять же Космос и Хаос). Новиков отмечает, что в основе этого лежит тот факт, что роль регулирующих механизмов общества играет не культура, а «органы управления», то есть некультура как противоположный культуре фактор. Поэтому человеческое и нечеловеческое, культура и власть, соотношение их — все это определяет нерв, суть «мирского вообще». И в этом сочетании три фактора: «безумие, сновидчество и детскость» — воплощают нечеловеческое. «Безумие как тип политического мышления», «детски безответственное, детски эгоистическое отношение к себе и к окружению» и «витание в облаках сновидчества наяву» целых социальных групп — вот что определяет, по Новикову, сегодняшнее общество как таковое.

«В свое время Кафка должен был построить особый образный мир, чтобы проникнуть в бюрократическую сущность организационно-административных процедур в европейском обществе, выявить в них иррациональное начало».

В наше же время эту абсурдность отношений не требуется уже вскрывать с помощью художественного инструмента — просто довольно описать реальность в элементарных журналистских приемах. Поэтому искусству не нужно теперь ни безумие, ни детскость, ни сновидчество. Они уже не свидетельствуют ни о мире, ни о вне-мире тем более. «Лишь здоровое сознание, бодрствующее, возмужавшее, обладает способностью чистой констатации», — говорит Новиков. И отсюда делает вывод о том, что лишь этот тип сознания, н о р м а л ь н о е сознание, может воспринять

мир и вне-мир как реальность, которая и есть основа и душа настоящего искусства. Ибо «проблема вне-мира — это проблема Бога. Когда я говорю это, я не имею в виду, что вне-мир и Бог тождественны... для моего сознания вне-мир и Бог несомненно пересекаются». Эта тайна, которая не имеет окончательного разрешения, и есть движущая сила синтетического искусства Эрнста Неизвестного, который, обращаясь к разным выражениям символа Судьбы, тем самым дает символы восстановления разрушенной реальности человеческого и мирского.

Как высший символ судьбы и воспринимается (будет восприниматься, ибо еще не воплощен в натуральных размерах и не установлен) монумент Неизвестного, главная работа его «Сердце человечества» — «объектом нашего переживания станет материализованная в нем способность человека переделывать себя и мир».

Василий Бетаки

БРАТ И СЕСТРА, ПОЭТ И УЧЕНЫЙ

Охватывающая чуть ли не полвека переписка Бориса Пастернака с его двоюродной сестрой является значительным культурно-историческим и человеческим документом. В особенности потому, что писем Пастернака опубликовано пока немного, и людям, знавшим его, известно, что особенно в последние годы он мало склонен был выражать себя в письмах и нередко они являлись просто вежливыми отписками. Тем больший интерес представляют его письма 1910-13 гг. — периода, завершающегося изданием его первого сборника «Близнец в тучах», когда он был еще в поисках — метался между музыкой, философией и литературой. Здесь мы сразу же окунаемся в атмосферу его ни на что не похожей прозы, находимся как бы у истоков его неповторимого стиля — того, что позднее нашло свое выражение в «Письмах из Тулы»,

Борис Пастернак. Переписка с Ольгой Фрейденберг. Под редакцией и с комментариями Эллиота Моссмана. Нью-Йорк — Лондон, 1981.

«Детстве Люверс», «Охранной грамоте». Это также и та образность, которую мы встречаем потом в «Сестре моей жизни», датированной, как известно, летом 1917 года. Особенно примечательно письмо от 23 июля 1910 года, всё переполненное необыкновенным, ищущим выхода пастернаковским лиризмом, одухотворяющим окружающее, — о заставе, «где она взволнованная, машет клубами пыли горизонту на зелёной привязи... о заставе духа... где эти улицы становятся крайностью, вывесками, вперившимися в лужайки с жестянками от консервов, вывесками, спускающимися с окраины в огородную природу навстречу небу, как Иоанну Крестителю», о зарницах, которые «ложились подолгу в облака, зарывались, мотыльками трепетали в них или протирали всю линию облаков, как запотевшую в фантастических пятнах стеклянную веранду».

Корреспондентка его, чьи пояснения сопровождают переписку, — одних с ним лет, однако совершенно другая. Если он весь захвачен музыкой символизма, если его вкусы в эти годы — бегло упоминаемые здесь Кнут Гамсун, Йенс Петер Якобсен, Джаованни Папини, то ее чувствам больше говорят Шиллер и Мопассан. Та же разница и в стиле их писем, особенно же в ее четких и скупых пояснениях, где она достигает подчас большой выразительности. Встречаясь в Европе, они видят её по-разному. Ее больше трогает «широкая заграничная жизнь». При посещении знаменитой Пизанской башни «Боря с путеводителем в руках тщательно изучал все детали собора, все фигуры барельефов, все карнизы и порталы. Меня это бесило». Однако пройдет время, и Ольга сформируется в незаурядную индивидуальность, хотя и совершенно иного порядка (позднее она опишет необыкновенное удивление известного лингвиста Л. Щербы, когда он узнал о ее родстве с Пастернаком).

Период войны и революции остается для читателя фактически за сценой, так как в уцелевшей переписке наступает восьмилетний перерыв. Он заполняется лишь комментарием и несколькими фотографиями — Пастернака на Урале и Ольги в одежде сестры милосердия. Тем временем Пастернак приобретает некоторую литературную известность. Ольга же окончательно определяет свою дорогу в жизни, поступив на классическое отделение Петроградского университета к профессору С. Жебелёву. Письма Пастернака ста-

новятся короче, но общая их тональность и гиперболичность сравнений и чувств еще сохраняются. Восторженный тон его писем невольно наводит на мысль, что не она ли, Ольга, и есть «сестра моя жизнь».

Постепенно центр тяжести переносится на письма Ольги Фрейденберг, на то, что она пишет о своей научной деятельности, где то и дело складываются драматические коллизии.

Здесь необходимо пояснить, что начало научной деятельности Фрейденберг совпало с достаточно острой ситуацией в научном мире. В русской науке шла борьба между академическим направлением и новыми тенденциями, которые, даже если они и ориентировались в сущности на современную им европейскую науку, выступали, по понятным причинам, если и не под марксистским, то под социологическим флагом. Особенно остро борьба развернулась в Петрограде, где, условно говоря, «традиционалисты» составляли более сплоченную группу и где эта борьба затянулась на долгие годы. И вышло так, что одной из ведущих фигур «революционного» направления стал крупный лингвист Н. Я. Марр, который еще с начала века в противовес индоевропейскому языкознанию старался утвердить свое т. н. «новое учение о языке» и «яфетическую теорию», которую, по словам Фрейденберг, не принимал «никто в Европе». Может быть, именно поэтому его «генетико-социологический метод» и был объявлен марксистским. Однако Марр был яркой фигурой, резко выдававшейся из тускловатой академической среды, и неудивительно, что ряд молодых ученых (и среди них Фрейденберг), искавших новые пути в науке, примкнул к нему. Причем борьба с академистами велась по достаточно широкому фронту, включая сюда и фольклористику, и этнографию, и литературоведение, и философию, и историю культуры. Очень характерным для «генетико-социологического метода» был вышедший в 1932 году под редакцией Марра сборник работ «Тристан и Исольда» с показательным подзаголовком «От героини любви феодальной Европы до богини Афреватрии». Участвовавшие в нем вместе с Фрейденберг такие ученые, как И. Франк-Каменецкий, В. Струве, Б. Казанский, Т. Пассек и другие, собрали обширный материал для выявления родства между кельтским (и до-кельтским) эпосом и ирано-кавказской и вообще евразийской мифологией, взяв как общий их источник египетский миф о богине

Иштарь, которую Марр отождествил с Исольдой. На самом деле эта работа близка по методологии к известной «Золотой ветви» Джеймса Фрэзера, которого марксистом никак не назовешь. Как бы то ни было, можно заключить, что в споре академистов с марристами они, по удачному выражению проф. Ю. Лотмана в его предисловии к публикации работ О. Фрейденберг в «Трудах по знаковым системам» (№ 6, 1973), «в широком историческом контексте были сотрудниками».

Встав на сторону Марра, Фрейденберг, однако, достаточно объективно описывает его. Весьма характерно для того времени заседание, на котором ей, вопреки возражениям всех официальных оппонентов, была присуждена ученая степень. Марр «в мгновение ока кивнул налево и направо, сказал: «возражений нет» и закрыл собрание. Никто не успел опомниться». Парадокс заключается в том, что весь дальнейший путь Фрейденберг доказал, что прав здесь был Марр, а не академики, которые, по точному замечанию Фрейденберг, «принимают за ошибки новые принципы». И вот письмо от 21 января 1929 года: «Тем временем получают из-за границы рецензии о вышедшей в Германии книге о греческом романе, совпадающей с моей первой... нет, меня может понять только ученый, которого со студенческой скамьи травят за определенный метод мысли со всех лагерей... и который внезапно узнаёт, что это то же самое, но менее даровитое и менее облитое кровью преспокойно получает жизнь на Западе, т. е. у более знающих и более строгих судей».

Интересно, что, несмотря на резкое различие индивидуальностей, переписка все же не превращается в два монолога. Пастернак внимательно читает работы Фрейденберг, размышляет о философии языка, хотя от прямых оценок, по своему обыкновению, уклоняется. Сам же он сообщает в основном о своих переводах, о библиографической работе, давшей ему доступ к новой иностранной литературе («Я узнавал о Конраде и Прусте» — в поэме «Спекторский»). Изредка еще попадают яркие места — например, в письме с Ирпени от 21 августа превосходно описаны «глупые ночные бабочки в мохнатых штанах, которые безбожно вьются вокруг лампы». Особое внимание обращает на себя загадочное (и никак не прокомментированное) сообщение в пись-

ме от 20 октября 1930 года: «Написал я своего «Медного всадника», Оля, — скромного, серого, но цельного и кажется настоящего. Вероятно, он не увидит света. Цензура стала кромсать меня...»

Нет возможности — да и нужно ли — пересказывать книгу. Годы испытаний — литературно-политические кампании 1936 года, задевшие обоих, ежовщина. Особо следует выделить потрясающую картину ленинградской блокады, пережитой Фрейденберг и все еще недостаточно освещенной в литературе. «В Ленинграде погибло за зиму, по слухам, 3,5 миллиона человек. Ученых умерло, по словам специалиста (акад. Крачковского), больше половины». Она же продолжает работать над Сафо и Гомером. Письма Пастернака о его переводах Гёте и Шекспира, о пребывании на фронте, о работе над романом. Лишь изредка он выбивается из спокойно повествовательного тона: «Я стал рассказывать Чечельницкой о смерти папы, о Рильке, о повесившейся в эвакуации Марине и так разволновался, что мне захватило дыхание и я не смог говорить» (21 июня 1945 года).

И вот послевоенные годы. Новые идеологические кампании: борьба с «космополитизмом» — своего рода реванш «традиционалистов» за 20-е годы, обрушившийся, однако, как и тогда, в первую очередь на ученых, пытавшихся сохранить свою независимость. «Ученых быют всякими средствами... Их постигают кровоизлияния и инфаркты. Эйхенбаум — полный инвалид. Пропп на днях упал на лекции... Через несколько дней умер на занятиях Бубрих, затравленный 'Литературной газетой'».

И почти одновременное письмо Пастернака от 7 августа 1949 года: «Мне что-то печально. Жизнь уже не принадлежит мне, а какая-то сказавшаяся, уже оформившаяся роль. Ее надо достойно доиграть до конца. Роман с Божьей помощью, если буду жив, я допишу».

Уже постскриптумом мимоходом проходит в книге «свободная» дискуссия о языкознании, развенчание Марра. В 1955 году со смертью Ольги Фрейденберг переписка прекращается. История с Нобелевской премией и последние годы Пастернака остаются за пределами книги.

Леонид Чертков

ПЕРВАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

За годы существования СССР немало книг на разных языках было посвящено его страшной карательной системе, и «Архипелаг ГУЛАг» Солженицына — не первая и не последняя в этом ряду. Воспоминания, документы, письма, романы... Но еще не было создано *библиографии* всей этой разнообразной литературы — от дневника министра Временного Правительства Шингарева, арестованного 27 ноября 1917 года и погибшего в начале 1918, и до вышедшего недавно романа Юрия Домбровского «Факультет ненужных вещей». Точнее сказать, однажды была сделана попытка такой библиографии (приложение к труду Яковлева «Концентрационные лагеря в СССР», Мюнхен, 1955), но она уместилась всего на нескольких страничках.

Потребность в такой библиографии ощущается исследователями, ведь советскую историю невозможно себе представить без истории Соловков, Колымы, Катыни, спецпсихбольниц...

Американское издательство «Ориентэл Ризерч Партнерс» в штате Массачузетс выпустило первую библиографию такого рода. Называется она: «Советские тюрьмы и концентрационные лагеря. Аннотированная библиография. 1917—1980». Библиография эта охватывает около 500 названий книг и публикаций, появившихся, в основном, за границей на различных языках. Прямо скажем, таких публикаций на самом деле было, по крайней мере, в 5 раз больше.

Составитель библиографии Зорин совершенно справедливо включил в нее публикации не только о лагерях и тюрьмах, но также и о «психушках», и о лагерях для военнопленных, и несколько книг (но далеко не все!) о Катынской трагедии. Но как со ссылками? Ссылка всегда была важным инструментом советской карательной политики, и исключить эту тему из подобной библиографии вряд ли мыслимо. Вот и «Международная Амнистия» считает политссылных *узниками совести* (например, А. Сахарова, Мальву Ланду и других). Составитель же американской библиографии прак-

Libushe Zorin. Soviet prisons and concentration camps. An annotated bibliography. 1917—1980. Neutonville, Mass.: Oriental Research Partners, 1980.

тически исключил литературу о ссылке из своей библиографии. (Логично тогда и не включать в библиографию литературу о «спецпоселениях» — их можно считать разновидностью ссылки. И о «химии» — тоже.) Даже ссылку, закончившуюся столь трагически, как ссылка последнего царя и его семьи, Зорин обошел. О судьбе этих, можно сказать, первых советских политических узников, доставшихся советскому государству «по наследству» от Временного Правительства, написано несколько десятков книг только на русском языке (я уже не говорю о публикациях в газетах и журналах), включивших в себя многочисленные документы и фотографии. Но ни одна из этих книг в библиографии Зорина не попала. Не оказалась в этой библиографии по-своему уникальная, хотя и далеко не редкая, книга «Кремль за решеткой» (издание партии социалистов-революционеров, Берлин, 1922). Книга эта названа так не ради сенсации: дело в том, что лидер партии левых с.-р. Мария Спиридонова находилась некоторое время в 1918 и в 1919 гг. в одном из помещений московского Кремля, приспособленном под тюремные камеры (в сентябре 1918 г. там же сидела Фанни Каплан). Существенно, что в этой книге документально воспроизведена борьба эсеров за свои права политзаключенных в условиях первых советских тюрем.

Это только один пример неполноты библиографии Зорина. Но список книг и публикаций, не оказавшихся в этой библиографии, можно продолжить до бесконечности.

В библиографии не обойдены, например, советские публикации. Но все они касаются периода 60-х годов («Один день Ивана Денисовича», мемуары Б. Дьякова, генерала армии Горбатова, очерк Шелеста о Колыме из журнала «Знамя»... вот почти и все). Но разве не выходили в СССР публикации на данную тему до 60-х годов и после? Если бы составитель библиографии внимательно перечитал «Архипелаг» Солженицына, то он мог бы выписать оттуда добрый десяток советских публикаций, на которые Солженицын ссылается, публикаций, безусловно заслуживающих внимания. (Кстати, нужно пожелать издателям «Архипелага» в дальнейшем сопровождать эту книгу именным указателем — справочный аппарат совершенно необходим этому изданию.) Вот, например, брошюры Лациса 20-х годов, где есть некоторая статистика террора тех лет, вот роскошное изда-

ние (под редакцией Горького) «Беломоро-Балтийский канал» и многое-многое другое. В сталинское время и в 70-е годы число публикаций о лагерях и тюрьмах резко сократилось. И, тем не менее, они выходили. Последний пример этому — сборники стихов бывшего политзаключенного Анатолия Жигулина (последний сборник вышел в Москве в 1980 г. под названием «Жизнь — нечаянная радость»: И, как и предыдущие, включает в себя стихи о сталинских лагерях).

В библиографии Зорина отсутствуют нормативные акты, регламентирующие содержание заключенных в лагерях и тюрьмах. Если уж составитель решил включить в библиографию советские издания, то как же обойтись без официального законодательства на данную тему?

Как уже было сказано, составитель включил в библиографию не только отдельные издания, книги (монографии), но и публикации (статьи) из периодических изданий (они даже составляют большую часть библиографии). Здесь учтены публикации в журналах «Лайф» и «Тайм», «Сервей» и «Посев», в «Социалистическом Вестнике» и «Гранях» и т. д. Но вот, скажем, публикация из журнала «Континент» учтена только одна (И. Д. Левин. ГУЛаг и Запад). Но ведь практически в *каждом* номере «Континента» есть либо художественная, либо мемуарная, либо документальная публикация о советских узниках — разных периодов советской истории. Или в американских библиотеках, на фонды которых опирался библиограф, как он указывает в предисловии, оказался только один номер «Континента»? Остались вне поля зрения библиографа и другие русские и украинские журналы, немало места уделяющие тюремно-лагерной тематике — «Время и мы», «Сучасність», «22», «Синтаксис»... всех не перечесать.

Большим достоинством библиографии Зорина является то, что она аннотированная (аннотация на английском языке — стало быть, прежде всего эта библиография рассчитана на западного читателя). К сожалению, не все произведения аннотированы, и в этом тоже сказалась неполнота библиографии. Как и в том, что содержание библиографии уже ее названия: многие произведения, изданные в 1979 и 1980 гг., в библиографию не попали.

Итак, первый блин — комом. Но важно, что он все-таки «испечен». Со временем появятся, надо думать, другие библиографии на ту же тему, и составители их учтут, конечно, недостатки библиографии Л. Зорина.

Борис Вайль

«РУССКАЯ МЫСЛЬ»

Крупнейшая русская еженедельная газета на Западе

Почетный директор Зинаида Шаховская

Главный редактор Ирина Иловайская-Альберти

Редакция и контора: 217 rue Fb. St. Honoré,
75008 Paris

Стоимость подписки во французских франках:

	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Франция	45	85	150
Заграница	54	95	170
Авиапочтой:			
США, Канада, Южн.			
Америка, Южн. и			
Центр. Африка	76	140	250
Сев. Африка,			
Греция, Турция,			
СССР	56	102	190
Иран	64	118	215
Австралия, Китай,			
Япония	95	180	340

Условия подписки на журнал «КОНТИНЕНТ»

На 1 год — 40 н. м.; на 6 месяцев — 20 н. м.

Цена одного номера — 12 н. м.

Пересылка за счет подписчика.

Подписка может быть оформлена в генеральном представительстве «Континента» по адресу:

A. Neimanis · Buchvertrieb
8000 München 40 · Bauerstraße 28 · Germany

а также у корреспондентов журнала (адреса на второй странице обложки) или у представителей «Ассоциации друзей «Континента»:

США: Вост. побережье — Э. Штейн (E. Sztein),
594 Chestnut Ridge Road
Orange, CT. 06477, USA

Генеральное представительство
«КОНТИНЕНТА»
A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB
8000 München 40 · Bauerstr. 28 · Germany

Коротко о книгах

ХРОНИКА ЖИЗНИ РЯДОВЫХ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ

CHRONIQUE DES PETITS GENS d'URSS

Présentée par Jean Kéhayan

Seuil, 1981. Paris

8 и 9 ноября 1980 года в Марселе состоялся коллоквиум, посвященный положению трудящихся — в частности, рабочих, хотя в выступлениях участников фигурировали и другие социальные категории, — в СССР. На коллоквиум были приглашены некоторые из находящихся сейчас на Западе правозащитников, чтобы свидетельствовать об условиях труда и простого существования гражданина «первой в мире страны победившего социализма». Среди его участников был Андрей Амальрик, для которого выступление в Марселе оказалось последним публичным выступлением: он погиб в автомобильной катастрофе по дороге из Марселя на Мадридскую конференцию.

Один из инициаторов коллоквиума, Жан Кехаян, недавно опубликовал сборник материалов коллоквиума.

Мало кому из бывших советских граждан этот сборник, где преобладают свидетельства соотечественников, скажет что-либо новое. Более того — эти свидетельства, естественно, неполны, да и не претендуют на полноту, ибо это означало бы воистину недостижимое желание объять необъятное. Но, не содержа как будто бы ничего нового (кроме отдельных деталей), собранные вместе, они даже на нас способны оказать ошеломляющее впечатление. Каждый из нас знает, видел, слышал, читал — свое, у каждого — свой опыт; многие сами привыкли рассказывать, доказывать, объяснять этот свой опыт западным собеседникам; но то ли оттого, что в книге подобные свидетельства соседствуют, тем самым набирая силу, то ли оттого, что напечатаны они по-французски — на языке свободной страны и, читая, одновременно представляешь себе читателя французского, — но книга обретает неожиданную силу и, несомненно, способна дать заинтересованному в информации западному читателю настоящее представление о положении «рядового советского человека».

Книга поделена на три раздела: «Советский социализм: насильственный труд и дезорганизация экономики», «Повседневная жизнь в СССР: навязанная линия поведения и деморализация народа», «Ставки рабочего диссидентства».

Первые два раздела, как очевидно из их названий, — констатация существующего положения; третий — не столько освещение фактов, сколько размышления на тему о возможности возникновения в СССР рабочего движения, подобного польскому, о причинах «отставания» рабочего самосознания в Союзе, о взаимоотношениях между рабочими и интеллигенцией и о факторах, необходимых для «наведения мостов» между двумя этими социальными слоями, — опять-таки часто в сравнении со свежими событиями в Польше. Вообще слово «Польша» не сходило с уст участников коллоквиума, а одно из выступлений Владимира Борисова так и называется: «Наша свобода начинается в Польше». В нем Владимир Борисов призывает западную общественность всеми силами защищать завоевания польских рабочих, справедливо утверждая, что польские события перешли не только границы своей страны, но и границы всего восточноевропейского лагеря, — там, быть может, сейчас решается судьба европейской цивилизации.

Что касается мнений различных участников коллоквиума о причинах слабого (почти несуществующего) рабочего сопротивления в СССР, то они были часто разными не только по позиции, но и по степени убедительности. В частности, В. Белоцерковский, касаясь истории рабочего движения, фактически утверждает, что в октябре 1917 года произошла действительно народная, рабочая революция. Говоря о сегодняшней ситуации, он обвиняет во всех тяжких грехах интеллигенцию, а рабочих описывает с едва ли не народническим (с легкой, правда, поправкой на шестьдесят три года) умилением. Очень точно ответил ему Леонид Плющ, сказав, что беда защитников народа, в частности, рабочих, очень часто, к сожалению, состоит (и состояла) в том, что они путают абстрактного, придуманного рабочего с реально существующим, конкретным. Вместо того, чтобы думать о его истинных стремлениях, нуждах и потребностях, его рассматривают как некую функцию его социального положения и носителя некоей теоретиками определенной миссии. К чему это может привести — мы уже знаем. Таким образом, Белоцерковский, обвиняя «неославянофилов» в мистическом мессианизме, сам оказывается поборником мессианизма — только пролетарского.

Пример этот — не для расставления отметок за политическую зрелость и не для подбрасывания дровишек в полемический жар, а для того, чтобы дать представление об обмене мнениями на страницах рецензируемой книги, столь же разными, сколь и судьбы авторов.

ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР

САНДРО ИЗ ЧЕГЕМА

Новые главы

Ардис, 1981

Правильнее, вероятно, было бы назвать эти главы не новыми, а пропущенными: в общем содержании ранее вышедшего издания «Сандро» и новоизданных глав, которое дано издательством в конце книги, эти последние перемежаются со старыми. Но это, в сущности, не имеет ни малейшего значения, потому что все повествование легко срастается в единое целое, отдельные части которого разнятся друг от друга, как разнятся куски разговора, в котором собеседники то и дело перебивают самих себя, уходят в сторону от основной нити, снова возвращаются, а разговор, тем не менее, остается неким виртуозно выживающим единством.

Фазиль Искандер в этих новых главах все тот же, пишущий одну — конца не видно! — книгу своей жизни, книгу своей любви. Ностальгически светлая, эта книга — сказка, сколь бы ни было в ней грустных эпизодов, констатаций и сетований. Сказка — по соотношению Прекрасного и Доброго с безобразием и злом. По очищенности Добра и Красоты — и очищенности зла, глупости и подлости. По легкости перехода от реалистического рассказа — в полуфантастическую символику, в ироническое иносказание, в притчу. И опять-таки — по соотношению реализма и символики, по размытым между ними границам, по готовности фантастического вынырнуть в любой момент, никак этим не удивляя ни героев, ни читателя. Это делает прозу Искандера летучей, как бы полуоблачной, о каком бы вовсе заземленном, прозаическом сюжете ни шла речь. Вот он рассказывает о многолетней и верной любви между Деспиной, «аристократической девушкой»-гречанкой, и пастухом Харлампо, вынужденным восемь лет ждать свадьбы, потому что

никак не мог он накопить требуемого ее отцом состояния. Все в Чегеме сочувствуют этой любви, а горячие чегемские парни уговаривают Харлампю просто овладеть Деспиной, тогда отец вынужден будет отдать ее ему в жены, но Харлампю неизменно и гордо отказывается. И тут автор замечает в скобках: «Да, точно так, как Харлампю, интеллигенция наша смотрит на людей, предлагающих насильно завладеть Демократией: тоже гречанка, как и Деспина. И точно так же, как и Харлампю, наша интеллигенция неизменным и твердым отрицательным движением головы дает знать, что только законным путем она будет добиваться того, что принадлежит ей по праву любви».

Иронизирует Искандер? Горько-печально головой качает? Горько-печально иронизирует, скорее. Потому что слишком много и долго приходится терпеть. И потому, что конца не видно. И потому, что мечту в кусты, действительно, не ташат.

Но и не в интонации даже дело — а в том, что посреди лирической песни, посреди поэтического адажио вдруг возникает политическая формулировка, кричаще и кровоточаще злободневная, но одетая в те же неожиданно лебединые одежды, и они почему-то не кажутся ни неуместными, ни с чужого плеча. И легкий кавказский акцент, который звучит в интонации, не сообщает ей анекдотного ерничества или бестактной лихости, а только вот эту печально-ироническую уверенность, что поймут, — кому же это неизвестно?

«Джансух-Сын Оленя или Евангелие по-чегемски» — самая большая из этой книги глава — кажется менее удачной, чем остальные. Здесь Искандер словно бы перестает играть с собственным словом и воображением и становится несколько тяжеловесным морализатором. Глава затянута, перегружена не всегда необходимыми диалогами, подтянутыми ради очередной морали поворотами фабулы, так что рядом с остальными она выглядит несколько неповоротливо. Быть может, вставленная в общий контекст большой книги, она будет смотреться иначе — стройнее, пропорциональнее, но в «малой», о которой сейчас идет речь, она выглядит слабоватой.

Может быть, потому именно — как исключение, подтверждающее правило, — она оттеняет и остальные главы, и в ней самой удавшиеся куски светлой искандеровской прозы, в которой все счастливо перемешано, все счастливо пересекается — и все печально отделено, и все смеется, и не угасая уходит во владения «Великого Весовщика Нашей Совести».

К. КРОМИАДИ

«ЗА ЗЕМЛЮ, ЗА ВОЛЮ»

Сан-Франциско, 1980

Книга полковника Константина Кромиади пополняет собой историю одной из величайших трагедий Второй мировой войны — историю Власовского движения, историю Комитета освобождения народов России, историю русских солдат и офицеров — патриотов, мечтавших освободить страну и оказавшихся между молотом и наковальней. На эту тему существует уже значительная литература: прежде всего следует назвать сборник материалов «А. А. Власов», книгу воспоминаний Сведенберга, мемуары полкового священника о. Киселева и самую обстоятельную из книг о Власове и истории его армии, написанную капитаном Штрик-Штрикфельдтом «Против Сталина и Гитлера». Сюда же надо добавить серьезную и хорошо аргументированную статью Р. Днепровца «Власовское ли?», опубликованную в «Континенте» № 23.

Книга К. Кромиади — собранные воедино очерки, опубликованные в разное время в «Новом журнале», в газете «Новое Русское Слово» и связанные воедино так, что книга представляет собой хронологически последовательную историю всего периода с 1941 по 1945 год. Автор подробно рассказывает о настроениях среди русского населения (первой эмиграции) в Берлине в начале войны, о положении русских военнопленных, брошенных на произвол Гитлера (ибо Сталин, как известно, не подписал конвенцию Международного Красного Креста), о первых формированиях из пленных советских солдат, о бесконечной борьбе А. А. Власова и сочувствовавших ему немецких военных за создание национальной армии, с тем чтобы русских солдат не использовали в немецких частях, а предоставили русским соединениям максимальную автономию, чтобы РОА, действительно, стала самостоятельной армией. Немецкие военные, помогавшие в этом Власову, были большей частью настроены против Гитлера и нацизма, многие из них сложили головы после сорвавшегося покушения на фюрера в 1944 году. Подробно рассказывает полковник Кромиади и о Манифесте Комитета Освобождения народов России, о том, как он был принят в Праге и затем обнародован в Берлине: «Зал был украшен национальными флагами народов России, вошедших в Комитет». Впервые приводятся выступления множества участников этого собрания — офицеров, гене-

ралов, солдат. Столь подробный и богато документированный материал дает множество новых, донныне неизвестных фактов. Вот один пример. В 1944 году, в центре Берлина, на этом историческом митинге были произнесены такие слова: «Мы не наемники немцев и не собираемся стать таковыми, мы сражаемся за независимую Россию без большевиков и угнетателей» (из выступления поручика Дмитриева).

Рассказывая историю формирования власовских дивизий и того единственного крупного сражения, которое провела первая дивизия, освободившая Прагу от гитлеровских войск, Кромиади заканчивает книгу подробным описанием самого крупного предательства из истории Второй мировой войны — выдачу союзниками всех русских соединений, сдавшихся им. «Депортация» — так названа последняя часть книги. «Безумие или дьявольщина?» — спрашивает себя и нас автор, рассказывая о выдаче А. А. Власова, о выдаче казаков фон Панвица и Краснова и о всей бесконечной серии выдач, обусловленных секретной частью ялтинского соглашения. Намного позднее, как рассказывает Кромиади, гос. секретарь США Ачесон, взбешенный бесконечными «вето» Молотова, якобы сказал Бевину: «Мы, кажется, не ту свинью зарезали». И действительно, многие материалы подтверждают, что если бы вместо того, чтобы выдавать на смерть сотни тысяч людей, союзники их вооружили и поддерживали, то они, перестав быть союзниками Сталина и предав его, не предали бы беззащитных русских людей и смогли бы иметь ту силу, которую нетрудно было бы противопоставить сталинскому режиму, ослабленному войной, ибо продолжения войны — тем более с русскими войсками Сталин бы не выдержал не столько в военном смысле, сколько в идеологическом. Это утверждение, при всей его спорности, кажется не лишенным оснований. Но главное в книге, разумеется, не предположения, а богатый исторический материал, воспоминания человека, стоявшего в непосредственной близости к генералу А. А. Власову, которые пополняют наши знания об этом страшном, героическом, обреченном явлении, которое осталось в истории под именем власовского движения, движения, пытавшегося идти сразу против двух тоталитарных гигантов, движения, которое могло бы разве что чудом победить, но цели которого были совсем не те, какими изображает их советская пропаганда вот уже в продолжение 35 лет.

ВЛАДИМИР МАРАМЗИН

ТЯНИТОЛКАЙ

«Ардис», Анн Арбор, 1981

Новая книга В. Марамзина включает в себя все, что было опубликовано в его книге «Смешнее, чем прежде», вышедшей в Париже в 1979 году, а также повести «Блондин обеего цвета» (ранее издана отдельно) и «Начальник» (напечатана в «Континенте»).

Таким образом, новая книга — это небольшое, но в какой-то мере итоговое за длительный период собрание сочинений.

Говоря о Марамзине, следует прежде всего рассматривать не то, о чем он, ибо часто намеренно — ни о чем (по крайней мере с первого взгляда), а *как* он пишет. И тут сразу приходит определение — гротеск. Но — особый.

Гротеск у Марамзина не в сюжете рассказов, не в персонажах даже, хотя если приглядеться, то они все гротескны — особенно в цикле рассказов — точнее, монологов, — названных «Смешнее, чем прежде». Гротеск строится на сдвигах чисто языковых. Да и вообще вся проза Марамзина — сдвиг синтаксический, лексический: тут соседствуют слова, настолько невозможные для соседства, что действительно с каждой страницей становится смешнее, чем прежде.

«Из горла пьет свою бормотуху, национальную по форме ее содержания», местный алкаш. В чем природа смешного в этой фразе? Да в том, что устоявшиеся, навязшие в зубах штампы, мертвые стереотипы чисто советской речи, канцелярита и газетных клише, сами по себе никакие, не смешные, не осмысленные, подвергаются некой обработке. Не авторской — нет, персонажа, как правило малограмотного, но все эти клише усвоившего, иначе и выразиться не могущего, и «обработка» эта — невольная, штампы чуть видоизменяются (вроде бы неточно повторено по неграмотности или по серости природной), а — слова этого слегка полуманного клише вдруг выскакивают в своем буквальном смысле. И вот получается: «Прочитал статью: нам нужны обязательно гоголи». Затасканное по всем учебникам изречение, чуть искажившись, в силу личности персонажа, вылезает вдруг во всей тупой нелепости и столь же нелепым вспоминается оно в его первоначальном, не искаженном речью персонажа виде. И так повсюду. Особенно в цикле монологов «Секреты» и «Смешнее, чем прежде».

В повестях стиль слегка иной. «Женитьба Ивана Петровича» — повесть о маленьких, очень-очень маленьких людях, написанных с сочувствием так подробно по языку, так нарочито примитивно по лексике, что примитивность персонажей выступает с первых же строк и, несмотря на, казалось бы, простой, вечный как мир и грустный сюжет, несмотря на какое-то сочувствие, тоже заставляет — нет, не смеяться, а усмехаться горько и невесело.

Все это и вправду «Смешнее, чем прежде», но одновременно и грустнее, чем прежде. Безрадостна и несмешна судьба этих людей, но не менее безрадостна и судьба «начальника» из одноименной повести. И не случайно так просто он и именуется «начальник». А имя ему зачем? Имя ведь признак индивидуальности, какой-никакой, а все же... Но ни начальник, ни его начальники ничего общего с индивидуальностью не имеют и иметь не могут. Это — средне-арифметические советские персонажи, истинные «Гомо Советикус», кое-как усвоившие штампы советской речи, а чаще обрывки из них...

Или повесть «Тянитолкай», давшая название всей книге. Вроде бы автобиографическая. Вроде бы фантастическая по нелепости происходящего. Но взглядеться, и никакой тебе фантастики — просто советская действительность как таковая, просто кажется, что автор только об одном и старался — как бы случайно ее чуть-чуть не олитературить, как бы ее сохранить в натуре, в естественном, голом, неотредактированном виде. И даже погоны полковника, мундир его, который, вывернув наизнанку, видишь уже простым пиджаком, и тот не придуманным кажется, а так себе — реалистической деталью. Изнанка пиджака — вовсе не изнанка, а лицо мундира. И даже опубликование рукописи за несколько часов, сделанное по приказу полковника, — тоже не гротеск. И такое возможно... Более того — страшная обида автора на то, что «напечатали», — и та не гротеск: раз напечатали, значит плохо написано, и остается лишь надежда, что новую повесть, похлеще, «уж ее-то ни за что не напечатают».

Неестественно искривленная действительность ведет за собой прозу Марамзина, заставляя ее «искривляться вместе с линией действительности». И становится ясно, что если для нормального человеческого сознания все, что он пишет, — чудовищный гротеск, то для сознания средне-советского, стандартного, газетно-канцеляритно-матерного это просто натурализм, ну, в крайнем случае, скрупулезный реализм. Только это не социалистический реализм, а реализм в социалистическом мире, ибо «отражение действитель-

ности» тут буквальное — это сама она, действительность, гротескна настолько, что уж только и остается ее фотографировать, чтобы любой нормальный человек принял это все за кошмарную фантазию, сатиру или что там еще такое. А это на самом деле фотография крупным планом. Возможно, что на эту тему кое о чем догадываются, кому надлежит: ведь не зря в СССР все, что только можно, нельзя фотографировать.

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ПОСЕВ»

МАКСИМОВ

Владимир Емельянович

САГА О НОСОРОГАХ

Сборник публицистических произведений В. Е. Максимова. Состоит из двух частей. В первой части — памфлет «Сага о носорогах» и ответ на ту «бурю», которую этот памфлет вызвал. Клеветники и ненавистники России, «прогрессивные интеллигенты», закрывающие глаза на преступления коммунистов, «мостостроители», идущие по пути «разрядки» к капитуляции, люди с атрофированным чувством Добра и Зла, наконец те, кто не воспринимает судьбоносность наших дней, — все обрушились на автора. У Максимова-публициста темпераментное и злое перо. И это только обостряет столкновение. В более спокойной второй части, посвященной, однако, той же тематике, содержатся статьи и выступления автора как в Москве, так и в эмиграции. Они отличаются искренностью и непримиримостью, что в сочетании с публицистическим талантом Максимова доставляет огромное удовольствие читающему.

Карманный формат. 256 с. С фотографиями.

Цена — 25 н.м.

Possev-Verlag, Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt a. M. - 80

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ПОСЕВ»

МАКСИМОВ

Владимир Емельянович

Выдающийся современный русский писатель. Его творчество одухотворено христианским восприятием жизни и любовью к человеку. Его язык богат своей простотой, а художественные образы впечатляют своей доступностью. Даже советская цензура не могла исказить его творчество, и изданные в Советском Союзе произведения пользовались известностью и любовью читателей. Но особенно ярко раскрылся его талант в произведениях, изданных на Западе. Прежде всего, в романе «Семь дней творения» — эпохальном произведении о судьбах России. Этот роман выдержал четыре русских издания и, переведенный на иностранные языки, вышел в 11 иностранных издательствах. Все художественные произведения В. Е. Максимова вошли в его шеститомное собрание сочинений.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

6 томов, в общей сложности 2300 с., в твердых переплетах, с тиснением.
Том I: Сага о Савве (повести, изданные в Советском Союзе и сейчас изъятые из всех библиотек).

Том II: Семь дней творения.

Том III: Карантин (роман, в котором глубокая символика переплетена с реальной жизнью сегодняшней России).

Том IV: Прощание из ниоткуда (романизированная автобиография, передающая богатейшую переживаемыми, событиями и встречами жизнь писателя).

Том V: Жив человек. (Пьесы, пробивавшиеся на сцены театров, несмотря на «крамольные идеи», в них содержащиеся).

Том VI: Ковчег для незваных (роман, написанный уже за границей и показывающий, что эмиграция не нарушила творческих импульсов автора; образ Сталина в этом романе — один из интереснейших в современной русской литературе).

Стоимость всех 6 томов — 180 н.м. Каждого отдельного тома — 30 н.м.

В отдельных изданиях в продаже все произведения автора за исключением «Прощания из ниоткуда» и «Карантина», которые распроданы. Подробности в каталоге издательства, который высылается по первому требованию.

Книги Максимова на русском языке разошлись в количестве 14 тысяч экземпляров. На иностранных языках они вышли в 35 различных изданиях, не считая специальных «клубных», в таких странах, как США, Англия, Западная Германия, Франция, Италия, Испания, Япония, Израиль, Голландия, Норвегия, Швеция и др.

Книги можно приобрести в любом русском книжном магазине или непосредственно в издательстве:

Possev-Verlag, Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt a. M. - 80

По страницам журналов

ЦВЕТАЕВСКИЙ СБОРНИК

(Wiener slawistischer Almanach

Sonderband 3. Wien, 1981

Marina Cvetaeva. Studien und Materialien)

Журнал «Венский славистический альманах» выпустил специальный номер, посвященный Марине Цветаевой, к сорокалетию со дня ее гибели (31 августа 1941), включающий работы литературоведов из разных стран.

К наиболее интересным материалам сборника относится составленная Вероникой Лосской аналитическая сводка воспоминаний современников, прослеживающая весь жизненный путь поэтессы. Ряд моментов в ее жизни, таким образом, отражается в печати впервые. Наиболее интересно и ново то, что рассказывается об отношениях Цветаевой с мужем — Сергеем Эфроном — и о его «политической деятельности», а также об обстоятельствах ее трагической гибели после возвращения на родину. Однако дореволюционный период освещен слабее: например, ничего не сказано о взаимоотношениях Цветаевой с писателями-символистами — Эллисом, М. Волошиным, В. Брюсовым, оказавшими влияние на ее формирование. Кроме того, думается, круг свидетелей жизни Цветаевой мог бы быть расширен.

С двумя интересными материалами выступает Ирма Кудрова. Это, во-первых, исключительно подробное описание жизни Цветаевой в Париже в 1926 году после переезда из Чехословакии, интересное и как попытка летописания истории первой русской эмиграции. К положительным моментам этой работы следует отнести то, что, несмотря на свое сочувствие Цветаевой, автор пытается соблюсти известную объективность в изображении ее сложных взаимоотношений с эмиграцией.

Кудрова же подготовила (совместно с В. Волосовым) интереснейшую подборку писем Цветаевой к Евгению Ланну из Москвы (1920-21), периода «Лебединого стана», который странным образом, однако, полностью обойден в комментариях. Если отрешиться от несколько экзальтированных обращений к адресату — эти письма составят существенное дополнение к ее прозе этих лет.

Среди материалов сборника следует отметить также заметку М.-Л. Ботт о посвященном Цветаевой стихотворении Р. М. Рильке, публикации ее письма к Н. Тихонову (С. Полянина), ее французских текстов (Е. Эткинд).

Более специальный интерес представляют выдержанные преимущественно в структуралистском духе работы О. Ревзиной, А. Крот, Е. Фарино, М.-Л. Ботт, В. Сметачека, а также статья С. Поляковой о малоизвестном цикле стихов Цветаевой «Подруга».

Содержательный сборник завершается перепечаткой трех забытых отзывов о поэзии Цветаевой (в том числе В. Ходасевича и Д. Святополк-Мирского), а также тщательно составленным Л. Мнухиным библиографическим указателем литературы о Цветаевой за 1910-28 гг. с краткими аннотациями.

Л. Ч.

«КРАСОТА ЕСТЬ ПРИРОДА ЖИЗНИ»

(«Новый мир», 1980, № 8)

У московской «Литературной газеты» есть твердое правило: о произведении неординарном, хоть несколько выбивающемся из потока серой, безликой «печатной продукции», собственного твердого мнения не высказывать. А если и завести речь, то «двояконаправленную» — и «за» и «против». На всякий случай, на любую возможную «официальную реакцию».

От «правила» не отступили и с повестью Владимира Кругина «Живая вода» («Новый мир», 1980, № 8). Газета одновременно поместила две рецензии — взаимоисключающие, выдвигающие не только свою трактовку повести, но и каждая по-своему определяющие место «Живой воды» в сегодняшней российской литературной жизни. Для Л. Коробкова повесть какой-то нонсенс, непонятно как и почему попавший в журнальный раздел прозы. В рецензии, озаглавленной «Неужели это всерьез?», он безапелляционно формулирует свое «отношение»: «Перечитываешь повесть так и эдак, чуть ли не на свет страницы рассматриваешь — ну не может же быть, чтобы такое всерьез! Надеешься всё на ту же «многозначность притчи». Да нет, не выручает и она...» Полярно мнение Игоря Золотусского, который, говоря о талантливости вещи, подчер-

кивает, что «она как будто и прозрачна, чиста (таковы, например, ее волнующие пейзажи), и вместе с тем загадочна, скрытна. В словах есть игра, есть игра и в смысле!»

Что ж, можно подумать, один из критиков уловил скрытый художественный смысл повести, хоть и не рискнул развернуть его до конца, а другой попросту оказался менее зорким, не разглядел смысла притчи и сказал об этом откровенно. Но может, просто не хотел «разглядеть», ибо с правдой совладать нелегко, она никак не вмещается в «утвержденные схемы» и «санкционированные шаблоны»?!

Именно так, и в этом убеждает повесть-притча, ярко своеобразная по стилю, художественному языку, смыслу явных и неявных своих сказаний и иносказаний. Непривычны как «прямые» картины быта, так и многозначные, почти сказочные метафоры. Быт — это жизнь небольшого поселка, где много людей пожилых и мало молодежи, где праздники как будни, а будни скучны и однообразны. Где событий — никаких, и каждый размещен в своем домике, погруженный в заботы сиюминутные, всем известные. Почти механически шофер Афоня выходит на свой «профессиональный промысел», но «заработанные рубли» не приносят ему никакой радости; буфетчица Лариса изо дня в день привычно развлекает пиво, но «приработки» не могут скрасить ее одиночества и тусклой бесцветности существования; пенсионер Деляров, ушедший на покой кагебист, автоматически провозглашает прежние команды, но нынешние мелкие подлости его уже не могут скрыть ни одичания, ни отчаянной его волчьей тоски. Всё привычно до боли, над всем нависла скука, мелочность интересов и помыслов. Только водка как-то сближает людей — и языки развязываются, и души чуть веселеют, и всё вокруг кажется не таким унылым и сумрачным.

Так живет поселок, так жил до недавнего времени и Сашка Кирпиков с женой Варварой. Люди они немолодые, уже внуков в городе имеют, а всё кличут Кирпикова Сашкой, и всё так же «принимает» он в домах соседей стаканчик с водкой, когда на казенном мерине пропадет им в очередной раз «приусадебный огород» под картошку. Трудится Кирпиков сторожем на лесобазе, живет, как все люди в поселке, — кажется, и упрекнуть себя не в чем: войну отвоевал, детей вырастил, от труда никогда не бежал. Но затосковал он вдруг, немоготу стало по-прежнему дни коротать, когда однажды сердце подало «первый звонок». Или не вдруг? Всегда билось в душе чувство особой, человеческой предназначенности его в мире, где так прекрасны зори, так удивителен и радостен утренний лес?

Любил же он повторять, что «красота есть природа жизни». И Кирпиков зачудачил — пить-курить перестал, залез в подполье, чтобы побыть одному и не спеша заново продумать всю свою жизнь, понять, для чего был на свете и что внучке своей оставляет. Он читает случайные книги, он начинает рыть землю, чтобы найти обещанные в учебниках следы прошлой, далекой жизни. Надеется, они что подскажут? Но, кроме собачьего черепа, ничего не обнаруживает под своей хатой.

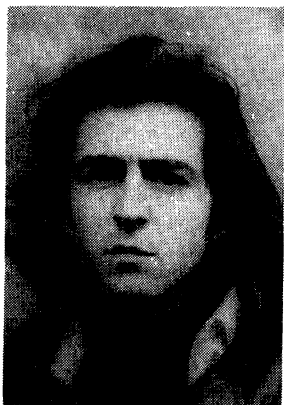
Удача приходит не к нему, а к Васе Зюкину, соседу, что, узнав о затее Кирпикова, тоже роет под хатой. И натывается на подземный источник — с «живой», исцеляющей водой. Так в повести возникает второй, нереальный, на первый взгляд, но очень достоверный на поверку и очень важный для притчи стилистический ряд. Источник «преображает» людей: если раньше они хоть характерами отличались, хоть мелочами какими в быту, то теперь стереотипность поведения «поднялась» до роботно-автоматного уровня (если «бытовая линия» заставляла вспоминать о платоновской традиции, то «фантастическая» — явно перекликается с традицией замятинской). «Поднялся» и сам Вася Зюкин — Василий Сергеевич Зюкин, диктатор, вождь народа, открывший тайну «живой воды». (Это о нем сказали: «Был ты собакой, Васька, стал ты, Васька, свиньей». Это он сказал: «Взять его, увести, никто не помешает мне заботиться о вас».) Но источник быстро иссяк, а на его месте забил, как и положено, спиртовой фонтан. Затем зюкинский дом провалился в катакомбы, вырытые хозяином и его помощниками, искавшими и нашедшими «Источник» («источник новой жизни»!). За всей этой «великой созидательной страдой» никто в поселке по-настоящему не углядел, что в лесах полыхают пожары, что гибнет там всё живое, что гарь и пепел давно уже добрались до поселка. И только Кирпиков, живущий свою новую жизнь, потянулся к лесу, чтобы попытаться спасти последнее, еще уцелевшее от безумного огня. «А ведь я хреновиной занимался, — надо было мне здесь быть, пожар тушить, может быть, и спасли бы чего», — сокрушается о потерянном времени Сашка. Но сама печаль его ныне светла — нужно спешить, нужно спешить, пока еще отпущен срок делать доброе людям. И главное, понял он, что «ничего и не надо, надо только уметь жить».

Впрочем, и сама повесть «Живая вода» — среди тех произведений русской литературы последних лет, что «умеют жить» сами по себе, по правде, а не по воле «привходящих обстоятельств».

Наша анкета

ИНТЕРВЬЮ С БЕРНАРОМ-АНРИ ЛЕВИ

— Русские читатели в эмиграции знают вас по вашим книгам, изданным по-французски и переведенным на другие языки. Но в Советском Союзе вас и ваши работы знают лишь отрывочно, по журнальным публикациям, проникающим в нашу страну, а больше всего — по нападкам советской печати. Однако и то, что можно было понять, читая эти нападки, принесло вам многочисленных поклонников. Поэтому не только от своего, но и от их имени мы хотели бы, чтобы вы подробнее рассказали о пути, который вы прошли как личность и философ.



— Не знаю, верно ли, что у меня столько «поклонников» в СССР, как вы говорите. Но я знаю другое: я — один из тех, кто на Западе преклоняется перед русским народом, перед его способностью к сопротивлению, перед его упорным неприятием советской диктатуры. Для меня все началось с этого. «Диссиденты», как у нас их называют, стояли у истоков моего прозрения. Идя по их стопам, я написал свою первую книгу — «Варварство с человеческим лицом». И все следующие тоже, по сути дела, вдохновлены их образом, их словами, их уроками.

— *Это приятно слышать — тем более, что отношение части французской интеллигенции к диссидентам в последнее время резко меняется.*

— Это верно — странный ветер подул в наших интеллигентских «храмах». В 81-м году появилась целая серия статей, часто в весьма почтенных изданиях, цель которых — подать диссидентов как нечто смехотворное. Один из влиятельных парижских литературных еженедельников опубликовал статью, направленную непосредственно против главного редактора «Континента» и некоего мнимого «правого» диссидентства. Сплетни, клевета, мелочное вранье, мелкие подлости против Максимова и близких к нему людей — с чего бы это? Возможно, дело в том, что парижская интеллигенция живет в ритме мод и постоянно сжигает то, чему накануне поклонялась. Возможно, и в том, что тоталитарный вирус укоренился в ней гораздо глубже, чем может показаться. В том, одним словом, что труп Маркса-Сталина до сих пор шевелит извилины западных мозгов. У меня это, честно говоря, вызывает отвращение. Поэтому мне приятно еще раз, не откладывая, заново заявить о своей верности, дружбе и, главное, глубоком уважении к автору «Прощания из ниоткуда».

Но вернемся к вопросу о пройденном мною пути — тем более, что это и значит рассказать о том, как сложилось во мне убеждение, что нечто существенное в миропонимании современности проходит через гонимое русское слово...

— *Тем более, что, как известно, начинали вы с чистого и жесткого марксизма.*

— Не совсем. Я никогда не был марксистским активистом — ни членом компартии, ни участником другой идеологически близкой ей группировки. Не помню, чтобы когда-либо сам испытал, как говорят, «соблазн сталинизма». Но я принадлежу к поколению, которое жило и дышало этим воздухом. Когда мне

было двадцать лет, я не сомневался, что гуманистическая мысль рухнула, погорела, что «погиб сам Человек», — марксизм же был «непревзойденным горизонтом нашего времени». Никому из молодых философов тогда и в голову не приходило, что «права человека» — вот подлинная концепция, что «демократия» — отнюдь не рухлядь, сданная на склад допотопной бутофории. Наш марксизм не означал, что мы были настроены просоветски — дело было в другом, но еще серьезней: мы были начисто неспособны услышать крепнущее за железным занавесом свободное слово.

— *Когда и как в вас начала происходить перемена?*

— Это история непростая. Сегодня мне трудно разобраться, что именно оказалось решающим. Немалую роль, как мне кажется, сыграл тот рассеянный в воздухе маоизм, который омывал наше поколение. Сегодня это кажется парадоксальным, но это факт. Далеко не являясь школой свободы, маоизм выдвигал тематику, находившуюся в полном противоречии с марксистским дубовым языком и мировоззрением. Постановка антиавторитарной темы, например, подрывала все уроки ленинизма. Был в нашем тогдашнем маоизме и ультраволонтаристский, почти путчистский аспект, возводивший в святая святых политические установки и политическое действие, т. е. отвергавший марксистский экономизм. Темы, данные нам т. н. «культурной революцией», выдвигая необходимость «бунта», подвергали сомнению пресловутую марксистскую «необходимость».

Сам я не был маоистом в строгом смысле слова — никогда не участвовал в деятельности групп, которые в Париже причисляли себя к маоизму. Говоря об этой идеологии, я не забываю, какой террор и тоталитаризм был ею порожден и порождается до сих пор. Я просто хочу сказать, что именно «маоистские» темы сыграли существенную роль в демистификации марк-

систского кумира. Что торная дорога к этой демистификации для юноши того времени вела через «критику ревизионизма, о которой говорит президент Мао». И что — философски — я не смог бы перейти к философскому антимарксизму, если бы меня не омывал — порою заворачивая — этот другой дубовый язык, звучавший вокруг меня в лице Людовика Великого и в Высшей Нормальной Школе. Это то, что называют «хитрость разума», это хитрость истории философских идей. Ей я и обязан не только мимолетным заблуждением, но и некоторой трезвостью взгляда.

— *В одной ли философии было дело?*

— Конечно, нет. Были и чисто политические моменты. Я, например, долго входил в очень замкнутое и узкое сообщество, которое и до сих пор собирается вокруг Франсуа Миттерана, — это так называемая «группа экспертов». И тут, безмерно дорожа интеллектуальной независимостью и свободой высказывания, я не стал членом социалистической партии. Тем не менее, я в этом участвовал, был среди тех, кто давал советы Миттерану, — словом, был замешан в движении, которое породило «союз левых сил».

Что же и в этом случае привело меня к разрыву? Нараставшая к концу 1976 года уверенность, что в этом «союзе левых» нет ни «союза», ни «левых», что «левые» — самозванцы, а «союз» — надувательство, и что, наконец, — и это самое главное — это надувательство и самозванство приведут к тому, что мне уже тогда казалось все более и более опасным, — к участию министров-коммунистов в правительстве...

— *В чем видели вы эту опасность? В их вассальной зависимости от Москвы?*

— Не только. И, пожалуй, вообще не в этом. Я уже тогда понял, что у такой компартии, как французская, есть *собственно* фашистское измерение, почти ничем не обязанное иностранным влияниям, что корни ее уходят в перегной и чернозем националь-

ной идеологии, что это ее собственные корни и что она развивается сама по себе... Не будем на этом останавливаться. Главное, что я хотел сказать, — это то, что решающим моментом в моем развитии было появление Солженицына, взрыв «бомбы Солженицына» и то, как на это отреагировала левая интеллигенция, к которой я как-никак был достаточно близок...

— *Что же поразило вас тогда в Солженицыне?*

— Ошеломляющее разоблачение советского террора. Образ не просто тоталитаризма, но — красного фашизма. И особенно мысль, что все это не случайно, что ГУЛаг — результат доктрины, идеи, «гранитной идеологии». Короче говоря: Колыма была столь же марксистской, как национал-социалистическим был Бухенвальд...

— *Вам, наверное, часто задавали этот вопрос, но он, естественно, возникает вновь и вновь: почему надо было дожидаться Солженицына, чтобы открыть глаза на то, что было очевидностью уже десятки лет?*

— Ответить на этот вопрос можно, только вернувшись к уникальности феномена Солженицына. В чем уникальность? До предела упрощая: в том, что Солженицын — первый, кто не искал объяснения лагерям. Первый, кто не предлагал нам еще одну теорию. Первый, кто твердил, повторял и просто показывал ужас в голом, неприкрытом виде. Действительно, обычно говорилось: советские концлагеря возникли по таким-то или таким-то причинам. Такова их история. Таково им объяснение. Например, они — следствие отсталости русских масс. Или «противоречий» социалистического развития. Или империалистического окружения. Одним словом, всегда есть причины, которые, объясняя это явление, способствуют его оправданию; находя в нем смысл, вставляют его в рамки смысла Истории; приписывая ему определенную логику, вписывают его в логику миропорядка. При чтении

многообразных теорий, даже созданных несомненными друзьями свободы, неизбежно возникает мысль, что ГУЛаг слишком совершенно вытекает из исторических условий эпохи, чтобы не нести на себе печать неизбежности. От вопроса: «Как это произошло?» — слишком легко перейти к следующему: «Почему и зачем это было необходимо?» А Солженицын сломал этот механизм, разорвал круг скрытых оправданий, показал — я повторяю — ужас во всей обнаженности, жестокости, очевидности. Стало некуда деваться. Конец словам о логике. Конец постулатам о смысле. Конец попыткам трактовать ГУЛаг как необходимый результат необходимого порядка вещей. Вот в этом, на мой взгляд, «эффект Солженицына». Это придает взрывную силу его словам. И для меня лично это было великим потрясением.

— *Можно ли именно в этом видеть начало движения «новых философов», одним из признанных лидеров которого вы являетесь?*

— В каком-то смысле да. Ибо, даже если течение «новых философов» никогда не было таким единым и сплоченным, как его изображали, — во всяком случае, все те, кого так называли, по-моему, равно были поклонниками Солженицына. И равно убеждены, что в диссидентском движении разыгрывается самая оригинальная форма сопротивления, накладывающая отпечаток на современность.

— *Каковы были цели «новых философов»? Какими идеалами они вдохновлялись?*

— Трудно говорить в этих терминах. Вообще трудно говорить об этом течении как о едином целом, слитном и сплоченном. «Новые философы» — это, знаете ли, выражение, выдуманное прессой. А может быть, и коварная уловка свести на нет то специфическое, глубоко субъективное и, значит, подрывное, что несло слово каждого из нас.

Но пусть будет по-вашему. При всем различии идей и толкований, были у нас и какие-то общие «идеалы», как вы говорите, общие «цели». В частности — в момент возникновения — следующие: стать «ретранслятором» диссидентов, заставить людей услышать смысл их разоблачений, а также, и это прежде всего, анализировать причины, по которым к их урокам так долго оставались глухи...

— *И марксизм как одну из причин...*

— Да, и марксизм. В «Варварстве с человеческим лицом» я продемонстрировал его как колоссальную машину деспотизма: не говоря открыто «человек прав, подчиняясь», марксизм на самом деле учит: «человек всегда прав, подчиняясь»; даже здесь, на Западе, марксизм остается самой актуальной, самой страшной, самой эффективной проповедью порабощения. Подумайте только: в то время вся «прогрессивная» Франция клялась «Капиталом». И тут я говорю, что «Капитал» — тоталитарная книга; что прогресс — реакционная идея; что тот самый социализм, о котором нам прожужжали уши в Европе, — это кровавая рана, жуткий ожог на теле половины человечества. Ну и шум тогда поднялся!..

— *Вы говорите «тогда» так, будто это было Бог весть когда. А ведь едва четыре года прошло с выхода книги во Франции...*

— Да, но в каком-то смысле это уже, действительно, незапамятные времена. У меня такое чувство, что в эти четыре года вместились гораздо больше, чем их реальное время. Трудно сосчитать, сколько с тех пор развенчано идолов, сколько разоблачено вранья, сколько опровергнуто обманов. А что касается самой книги — перечитайте ее, и сами увидите, что большинство тезисов, сочтенных тогда скандальными, стали сегодня общепринятыми, классическими, почти банальными...

— *Кстати, о скандале. Ваша последняя книга «Французская идеология» вызвала, мягко говоря, бурную дискуссию. В чем проблематика этой «скандальной» книги?*

— В общем-то, в этой книге я ставлю тот же вопрос, что и в предыдущих, — это снова моя навязчивая идея о тоталитаризме. Но на этот раз я поставил проблемы на французской почве.

— *Это то, что вы называете «фашизм в цветах Франции»?*

— Совершенно верно. Как мне кажется, справедливый и нужный процесс над немецкой мыслью в конечном итоге предал забвению следствие по делу о французской мысли. Сконцентрировавшись на разоблачении марксизма — и я, со своей стороны, не поступлюсь ни одним словом этого разоблачения, — упустили из виду другой очаг тоталитаризма — французскую идеологию. Или, иными словами, суд над марксизмом-ленинизмом ни к чему не приведет, если при этом не задаться вопросом о его французском варианте, о его национальной значимости во Франции, о каналах, по которым ему было легко распространиться, об обусловленности его жизни в данной культуре.

— *Вы даже утверждаете, что в точном смысле слова во Франции нет марксистской традиции.*

— Не совсем так. Я рассматриваю условия, предопределившие распространение марксистской идеологии во Франции. Каналы, по которым она прошла. Флаги, которые ей пришлось поднимать, чтобы прорваться сквозь стену французской идеологии. Если хотите — акцент, с которым заговорил марксизм, чтобы натурализоваться во Франции. Ибо пренебречь этим — значит не увидеть основного и не затронуть механизмов тоталитарного соблазна.

Возьмите, например, знаменитую фразу Сартра: «Не разочаровывать Бийянку!» Я говорю — «фразу

Сартра», но точно так же рассуждали все французские левые, считая, что правду об СССР не следует говорить, чтоб не «разочаровать» французских трудящихся. Откуда взялась эта фраза? Правильно ли ее понимают, принимая лишь за свидетельство эмбрионального марксистского мышления? Достаточно ли видеть в ней результат Марксовой веры в «смысл Истории», во все обманы, к которым приводит признание этого смысла? Отнюдь. Мне кажется, все становится понятнее, если вспомнить, что в начале нашего века французский мыслитель Жорж Сорель объяснял, что пролетариат может сплотиться и мобилизоваться лишь в рамках великих коллективных верований, обширных соборных иллюзий, которые он называл «мифами» и выстраивал в теорию.

И все становится еще понятнее, если вспомнить другого, опять-таки французского мыслителя — Шарля Моррасса, также оказавшего огромное влияние на интеллигенцию нашей страны. В эпоху дела Дрейфуса он предложил теорию «лжепатриота». Согласно этой теории, неважно, подлинны доказательства измены Дрейфуса или нет. Более того, достоверно знать, что эти доказательства и документы — просто-напросто фальшивка, тоже абсолютно неважно: эта фальшивка есть нечто более настоящее, чем настоящие документы, раз это спасает государственные интересы.

Наконец, третий пример. По-моему, «не разочаровывать Бийянку» ведет свое происхождение еще от одного мыслителя, тоже французского, — Мориса Барреса. Опять-таки в эпоху дела Дрейфуса он объяснял, что Правда, Истина не существует. Нет абсолютной истины — есть только истины относительные, истины «в перспективе», истины, которые служат или вредят интересам того или иного «лагеря».

Сорель, Моррас, Баррес — за исключением первого, они отнюдь не марксисты. Естественно, наши прогрессисты тщательно избегают ссылок на их идеи.

Тем тщательнее, что эти мыслители известны как правые, а к тому же, отягощены несколькими смертными грехами — например, все трое были видными приверженцами антисемитизма. И, тем не менее, тут-то собака зарыта. Именно они, куда больше, чем «марксисты», весомы во французском сознании. Их, а не классически сталинских философов, проходят в наших школах. И именно в кильватере этих мыслителей, в орбите этих «реакционных» тем и идей следует искать часть истоков нашего «прогрессизма».

— *Иными словами, у тоталитаризма есть и свои французские корни?*

— Не только корни — свой источник во Франции. Я показываю Францию как одну из утроб, вскормивших тоталитаризм, а вовсе не ту иммунизированную, добрую страну обетованную, которую он лишь овеял своим дыханием. Как страну, которая щедро фабриковала фашизм, а не просто слегка узнала его в виде импорта или занесенной заразы.

— *Это далеко от привычного образа Франции — страны свобод и прав человека.*

— Та Франция тоже существует, и я ее сын. Именно к ней стремятся издалеку политические изгнанники, у нее ищут убежища... Но есть и другая Франция, менее привлекательная и менее известная. Земля траура и иступления. Чудовищно плодовитое чрево, породившее гнусного зверя. На этот раз я обратил свой интерес к этой Франции.

— *Вы как-то сказали, что демократическая традиция во Франции куда более хрупкая, чем кажется на первый взгляд...*

— А что об этом думает «Континент»? Что об этом думают диссиденты, надеявшиеся найти во Франции родину Прав Человека? Вот уже столетие, как во Франции практически нет крупных мыслителей, для которых стали действительно своими демократические установки. Большинство великих умов, выбран-

ных интеллигенцией себе в учителя, до последнего времени были блестящей иллюстрацией тоталитарного соблазна. Есть, конечно, исключения, но их сосчитаешь на пальцах одной руки, и им пришлось — возьмите пример Камю — дорого расплачиваться за то, что они выбрали ясновидение.

— *В вашей книге вы отдаете под суд еще и Землю, и Нацию...*

— Нет. Ни Землю как таковую. Ни Нацию как таковую. Но то, что я назвал бы идеологией Земли и Нации.

— *То есть?*

— То есть идею, что мы, люди, — лишь порождение некоей земли, дети некоей нации, чистые продукты некоего коллектива, и всё. К чему приводит такой подход? К тому, что стирается трансцендентное, идеалистическое, если не вообще духовное измерение, обуславливающее в человеке человеческое; отрицается Человек в человеке, человечество как идея, чистая идея человечества, выходящего за все границы, за пределы всякой земли, превосходящего всякое общество и делающего индивидуума тем, что он есть. Грубо говоря, такая идеология земли, нации, расы или крови — это всегда, в большей или меньшей степени, язычество. И если я нападаю на нее — именно за это язычество.

— *А не допускаете ли вы, что в условиях тоталитарных диктатур такие точки опоры, как нация, земля, религия, могут играть спасительную роль?*

— Безусловно, я не только это «допускаю». В предыдущей своей книге «Божий Завет» я показывал, что «права человека» теряют всякий смысл без горизонта трансцендентности; что проявления протеста, бунта были бы немыслимы, если бы в основе их не лежала духовность. Вся книга устремлена к тому, чтобы доказать, что в конечном итоге — и на исходе XX века более, чем когда-либо, — великие тексты Ветхого

и Нового Завета остаются самой надежной Библией Сопротивления.

— *Это о религии. А что вы скажете о земле и нации?*

— В каком-то смысле то же самое. Но надо договориться о терминах. Что такое «земля», например? Одно дело — весьма конкретная, природная, материальная, утробная глина, в которую идеологи язычества мечтают нас зарыть, замуровать, захоронить. Другое дело — земля воображения, Идеи, чистых сновидений, земля в наших умах, в грозowych облаках, земля из пыли, ветра и бумаги, о которой мечтали, например, библейские пророки.

То же самое скажу и о нации. Ничего общего между нацией, скажем, Пэтена и нацией Де Голля времен его призыва 18 июня 1940 года. В чем разница? С одной стороны перед нами материальная, утробная нация, первая характеристика которой — неумение оторваться от своей территории, тотальная слитность с родной нивой, невозможность помыслить свое бытие вне духа, запаха и обличия родного навоза, — это и приводит к Пэтену, оставшемуся на месте, отождествившему национальную идею и территорию и, в конечном счете, сотрудничавшему с немцами, оккупировавшими эту самую территорию.

С другой стороны — деголлевский жест. Одинокий человек говорит: можно разделить нацию и территорию. Безумец заявляет: я воплощаю Францию, хотя и нахожусь я вне ее пределов; в изгнании я черпаю силу, изгнанием придаю силы и самой Франции. Это концепция совершенно противоположная: Франция Слова, Нация-мечта, бумажная башенка, посмевавшая бросить вызов небу. Ну, а дальше, сами знаете: Сопротивление, героизм и, по крайней мере до последних месяцев 44-го года, последовательный антифашизм.

Этим я хочу сказать, что не стоит упрощать. Нет НАЦИИ, ЗЕМЛИ как понятий всеобъемлющих — для употребления нужны понятия более тонкие, антиномичные, даже еще более сложные, не вмещающиеся в пределы бинарной логики. В зависимости от позиции, занимаемой тем, кто их употребляет и, следовательно, дает им реальную жизнь, эти понятия могут выступать как машина угнетения или, наоборот, как механизм сопротивления.

— *В свете всего, что вы сказали, как вы расцениваете роль русской и восточноевропейской демократической оппозиции?*

— Для меня эта оппозиция является наиболее яркой иллюстрацией роли тех идеалистических концепций, о которых я говорил. Она заставила нас припомнить подрывную силу трансцендентного, «идеального». И из всего сказанного мною, по-моему, всем ясно, что эта оппозиция была для меня той школой, в которой я заново выучился думать.

— *Каково ваше мнение о роли «Континента» в этом отношении?*

— Этот вопрос излишен. Я надеюсь быть правильно понятым, если просто скажу, что именно здесь, на страницах «Континента», среди его авторов, я чаще всего встречал пример того, что я отстаиваю, а также образ мужества и интеллектуальной бескомпромиссности.

ЛЕВИ Бернар-Анри родился в 1948 году в Марокко. Автор книг «Варварство с человеческим лицом» (1977), «Божий Завет» (1979) и «Французская идеология» (1981), широко известных не только во Франции, но и в других западных странах. Руководитель серии «Фигуры» в парижском издательстве Грассе, где вышли основные работы т. н. «новых философов». Вместе с Марекком Хальтером и Ренцо Росселини — инициатор свободного радио в повстанческом Афганистане.

РЕДАКЦИИ И РЕДКОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА «ИНДЕКС»

Дорогие друзья!

Поздравляем Вас с выходом 50-го номера «Индекса», завершающего десятый год существования Вашего журнала. Десять лет «Индекс» разоблачает все формы цензуры и удушения свободного слова, предаёт гласности имена брошенных в лагеря, тюрьмы, психиатрические застенки писателей и журналистов, публикует произведения, пробившиеся сквозь запреты и границы. «Индекс» не ищет 'плохих цензоров' и 'хороших цензоров', 'плохих палачей' и 'хороших палачей' — все эти годы Вы беспристрастно говорили о судьбе мысли и слова на всех континентах земного шара. И если не умолкающий на Ваших страницах разговор о странах коммунистического мира раздражает не только власти этих стран, но и тех, кто здесь, в свободном мире, не хочет этого слышать, так ведь зашел этот разговор лишь потому, что система, сделавшая двоемыслие своим неписанным законом, преследует правду как самую страшную себе угрозу. Мы желаем Вам однажды издать, наконец, номер, в котором не будет ни слова о наших странах, — но не потому, что Вы отступите перед своими наивными или злоумышленными недоброжелателями, а просто по отсутствию материала. Выйдут из лагерей узники советские, запретные книги свободно придут к читателям, журналы и издательства забудут о цензуре и самоцензуре, а номера «Индекса» будут продаваться в журнальных киосках, побуждая людей, переживших горький опыт тоталитаризма, не забывать о далеких жертвах произвола, вставать на их защиту.

Редакция и редколлегия «Континента»

Специальное приложение

ПИСЬМО ИНОСТРАННЫМ КОЛЛЕГАМ

Я неоднократно писал о моем сыне Алеше и его жене Лизе Алексеевой. После вынужденной эмиграции Алеши три с половиной года назад Лиза стала заложником моей общественной деятельности. Нарушая собственные международные обязательства, власти СССР не дают ей разрешения на выезд, преследуют ее, угрожают арестом, пытаются лишить надежды, довести до отчаяния. В июне 1981 года Алеша и Лиза подтвердили свою верность друг другу, вступив в заочный брак согласно законам США (штат Монтана). Хотя власти СССР не признают такой брак действительным, но он во всяком случае является еще одним подтверждением глубокого желания Алеши и Лизы быть вместе. Согласно Хельсинкскому Акту и другим международным документам, подписанным СССР, такое желание уже является достаточным основанием для получения разрешения Лизе на выезд.

Я чувствую на себе прямую ответственность за трудную судьбу Лизы и Алеши, не могу спокойно относиться к их многолетней беде. Она целиком вызвана их близостью ко мне, доверием ко мне, когда я настаивал на выезде Алеши, считая, что Лиза сможет выехать к нему позже. Я готов нести ответственность за свою общественную и публицистическую деятельность в соответствии с законами государства, требую открытого суда. Использование для мести и давления на меня судьбы невестки и сына — недостойно, незаконно и нетерпимо. Ни о каком общении с моими советскими коллегами, ни о какой научной работе не может быть и речи, пока продолжается эта трагедия близких мне людей. Помощь именно в этом деле всего нужнее мне, и одновременно реальней всего.

Я дважды обращался с просьбой о вмешательстве к Председателю Президиума Верховного Совета СССР Л. Брежневу. В июле 1980 года мною послана

телеграмма, а в мае 1981 года — письмо на его имя. Я не получил никакого ответа ни на телеграмму, ни на письмо. Я предполагаю, что оба мои обращения не дошли до Брежнева, даже до его канцелярии, и блокированы КГБ, считающим, что лишив меня звания трижды Героя Социалистического Труда и других наград, Президиум Верховного Совета СССР таким образом санкционировал любые беззакония в отношении меня. Именно поэтому я прошу своих иностранных друзей просить официальных лиц своих стран при контактах с Брежневым и другими высшими руководителями СССР довести до их сведения эту проблему и способствовать ее разрешению — это единственный способ прорвать блокаду КГБ. К сожалению, я пока не имею свидетельств о каких-либо усилиях в этом направлении.

Год назад я обратился с просьбой о защите меня от заложничества к Президенту АН СССР А. Александрову и Вице-Президенту Е. Велихову, но также не имею никакого ответа, равно как на повторные телеграммы и письма Велихову. В феврале 1981 г. я написал академику Я. Зельдовичу, с которым меня связывали долгие годы совместной работы и как я думал дружеских отношений, и академику Ю. Харитону, руководителю учреждения, в котором я проработал 18 лет. В июне 1981 г. я обратился с той же просьбой о помощи в деле Лизы к академику П. Капице и академику Б. Кадомцеву, занимающимся проблемой управляемой термоядерной реакции. Я. Зельдович ответил письмом, в котором он категорически отказался помочь мне, ссылаясь (необоснованно, по моему убеждению) на неустойчивость своего положения, что якобы проявляется в том, что его «не пускают дальше Венгрии». Зельдович — академик, как и я, он трижды Герой Социалистического Труда, имевший такой же, как и я, допуск к секретной информации, но не занимавшийся общественной и правозащитной деятель-

ностью. Просил же я его, как и остальных академиков, не о публичных, а лишь о «кабинетных» действиях. Академики Ю. Харитон, П. Капица, Б. Кадомцев вообще ничего не ответили мне на мои письма. Ответ Зельдовича, позиция других советских ученых были для меня горьким разочарованием не только в личном плане, но и как проявление пагубного ухода от ответственности, от возможности повлиять на события (я говорю не только о том, что связано со мной) — и при том вовсе не из принципиальных соображений, а по постыдно мелким причинам.

Я чувствую вокруг себя стену непонимания, безразличия и пассивности. Трагедия Лизы и Алеши продолжается и может — если ничего не изменится — продолжаться еще долго. В этом крайнем положении, после долгого и мучительного размышления, я и моя жена Елена Боннэр, инвалид Второй Мировой войны, приняли решение объявить с 22-го ноября голодовку, требуя немедленного разрешения Лизе на выезд из СССР. Сообщая об этом решении, я надеюсь, что Вы правильно поймете мотивы нашего шага, его внутреннюю необходимость для нас в создавшейся трагической ситуации. В прошлом я держал голодовку в защиту узников совести СССР. Я считаю, что моя защита наших детей столь же правомерна, как других жертв несправедливости, но в данном случае именно я и моя общественная деятельность явились причиной человеческой беды. Я считаю также, что этот шаг есть продолжение моих многолетних выступлений в защиту права свободного выбора страны проживания, отсутствие которого в нашей стране приводит к многим трагедиям.

Я надеюсь на вашу помощь!

Андрей Сахаров

ДЕНЬ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННОГО 1981 ГОДА

Семь лет назад мы впервые собрались, чтобы отметить день политзаключенного. Среди нас были Сережа Ковалев, Таня Великанова, Мальва Ланда, Саша Лавут, Володя Слепак. Сегодня все они лишены свободы, разделив в самой полной мере судьбу тех, о ком говорили тогда. К сожалению, все те жгучие проблемы, которые волновали нас семь лет назад — репрессии за слово и мысль, за бескорыстную защиту жертв несправедливости, жестокий режим, бесправие и произвол в местах заключения, — все также злободневны. Эти проблемы даже стали еще острее, затронули еще больше людей. Особо жестоки приговоры осуждаемым повторно.

Сегодня мы узнаем много о новых репрессиях и ужасных несправедливостях последних месяцев. И все также мы — всей силой души — настаиваем на всемирном освобождении узников совести, на уничтожении недостойного режима бесправия, жестокости и произвола в местах заключения, настаиваем на прекращении использования психиатрии в политических целях. По-прежнему мы призываем к законности и разуму.

28 октября 1981 года

Андрей Сахаров,
лауреат Нобелевской премии Мира

СПАСТИ АНАТОЛИЯ МАРЧЕНКО

Среди всех жестокостей и несправедливостей, с которыми сталкивает нас жизнь, ужасны повторные осуждения узников совести. Принятая советской юстицией практика особо суровых наказаний при повторных судимостях часто приводит к предвзятости и при обычных уголовных делах, превращая людей в вечных заключенных. Применение же этой системы к людям, преследуемым за убеждения, за ненасильственные действия, а чаще всего — просто за внутреннюю независимость и верность самому себе, — чудовищно. За последние годы повторно осуждены Тихий, Лукьяненко, Пяткус, Никлус, Гаяускас, Айрикан и другие. И вот — Анатолий Марченко, писатель и рабочий, наш Толя. Пятый приговор — после тринадцати лет лишения свободы по четырем предыдущим — десять лет заключения и пять лет ссылки. В куцом обвинении — участие в коллективных правозащитных обращениях, черновик из записной книжки, полемическая статья о проблемах разрядки пятилетней давности, автобиографическая книга «От Тарусы до Чуны». И еще — открытое письмо академику Петру Леонидовичу Капице — горький и справедливый упрек высшей советской интеллигенции, одним из представителей которой является Капица, и одновременно — призыв распрямиться, отбросить позорную и губительную пассивность, отбросить мелочный эгоизм. Капица никак не реагировал на это письмо, прореагировали органы КГБ. Может, сейчас Капица или его коллеги, наконец, сделают что-то для Толи.

Приговор Марченко — непрерывная месть, откровенная расправа за замечательные книги о современном ГУЛаге (о котором он рассказал одним из первых), за стойкость, честность и независимость ума и характера. Особая ненависть к нему проявилась и в лишении после суда полагающегося по закону свидания с близкими — женой и сыном. Можно опасаться, что и в лагере администрация тоже найдет поводы не дать свидания.

Пройдут годы, и наша страна будет гордиться Анатолием Марченко. Сегодня же он — на грани гибели, его убивают духовно и физически. И спасти его надо сегодня!

7 октября 1981 года, Горький

Андрей Сахаров

КОММЮНИКЕ

Начиная с 4 октября с. г. передаются по радио по воскресеньям с 17.00 до 17.15 (по московскому времени) программы религиозного обучения на русском языке, предназначенные русским христианам (эти программы передаются на коротких волнах — 25,62 м, 11.745 кгц).

Эти передачи готовятся группой православных христиан, объединившихся в обществе под названием «Голос Православия». Эта деятельность получила благословение церковных властей за рубежом. Среди сотрудников «Голоса Православия» находятся профессор Богословских институтов Парижа и Нью-Йорка.

Цель этих передач — обслуживать духовные нужды русского народа, говорить ему о Боге, раскрыть ему живое Слово Божие, углубиться в содержание богослужения, молитвы, праздников. Специальные передачи предназначаются детям и их родителям. Другие передачи изучают систематически Священное Писание, святоотеческое предание, духовную жизнь и т. д.

Будут также передаваться записи богослужений из русских церквей Парижа.

Наконец, через церковную проповедь пастыри обращают живое слово к слушателям.

Эти передачи, носящие пока что скромный характер, смогут развиваться в ближайшем будущем.

Цель этих передач — ответить на потребность религиозного просвещения, которая остро ощущается во всех слоях русского народа. Со своей стороны, «Голос Православия» занимается вопросами религиозного просвещения и не затрагивает проблемы актуальности.

«Голос Православия» существует исключительно благодаря разным пожертвованиям. Широкое движение христианской солидарности помогло осуществить первые передачи (для примера, 15-минутная передача стоит приблизительно 2.000 фр.).

Почтовый счет общества (ССР) следующий:

Voix de l'Orthodoxie — PARIS 16 599 30 C

«ГОЛОС ПРАВОСЛАВИЯ»

КОНТИНЕНТ

Г о д о в а я п о д п и с к а (4 н о м е р а)
40.— ДМ, или 23.— US\$, включая пересылку.

Вы экономите 8.— ДМ, или 5.— US\$
от розничной цены!

Желаю оформить подписку на 1 год (4 номера)

Имя:

Адрес:

.....

.....

Оплату произвожу:

приложенным чеком ☐ почтовым переводом ☐
через банк ☐

Платеж и заполненный талон просим направлять:

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB

Bauerstr. 28, 8000 München 40, West Germany

Bankkonto: Bayerische Vereinsbank München Nr. 6304630

Postscheckkonto: München 147391-804





ПОСЛАНИЕ ПЕРВОМУ ОБЩЕПОЛЬСКОМУ СЪЕЗДУ НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА «СОЛИДАРНОСТЬ»

Мы посылаем вам наш привет из страны, рабочий класс которой практически никогда не знал независимых профсоюзов, твердо и решительно защищающих интересы трудящихся масс.

О достижениях польского пролетариата мы можем только мечтать. Наше рабочее движение только рождается. Но в нынешнем водовороте событий и идей хватит малой искры, чтобы она вспыхнула огромным пламенем и смела тех, кто безжалостно эксплуатирует бесконечное терпение русского народа.

Ваша борьба за права простых людей в Польше — это и наша борьба. Все, чем вы способствуете гибели лжи и лицемерия, осуществлению фундаментальных нужд трудящихся, ослабляет и наш режим. Польша не станет свободной, пока не станет свободной Россия. Только демократические перемены по эту сторону Буга позволят вам, ни на кого не оглядываясь, строить свободную, цветущую страну.

Как хотели бы мы, чтобы среди гостей вашего съезда были представители российского свободного рабочего движения. Как хотели бы мы, ни на кого не оглядываясь, передать вам, выразить вам свою безусловную поддержку — не такую, как оказывают вам наши власти. Пока это только мечта, но настанет день (мы твердо в это верим), когда польские и русские рабочие плечом к плечу пойдут навстречу демократии и прогрессу. «Солидарность» сегодня указывает нам путь. Ценой преследований, крови и страданий польские рабочие порвут путы государственных профсоюзов. Перед лицом съезда мы, советские рабочие и интеллигенты (хоть и немного нас сегодня), торжественно клянемся сделать у себя на родине все возможное, чтобы помочь вам и распространить правду о вас, разоблачить ложь и, если потребуется, защищать вас всеми возможными способами.

Да здравствует дружба польского народа и народов СССР!

Да здравствует международная солидарность всех трудящихся!

Помоги вам Бог в вашем историческом деле.

Учредительный комитет свободных профсоюзов в СССР

«АС» (информационный бюллетень «Солидарности»), № 34, 30 авг. 1981. Достоверность документа заверил зам. председателя учредительной комиссии «Солидарности» сталелитейного завода «Силезия» в г. Рыбник Петр Машудзинский. Здесь печатается в обратном переводе с польского.



Олег Лягачев
«Голова философа»
(частная коллекция, Париж)
Акв., бум., — 1979 год